

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД



МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ

1950

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Сборник второй



Книжная библиотека
ЛЕН. КОМИТЕТА
РАДИОИНФОРМАЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Ленинград

1950

679

79

ИСПЫТАНИЕ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пограничники уходили в горы.

Низкорослые круторогие яки, с темной шерстью, свисающей до земли, тащили на спинах увесистые вьюки.

Ефрейтор Пулат Бабаджаев ехал рядом со своим другом сержантом Степаном Виноградовым.

...Последние дни на заставе протекали тревожно. Возвращаясь, наряды всякий раз доносили о замеченных наблюдателях. Чужие люди на той стороне днем и ночью настойчиво следили за участком советской границы. Каждый пограничник знал — в таких случаях надо ждать «гостей».

А вчера днем на заставу приехал начальник штаба отряда майор Быстров, хотя был он только накануне и лично проводил инструкторский смотр по физкультуре. Степан, как руководитель спортгруппы, сразу же послал двух солдат протереть брусья и турник. Но дело оказалось серьезней: на сборы было дано всего несколько часов. Судя по снаряжению, предстояло идти высоко в горы.

«Не иначе, как опять к Висячей тропе», — думал Степан.

...Степан и Пулат дружили уже два года. Степан родился и вырос в далекой Рязанской области, на реке Оке. А Пулат служил в своих родных местах.

Часто, показывая на запад, Пулат говорил сослуживцам-пограничникам:

— Сначала будет одна горка, потом другая, еще одна, еще, и там мой кишлак, а в кишлаке живет самая красивая в мире девушка. Зовут ее Садбарг...

Эти «горки» тянулись бесконечными цепями; они уходили вдаль и словно растворялись в голубой дымке.

Вершины ближних гор сверкали на солнце своими снежными шапками. Пограничники продвигались по высохшему руслу. Воздух был прозрачный, спокойный.

Наконец отряд спустился в глубокую ложбину, покрытую молодым кустарником и сплошным ковром бархатистой травы.

Вот он, желанный привал. Притаились в укрытых местах солдаты охранения.

От костра потянулся сладчайший запах пшенной каши. После обеда командир группы, старший лейтенант Прокофьев, разрешил часовой отдых. Пограничники лежали на траве и покуривали. Неподалеку тревожно насвистывал старый суслик, предупреждая свою семью об опасности. Неистово трещали кругом кузнечики.

Пулат стоял, любуясь причудливым очертанием гор.

— Вот какие у нас горы,— говорил он, смотря на вершины.— Орел не может перелететь через такие нагромождения, а ведь он — царь-птица. У горного барана — архара духу нехватает перескакивать через пропасти такие и ущелья. Сама природа за нас: крепость неприступную из гор сделала.

— Зря утешаешься,— перебил Степан Пулата.— Птицы и козлы, брат, для нас не гарантия. Орел не перелетит, а змея проползет. Проползет и ужалит. Посему — забудь про неприступность и гляди в оба.

Степан лежал на траве, заложив руки за голову, и наблюдал за Пулатом. Все ему нравилось в друге: небольшая, коренастая, хорошо сбитая фигура, прямо и крепко посаженная голова, орлиный нос, глаза острые и колючие в гневе, обычно же задорные и веселые. Степана восхищала любовь Пулата к горам, таким

опасным и недоступным. Пулат сочинял о них нежные и наивные песни. Вот и сейчас он тихонько напевает про себя какую-то песню... На своем участке Пулат знал в горах все пастушьи и охотничьи тропы, все тайные логовища зверей, все трещины и расщелины в скалах.

Сам Степан тоже ходил в горы не новичком, но до Пулата было ему далеко.

Умолкла тихая песня. Пулат крепче стиснул за спиной руки: так он думал.

Горы были близко.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Место, где остановились пограничники, называлось «лагерь 4000», потому что находилось оно на высоте четырех тысяч метров.

Под навесом скалы здесь часто отдыхали или пережидали непогоду пограничные наряды.

Но Пулат не любил такие обжитые места. Его манили неисхоженные просторы горных склонов, и сейчас он с нетерпением ждал, когда же старший лейтенант Прокофьев разъяснит задачу, чтобы уж все знать: кого — куда, и кому какое задание. Впрочем, не одному Пулату, — всем погранищикам хотелось поскорей узнать подробности предстоящей операции.

Наконец старший лейтенант выставил охранение, собрал всех остальных солдат и сержантов.

Он сказал:

— Вы все знаете, что за последнее время на сопредельной стороне велось усиленное наблюдение за соседними участками. Это делалось неспроста. Они старались приковать наше внимание к тем участкам. Следовательно, перехода границы надо ждать здесь, и если подготовка велась такая сложная, — надо ждать важных господ.

Задача сводилась к следующему: в «лагере 4000» перед выходом из ущелья вместе со старшим лейтенантом Прокофьевым оставалась основная группа

захвата, а Степан Виноградов и Пулат Бабаджаев выдвигались вперед за Висячую тропу.

Висячая тропа прилепилась к стенке глубокой теснины. Это был узенький карниз. В иных местах по нему удавалось пробираться только боком, плотно прижимаясь грудью к скале и цепляясь за неровности камней, а в иных — ползком. И так — два километра.

Степан и Пулат уходили в секрет. Они должны были пропустить нарушителей границы в теснину и закрыть выход обратно. Нарушители оказались бы в ловушке. Ведь с другого конца Висячей тропы у «лагеря 4000» их ожидала основная группа захвата, снабженная на случай надобности даже рацией.

Перед выходом старший лейтенант разговаривал со Степаном и Пулатом.

— Задача у вас трудная, да вы — старожилы в тамошних местах. Пойдете в секрет на три дня. Сигнальная связь — ракетами. Старшим наряда назначаю сержанта Виноградова. Как чувствуете себя?

Степан расправил плечи и приосанился:

— Хорошо, товарищ старший лейтенант.

— А Бабаджаев как?

— Отлично!

— Понятно... Я это, собственно, вот к чему: задача ставится перед вами очень серьезная, — офицер говорил теперь, обращаясь только к Степану. — Бабаджаев — он хороший солдат, но отваги в нем — через край. Горяч! Ведь из-за этого чуть-чуть не сорвалась прошлая операция. Мастерство пограничника определяется в первую очередь умением задержать нарушителя.

— Товарищ старший лейтенант, — почти взмолился Степан, — Пулат Бабаджаев сам очень хорошо понимает это. Мы на последнем комсомольском собрании все объяснили ему и предложили доказать на деле, на настоящем, большом деле. А я, кроме того, как секретарь комсомольской организации и как друг Пулата, должен помочь ему.

— Хорошая речь, — одобрил Прокофьев. — Уверен, что со своей задачей вы справитесь.

И вот два пограничника, одетые тепло, добротно, в полном альпинистском снаряжении, с большими рюкзаками на плечах двинулись к Висячей тропе.

Ущелье дохнуло на них сыростью и холодом. Внизу, в бездонной черной пропасти, зверем рычал поток. Сверху нависали клочья облаков. Дули сквозняки, а пахло плесенью...

Наконец тропа стала шире. Стены ущелья раздвинулись. Вдали открылась желто-коричневая гряда, окутанная плотными снежными облаками. Слева — белая пирамида и такой же сплошь белый, сверкающий на солнце крутой склон.

Степан и Пулат притаились за камнями. Видели они горы, много раз бывали в них, иногда жили в горах неделями, но эта величественная картина словно приказывала: стой и замри!

Пулат прикоснулся к плечу Степана и шепнул:
— Красиво?

Пулат смотрел гордо, как будто все, что раскинулось вокруг: вершины, ледники, облака, — все принадлежало ему, и он, Пулат, был радушным хозяином: пожалуйста, живите у него в гостях.

Степан подружился с Пулатом с первых дней службы на заставе. Это вот радушие Пулата больше всего и сблизило их. Степан вырос на русской равнине; он никогда не видел настоящих гор, хотя много знал о них по рассказам матери, бывавшей с отцом в геологических экспедициях.

Отца Степан помнил смутно. Мальчику было всего восемь лет, когда его постигло первое горе в жизни. В одной из экспедиций отец простудился, заболел крупозным воспалением легких и умер.

В год смерти отца Степан начал заниматься в школе, и матери пришлось прекратить поездки в экспедиции. Она стала работать в местном геологическом тресте.

В годы войны Степан учился в школе ФЗО, с успехом окончил ее и начал работать в авторемонтных

мастерских. Всякую свободную минуту он сидел над книгами.

Сколько Степан помнил себя, столько он помнил и материнские рассказы о походной жизни. В его детстве это было, пожалуй, самым увлекательным. Взять хотя бы рассказы о костре. Ведь Степан был пионером и не раз сиживал возле него. Костер! Большой, пылающий! В трех шагах за твоей спиной нависла густая темень, и всякий шорох кажется таинственным... Нет, не о таком костре рассказывала мать. В ее рассказах костры горели маленькие, подчас в них тлели одни уголья. Но эти костры согревали простывших за день людей. На огне поджаривались куски мяса, в котелке плавился снег, а натруженные руки жадно тянулись к теплу. У этих костров геологи говорили об удивительных своих делах...

Вот почему Степану пришлось по сердцу воинская служба в горной стране.

Мать снова работала в экспедициях. Письма, которые приходили от нее на заставу, были наполнены светлыми, романтическими рассказами о новых походах.

Степан, читая материнские письма, видел ее лицо. Высокий лоб, умные глаза и маленькие, не стирающиеся даже в трудную минуту добрые ямочки в уголках губ. И Степан радовался, читая эти письма. Он видел, как мать с рюкзаком за плечами шагала по горным тропам, по лесным непроходимым чащам и несла все ту же милую усмешку в уголках губ.

Пулат знал о горячей привязанности Степана к матери и часто, чтобы доставить другу удовольствие, расспрашивал о ней. Еще и поэтому Степан так любил ходить в секрет именно с Пулатом.

Все диковинное, что таили в себе горы, раскрывалось перед Степаном как в книге. Сначала эта книга читалась с трудом, по буквам, по слогам. Но Пулат настойчиво помогал товарищу познавать ее. И скоро Степан стал ходить не обычными горными тропами, а по крутым склонам, выискивая следы могучих архаров, пробираясь по этим следам.

Что можно сказать про Степана еще? Роста был он среднего, но по осанке, по тому, как ходил, держа голову прямо, казался Степан высоким.

Волосы, как свежая солома на току, — светлые, шелковистые — придавали Степану мальчишеский вид. Правда, в карих внимательных глазах Степана ничего не было мальчишеского, но зато золотистый пушок на вздернутой верхней губе ничуть не походил на настоящие солдатские усы, как ни старался Степан закручивать этот пушок в жгутики. И все в нем было так: одно юное, задорное, а другое — взрослое, степенное. . .

Крепкая дружба Степана и Пулата не была редкостью в семье пограничников. Дружба нужна на границе как оружие. В дружбе рождаются помощь товарищу и взаимная выручка. Без них на заставе — никуда.

Служба в тот год была тяжелая. Чем больше честные люди всего мира проявляли любовь к Советскому Союзу, тем наглее, неистовей делались враги. Шпионы, диверсанты, убийцы всех сортов и мастей старались пробраться через границу. Они были вооружены, снабжены сильнейшими взрывчатыми веществами, смертельными бактериями, ядами, шифрами. Они шли выкрадывать секреты, вредить, убивать.

Много, очень много оказалось работы у пограничников после войны.

И вот сейчас двум из них снова пришлось пробираться тайком меж скал и по осыпи. Пулат шел впереди. Он ставил ноги уверенно, на всю ступню, не задевая за камни и не сбивая их. Не годится в горах сбивать камни. Они покатаются под уклон, толкнут лежащие ниже, а те в свою очередь увлекут за собой не одну большую глыбу, — и готов обвал! Пулат, пристально всматриваясь в трещины и выступы на скалах, к чему-то прислушивался. Наконец до слуха донеслось осторожное журчание воды.

— Здесь!

Прячась за камнями, с автоматами на изготовку, они поползли вдоль ручья к широкой расщелине в

скале. Видно оттуда пробивался этот веселый прозрачный родничок.

Вблизи расщелина оказалась высокой, в рост человека. Пограничники долго всматривались в чуть звенящую пустоту. Перед ними была просторная пещера. Степан осветил ее фонарем. Никого. Только струйки воды, сбегая по стене, блестели в свете фонаря. Пулат пристально разглядывал мелкие осколки камней на пороге пещеры.

— Никто не был...

Три недели тому назад Степан и Пулат, переживая непогоду, провели в этом убежище сутки. Уходя, Пулат разбросал щебенку в особом порядке, чтобы потом знать: входил ли кто-нибудь сюда после них.

— Точно! Все, как положил, так и есть, — сказал Пулат.

Чуть пригнувшись, они вошли в пещеру. Пламя от зажженного фонаря прыгало на поверхности воды, что собиралась в каменной чаше у задней стены.

— Хорошая кибитка! — Пулат тихо щелкнул языком. — Прямо как специально сделана, с водопроводом, и пол ровный: хоть тут спальный мешок постилай, хоть тут...

Степан заметил:

— Здесь, наверное, порода была мягче. Вода пробилась сюда и размыва. Сколько тысячелетий прошло...

— Предусмотрительная природа, — заключил Пулат.

Степан принялся разбирать рюкзаки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Шел второй день. Жизнь Степана и Пулата текла размеренно, по точному расписанию: два часа поочередно в секрете и два — на отдыхе в пещере.

Первой же ночью погода подвела. Ударил мороз, и целые сутки свирепствовала снежная буря. Выл и свистел ветер. Носились снежные вихри. Но Степан

и Пулат ни на минуту не оставляли без присмотра подход к Висячей тропе.

К концу первых суток буря стихла. Открылось чистое, усыпанное звездами небо с луной посередине. На горы повсюду лился лунный свет. Только на вершинах развевались еще снежные лохматые флаги, точно растрепанные ветром. Однако и они к утру сникли. За ними открылось голубое небо.

На склонах выше — снегу выпало видимо-невидимо. И ниже — на уровне пещеры — также намело его большие груды.

Сменяясь в секрете, Пулат оглянулся на крутой склон позади и сказал Степану:

— Беречься надо, — он снял защитные очки и без очков оглядел склон. Покачал головой: — Надо беречься!

Высоко над ними нависли голубоватые снежные громады.

Солнышко поднялось над горами и стало припекать. Степану — он лежал за обломками скалы — хотелось переползти на солнечную сторону и прижаться щекой к нагретому камню. Но он не сделал этого: яркий свет солнца может выдать пограничника и в укрытии. Наблюдатель обязан таиться в тени.

Сейчас в тени был мороз.

«Ну и жизнь, — подумал Степан, — по одну сторону камня жарко, а по другую — зимняя стужа».

Наконец солнце поднялось высоко. Тени сделались совсем короткими. Тогда Степан стал ворочаться, подставляя озябшие бока солнечным лучам.

Тишину несколько раз нарушил доносившийся издалека грохот падающих лавин. С переливчатым звонким журчанием таял снег. Долго ли находился Степан на посту наблюдения, а уж за это время рядом с ним снег не только стаял, но даже и камни подсохли.

Послышался осторожный свист хлопотливых вьюрков. Степан отозвался таким же легким посвистыванием. Подполз Пулат. Лежа за камнем, он повернулся на спину и стал поглаживать себя по животу. Кряхтел, блаженно улыбаясь:

— Ах, обед!.. Обед, ах!..

— Отставить комедию! — рассердился Степан. — Заступай.

— Слушаюсь! — Пулат залег рядом и потеснил друга плечом. — Иди, обедай. Кашу я завернул в спальный мешок. Ах, каша!.. Ах, компот!.. — Пулат тихо щелкнул языком.

— Напрасно компот варил. По такой погоде продукты надо экономить.

— У нас еще на четыре дня хватит.

— Хватит, хватит, — проворчал, отползая Степан. Солнце нестерпимо пекло сквозь плащ и меховую куртку. Теперь Степан старался найти такую тень, чтобы спрятаться в ней целиком.

«Что за места, — удивлялся Степан, — ночью — зима, утром — весна, днем — лето, а что будет вечером?»

Обед и впрямь оказался отличным по всем статьям: копченая колбаса, каша с маслом, коробка консервированной лосося и компот.

«Ах, обед!.. Ах, каша!..» — вспомнил он слова Пулата и улыбнулся.

Степану захотелось раздеться, залезть в теплый мешок и вытянуться на спине — дать отдых всему телу, всем мускулам. Но, прежде всего, нужно было вычистить автомат...

«Попробую все-таки вздремнуть минуточек пятнадцать, — решил он. — Пятнадцать, не больше».

И заснул.

Вскочил он, разбуженный грозно нарастающим гулом. Расталкивая Степана, Пулат кричал:

— Лавина!

Спросонок Степану показалось, будто все окрестные горы рушились на пещеру. Так тряслась она и гудела. Степан схватил свой автомат (вовсе не потому, что, засыпая, собирался чистить его. Нет, это — привычка пограничника: раньше всего оружие!).

Пулат откинул плащпалатку, что занавешивала вход в пещеру, и осторожно выглянул. Наступали сумерки.

«Неужели я столько проспал? — подумал Степан. — Уже стемнело».

— Понимаешь... — начал Пулат. — Только ты ушел... через час!... меньше!... наверху, помнишь, на тех скалах лежал снег?

— Боком идет? — спросил Степан.

Пулат покачал головой.

— Плохо. Снежная лавина с камнями. Не поймешь: снежная или каменная.

Гул постепенно затихал. Уже не было слышно звуков, похожих на взрывы, какие случаются при падении обломков скал или обрыве снежных и ледяных навесов. Но вихри кружились перед пещерой. Неизвестно откуда ворвался ветер и принялся трепать плащпалатку.

Степан и Пулат невольно подались назад. Пламя в фонаре запрыгало. Но то были, должно быть, последние приступы. Взбесившаяся лавина укладывалась на вечный покой где-то у подножья горы.

Стало светлей. Мутным кружком сквозь тучу снежной пыли проглянуло солнышко.

Пулату не терпелось скорей выйти.

— Делать будем что? — спросил он.

— Подождем, когда все уляжется. Чайку вскипятим? — предложил Степан.

— Не хочу, — твердо отказался Пулат.

— В панику бросаешься?

Пулат приблизился к Степану и долго в упор разглядывал его лицо:

— Серьезно спрашивал?

— Нет.

— Тогда вари чай, твоя очередь!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Карниз, а вместе с ним и Висячую тропу завалило снежной лавиной и камнями. Теперь к «лагерю 4000» не могли пробраться не то что нарушители границы, но и сами защитники ее — сержант Виноградов и ефрейтор Бабаджаев.

Сутки напролет, отрезанные от своего наряда, пограничники искали обратный путь. Но искали не оба сразу: один находился на посту наблюдения, а другой в это время лазил по горам.

Больше всего Степана и Пулата беспокоила судьба товарищей, оставшихся в «лагере 4000». Что там с ними? Не засыпало ли их снегом? Лавина была таких размеров, что могла крылом захватить склон и по ту сторону ущелья.

Одежда на Степане и Пулате оборвалась за эти сутки изрядно. Про отдых пограничники забыли. Плохо стало и с едой: после обвала Степан сократил норму вдвое, объявив половину продуктов неприкосновенным запасом. Мало ли что могло случиться?

Встречались и советовались друзья лишь при смене. А когда из укромного места ведешь наблюдение,—попробуй, поговори! Наконец они сошлись в пещере для короткого и совершенно обязательного отдыха. Все вопросы Пулата сводились к одному:

— Что делать будем?

У Степана был готов ответ:

— То же, что делали до сих пор.

— Дорога отсюда через перевал, а он открывается в конце июня.

— Знаю.

— Что делать будем?

— Охранять границу Советского Союза. Ты забыл, что сказал старший лейтенант? «Мастерство пограничника определяется в первую очередь умением задержать нарушителя». Я бы к этому прибавил — в любых условиях.

— А если задержим, куда денем его?

— Поведем.

— Дорога где?

— Дорогу найти надо.

Степан говорил так спокойно, что можно было подумать, будто к «лагерю 4000» и на заставу сколько угодно дорог: хочешь — по одной иди, хочешь — по другой.

— Нет, ты скажи,— горячился Пулат,— где дорога?

— Надо найти, а первое дело — выполнение боевого приказа.

Оба друга втайне тревожились. Что же все-таки произошло в «лагере 4000»? Знают ли на заставе об этой лавине? Но ни один не хотел выдавать своей тревоги.

— Если надо будет,— пойдем через перевал,— сказал Пулат.

— Конечно,— улыбнулся Степан.

Снова друзья поочередно ходили в секрет. Свободный от службы лазил в поисках дороги по горам, ощупывал каждый карнизик, всякий выступ на скале.

Лавина была громадной. Но что бы ей быть еще раза в два больше! Тогда она засыпала бы теснину доверху и Степан с Пулатом пробрались бы по такой насыпи.

Снег, сброшенный с гор у входа в ущелье, и без того уже мокрый, пропитался водами горного потока. Перемешанный с камнями и щебенкой, он стал грязно-коричневым.

Внизу, в ущелье, вода перед завалом поднялась на несколько метров, с минуты на минуту готовая ринуться через завал, с яростью сметая все на своем пути.

А дальше тропу, на сколько ее было видно, лавина засыпала, завалила снегом. Никто не сумел бы пройти по такому «висячему завалу». Самое же худшее — случилось это на теневой стороне склона и ущелья, куда не проникали солнечные лучи. Когда же растает такой завал! Выше — глаз упирался в бурые, почти отвесные скалы. Эх, ведь то был теперь единственный путь к «лагерю 4000».

С каждым днем жизнь пограничников осложнялась новыми трудностями. Все время приходилось приводить в порядок обмундирование, чинить сапоги.

Однажды Пулат спросил Степана:

— Здесь у тебя как? ..— он показал на виски.

— Стучит. Даже странно, раньше никогда не стучало.

— Иди спать, и поесть надо хорошо.

— Пойду...— согласился Степан.— Что-то я стал сдавать...

Пуллат положил руку на плечо друга:

— Иди, через два часа я подниму тебя. На такой высоте режим нужен строгий, а то горной болезнью заболеешь. Может волнуешься, а?

— А ты не волнуешься?

— Я? — глаза Пуллата заблестели.— Ах, я! ..— он придвинулся к Степану вплотную и как бы доверительно сказал на ухо: — Я волнуюсь, когда темно,— мышей боюсь, понимаешь? Иди, поспи!

Степан пробрался в пещеру. Никогда свод и стены пещеры не угнетали его так. Он откинул навешенную на вход плащпалатку. Ему хотелось видеть дневной свет. И вместе с тем в пещере было хорошо. Успокаивающе шелестели струйки родника, вздрагивал огонь в фонаре, уютно выглядел разостланный спальный мешок.

«Однако довольно,— сказал себе Степан.— Нечего распускаться. Хорош мастер службы!»

Приложив к вискам ладони, Степан почувствовал, как под кожей необычно резко стучит кровь.

«И все-таки вставай!» — приказал себе Степан.

Он принялся за дела: поджег таблетки сухого спирта и пристроил над жарким фиолетовым пламенем котелок с водой. Двухсотграммовую пачку пшеничного концентрата Степан разделил было пополам, но подумал: «Утром ничего не ели. Мало будет. Надо сварить всю пачку».

Мешая в котелке ложкой, Степан разглядел, как обтрепались у него рукава тужурки во время лазанья по скалам в поисках пути. Манжеты гимнастерки отполировались о камни и теперь лоснились в свете фонаря.

Каша кипела, хлюпала пузырями. Пшеничная каша с маслом — добрый и верный друг солдата!

Степан повеселел, вспомнил даже про бюро, назначенное на восемнадцатое, и твердо решил:

«Конечно, Пулату пора вступать в партию. Сила у него крепкая, большевистская. В таком положении он не то чтобы растерялся, а шутит! Что подумали там, на заставе, узнав про обвал? Поди беспокоятся как нам помочь... Начальник, наверное, сразу же позвонил в штаб. Оттуда: «Приказываю немедленно организовать поиски. Выслать спасательные партии. Держать меня в курсе. Об исполнении доложить!» Как в прошлом году, когда трое пограничников пропали в горах. Самолеты тогда прилетали на розыск. Гражданское население помогало. Нашли.. А пройдут ли через этот перевал? Он бывает открытым один месяц в году. Сколько ждать еще?.. И все-таки придут. Придут! Да и сами преодолеем его, если понадобится».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Услышав сквозь чуткий сон шаги людей, Степан вскочил, удивленный и обрадованный:

— Товарищи пришли!

В пещеру протиснулся незнакомый человек с поднятыми руками. На первый взгляд это был альпинист. В отличном высокогорном снаряжении, в защитных очках и с большим рюкзаком за плечами, он переминался с ноги на ногу и недоуменно оглядывался по сторонам.

Не сводя с него дуло автомата, Пулат стоял позади:

— Разрешите доложить?

Степан спустил полог у входа и зажег фонарь. Пламя на фитиле задрожало. Большая, уродливо изогнутая тень чужого человека задвигалась на своде. Тени его рук с крючковатыми пальцами как будто обшаривали свод.

— Докладывайте.

— Товарищ сержант,— отрапортовал Пулат,— за

время несения службы по охране границы Советского Союза мной задержан один нарушитель границы!

Степан быстро подошел к чужому человеку и, отстегнув ремни, снял с него рюкзак. Ощупал все карманы. Приказал:

— Пройдите туда в угол!

Чужой растерянно улыбался и пожимал плечами:

— Их ферштее гар нихтс... Эс ист айн мисферштенднис... * — бормотал он.

— Пройдите туда! — Степан показал на дальний угол пещеры.

— Же нэ фэ рьен де мове! ** — быстро заговорил чужой, но, взглянув на решительные лица пограничников, пожал плечами и, забормотав что-то невнятное, прошел в угол.

— Товарищ ефрейтор, обыскивайте, — кивнул Степан Пулату.

С обыском пришлось повозиться. Не только карманы, — все складочки одежды нарушителя ощупал Пулат. Ничего не оставил он без внимания. А Степан так же тщательно обыскивал рюкзак чужого.

— Пуговицы спарывать? — спросил Пулат.

— Никуда он не убежит, — сказал Степан.

— Не убежит, говоришь? — повеселел Пулат. — Так для этого и надо спороть, чтобы не убежал. Куда в горах без штанов побежишь!

— Ладно, спарывай со штанов.

Пулат с удовольствием исполнил это приказание, а чужой, возмущавшийся всем до этого, к потере пуговиц на брюках отнесся удивительно спокойно.

— Садитесь! — приказал Степан чужому.

Тот догадался, чего от него требовали, и сел.

Пограничники устроились в другом конце пещеры.

— Как было? — шопотом спросил Степан.

— Понимаешь, — начал тихо рассказывать Пулат, — я его заметил на той лужайке, которая под нашим энпе. Цветочки он собирал, а сам все боком-бо

* Я ничего не понимаю... Это недоразумение. (нем.)

** Я не сделал ничего дурного! (франц.)

ком поднимался к ущелью. Ну, я обошел его и: «руки вверх!» А он чего-то лопочет по-своему, смеется и руку мне протягивает, как будто, понимаешь, старые мы знакомые: «здравствуйте!». Ну, я его и привел.

— Спасибо тебе большое,— Степан одобрительно похлопал друга ладонью по спине.— Приляг, отдохни полчасика. Я опять займусь его вещами.

— А место задержания осмотреть хорошенько? — спросил Пулат.

— Знаю. Сначала отдохни, потом пойдешь. Вдвоем нам теперь нельзя уходить. Допрашивать его — тоже не наше солдатское дело. А сколько мы еще просидим здесь?

Чужой смотрел на пограничников заискивающе и все время улыбаясь. Казалось, случись у него хвост,— он, наверное, махал бы им.

— Да лигт айн мисферштенднис фор... Ви зо? * — бормотал он.

А когда Степан достал из его мешка две банки консервов и вскрыл их, чтобы проверить, действительно ли там консервы,— чужой вскочил на ноги, громко запротестовал:

— Уот ар ю дуинг? Гив бэк май бэг! **

Он показывал на отобранный у него рюкзак, с возмущением жестикулируя.

— Тише! Никуда вещи ваши не денутся!

Степан разламывал плитки шоколада.

А чужой не унимался:

— Дас ист айне гевальтат! Их протестире! ***

— Тише! — приказал Степан.

Но чужой говорил все громче. Это становилось слишком опасным. Ведь окажись поблизости люди, они могли услышать.

— Тише! — требовали пограничники.

Однако чужой стал кричать и делал это явно нарочно:

* Это недоразумение. Как же так? (нем.)

** Что вы делаете? Возвратите мой мешок! (англ.)

*** Это насилие! Я протестую! (нем.)

— Ай деманд! *

— Вяжи! — приказал Степан.

— И рот заткнуть!

Но чужой успокоился немедленно, едва увидел в руках Пулата надежную веревку. Он только глухо ворчал, когда Пулат объяснял ему жестами, как они свяжут его и заткнут рот.

— Ву наве окен друа, же сую эн сюже этранже,— проговорил чужой усаживаясь.— Же ве ме плендр! **

Через час он снова поднял крик.

Ничего не поделаешь, на этот раз пограничникам пришлось обойтись с ним более круто.

Нарушителя связали, и в пещере установилась тишина.

Степан вывел Пулата из пещеры и предупредил:

— Теперь держать язык за зубами. О важных делах будем переговариваться записками.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На рассвете Пулат ушел осматривать место задержания и еще раз обследовать ближайший снежный склон,— не удастся ли подняться по нему к перевалу?

Степан остался караулить чужого.

Такое разделение труда между друзьями в том положении, какое создалось, было, пожалуй, наиболее правильным: Степан относился к чужому спокойней и рассудительней, а Пулат лучше знал горы.

Пограничники развязали чужого ночью. Тот улыбался, словно накануне ничего не произошло.

Потом, уже после ухода Пулата, чужой сидел и долго растирал затекшие, видно, руки.

Степану от этого сделалось даже весело:

* Я требую! (англ.)

** Вы не имеете права, я иностранный подданный... Я буду жаловаться. (франц.)

«Что, господин хороший, не нравится?» — думал он, глядя на чужого.

И тут же Степан рассердился на себя:

«Какой же это альпинист? Бандит! Негодяй! Он наверняка шел не на пустяковое дело, раз так снаряжен. Это не просто мелкий наемник, а поважней птица. Растирай, растирай как следует!»

Но от долгого сиденья у самого Степана ломило в пояснице и затекли ноги. Он вспомнил, что в минувшие два дня ему с Пулатом некогда было даже умыться. Плохо. Умываться и делать утреннюю зарядку надо при любых обстоятельствах. Они раньше строго выполняли это правило.

Пулат вернулся, как уговорились, в десять.

Степан, чуть покачивая головой, смотрел на чужого и щурился будто на ярком свете. Такое с ним бывало, когда он придумывал что-нибудь особенное.

— Становись на физкультзарядку! — скомандовал вдруг Степан.

— Я уже заряжен, — тихо взмолился Пулат, — знаешь, сколько я скал облазил?

— Становись!

И они проделали с десятков весьма сложных гимнастических упражнений.

Чужого это явно удивило. Но вот он снова стал заискивающе улыбаться, точно одобряя все.

Едва они покончили с гимнастикой, как чужой обратился к Степану:

— Гив ми мэтчиз, плиз. *

— Что? — не понял Степан.

— Э мэтч, мэтч, ** — чужой показал пальцами как чиркают спичкой.

Друзья переглянулись.

— А чего же, дай, — посоветовал Пулат, — только наши дай, а не отобранные у него.

— Пожалуйста. — Степан бросил чужому коробок спичек.

* Дайте мне, пожалуйста, спички. (англ.)

** Спички, спички. (англ.)

Чужой рассыпал спички по каменной площадке вокруг себя и, придерживая левой рукой сползающие брюки, стал нагибаться и поднимать каждую спичку в отдельности. Складывал он их обратно в коробок выпрямляясь, с шумом делал глубокий вдох, нагибаясь, — выдох.

Пулат шепнул другу:

— Силен, мерзавец!

А чужой спросил, дополняя слова жестами:

— Филяйт, эрлаубен зи мир цу фрюштюкен? *

— Не беспокойтесь, получите, — ответил Степан догадавшись, о чем просил чужой.

В отобранном рюкзаке чужого продуктов было и хорошую декаду. У самих пограничников продуктов оставалось на неделю впроголодь. Еще когда Степан разбирал и осматривал все банки, пакетики и мешочки чужого, Пулат заявил:

— Отобрать все. Не давать ему есть!

«Соблюдай инструкцию!» — написал Степан Пулату.

Завтракая, чужой громко чавкал.

Пулат тоже начал чавкать, но Степан сказал:

— Прекрати!

Так день за днем — прошла неделя: почти без сна, впроголодь, однако с неугасимой надеждой, — все-таки из этого плена вырвемся и нарушителя отвесим на заставу, выполним боевой приказ!

За каменными стенами пещеры разгулялась летняя, солнечная, по-горному буйная погода. Таял снег. Плавились текущие ледники. С грохотом, с шумом неудержимо неслись по крутым склонам пенистые грязные потоки. Иссиня-белыми башнями и куполами вскинулись в голубое небо и застыли там заснеженные вершины гор.

В полдень солнце стояло над головой и палил

* Может быть вы разрешите мне позавтракать? (нем.)

нежданно. Часто гремели снежные лавины и камнепады, словно стрельба поднималась вокруг в горах.

Зеленые альпийские лужайки на склонах ниже пещеры покрылись нежными фиалками. Пестро, нарядно! Засвистали, защелкали неугомонные вьюрки. Откуда налетело их столько?

По ночам вершины гор теряли свои очертания, отодвигаясь в темноту. Звезд на небе светило столько, что казалось будто собрали их со всей необъятной вселенной и разместили над этой впадиной меж суровых гор. Часто звезды падали. То одна сорвется, черкнет по небу и погаснет, не успев долететь до вершины какой-нибудь горы. То две сразу пронеслись вниз, обгоняя одна другую. Еще две. И вдруг — дождем. Но все равно, оставалось их на небе не меньше.

К концу недели на зарядке Степан дышал с трудом. Голод и горный разреженный воздух делали свое дело.

Горная болезнь — это особенная болезнь; ею болевают многие на больших высотах. Вначале появляется слабость, потом — одышка, усиленное сердцебиение, тошнота. Заболевшего надо обязательно спустить в долину, иначе болезнь примет тяжелый характер.

Сама застава, где служили Степан и Пулат, находилась на высоком плоскогорье. А разве мало приходилось пограничникам бывать в дозорах и поисках на очень больших высотах? Много раз и подолгу. Так что Степан и Пулат привыкли к разреженному воздуху. Раньше Степан никогда не чувствовал признаков горной болезни, но сейчас голод, ночные морозы и утомительное лазанье по скалам в поисках пути на заставу сломили Степана.

Пулат стал реже уходить из пещеры, а если и уходил, то ненадолго. Он боялся, как бы у Степана не случился обморок. Теперь они круглые сутки неусыпно сторожили чужого.

А чужой? Он жил в дальнем углу пещеры и ежедневно усложнял свою зарядку, прибавляя штук по пять спичек.

Несколько раз Степан начинал разговор с нарушителем, чтобы узнать — кто он, но ничего не добился. Чужой отвечал по-английски, французски, немецки, энергично жестикулировал и таращил глаза. Из всего этого какой-нибудь простак мог понять лишь одно: задержанный нарушитель границы был ученым, отбившимся от экспедиции. В его рюкзаке даже нашлась банка с заморенными жуками и козявками. Но для советских пограничников Степана Виноградова и Пулата Бабаджаева каждый, кто нарушал границу, являлся чужим человеком, врагом — и только. А уж там дальше разбиралось начальство, хорошо разбиралось, каким «наукам» учен всякий нарушитель границы.

Иногда чужой сам пытался говорить и что-то доказывать. Судя по всему, он требовал, чтобы его отпустили.

Степан и Пулат сказали себе:

«Никакой ты не профессор. Бандит, шпион, диверсант, вот ты кто! И жизнь твою надо сохранить. Тебя надо отвести на заставу во что бы то ни стало!»

Вечером, сменяясь в карауле, Степан написал обо всем этом другу. Пулат ответил коротко на том же листке:

«Отведем!»

Однажды Пулат вернулся из очередной вылазки необычайно веселый.

— Ты что? — спросил Степан.

Пулат, молча и не спеша, вытащил из-за спины мешок. Он медленно развязывал его, приподнимал мешок за углы, смотрел во внутрь.

— Да будет тебе, — не терпелось Степану, — показывай!

Из мешка на колени Степана вывалилось несколько убитых зверюшек — полевок и два вьюрка с подогнутыми лапками и слегка растопыренными крыльями.

Есть маленькие, светлобрюхие зверьки, которых называют «серебристыми полевками», а водятся они высоко в горах. До сих пор никто не знает, как эти полевки переживают долгую снежную зиму, если они

даже коротким летом среди скал едва находят себе пищу.

Пулат знал, где селятся полевки. Любимые их места — россыпи крупных камней и расщелины в скалах. Перед заходом солнца зверьки подолгу сидят на камнях, словно любясь, как розовеют и золотятся вершины гор.

В первый же день охоты Пулат поймал очень простыми капканчиками, сделанными из камней, восемь полевков. Еды в них, конечно, немного было, как говорится, на один зуб. Но он радовался: лиха беда начало!

Вьюрки — маленькие пегие птички, похожие на снегирей. Они тоже селятся на высоких горных склонах и в скалах. Драчуны отчаянные! Поют бестолково, больше посвистывают да чирикают. Мясо вьюрков довольно вкусное.

— Знаешь, какого барана-архара видел я? — тихо и с особенным охотничьим блеском в глазах сказал Пулат. — Вот мяса, на целую неделю!

Степан, осторожно переложив на мешок зверюшек и птиц, почти неслышно проговорил:

— Стрелять не разрешаю даже в архара. Мы в секрете. Не забывай!

— Что же, лучше с голоду... — начал Пулат, но, глянув на строгое лицо Степана, грустно сказал: — Слушаюсь...

Вот это была еда! Пулат жарил свою охотничью добычу прямо на огне. Какой запах распространяло мясо, как шипело и потрескивало! Эти вьюрки при жизни вряд ли утешили бы так Степана и Пулата даже самым вдохновенным свистом.

Чужой сначала пристально наблюдал за всем, но потом сердито заворчал и отвернулся.

Тогда Пулат нарочно зацокал языком, расхваливая приготовленное жаркое:

— Запах, понимаешь, раздражает господина.

Впрочем скоро хорошее настроение Пулата пропало.

Степан написал:

«Ему тоже дать».

— Ему? — громко удивился Пулат.

Однако он сразу же спохватился и написал:

«Не дам. Я охотился».

«Дать!» — вновь написал Степан.

«Не дам, — размашисто, крупно отвечал Пулат. — Пускай он ослабнет!»

«Нельзя. — Степан поднял голову и долго испытующе смотрел в черные, с гневными искринками глаза Пулата, смотрел, пока они не потеплели. Тогда и закончил: — Прошу, как друга. Ослабнет — не сможем вести через перевал».

Пулат выбрал две самых маленьких полевки (одну с подгоревшим боком), неохотно прихватил подложенную Степаном третью и отнес их чужому. Со злостью сказал:

— На, подавись!

Чужой улыбался и потирал руки:

— О, се манифик! *

«Ишь, гусь, как прикидывается», — подумал Степан.

Размышления Степана прервал Пулат:

— Ешь!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Много дней стерегли пограничники ненавистного чужого человека.

На что походило их обмундирование — изодранное, обтрепанное от лазанья по скалам! А сами — обросшие, худые, с провалившимися глазами. Но не погасли огоньки в глазах Степана и Пулата, не опустились головы друзей-пограничников, хотя Степан большую часть времени теперь сидел и лежал. Боролся он с болезнью упорно. Знал: если ослабнет воля, пропадет вера в свои силы — тогда конец.

Он лежал, держа голову на высоком изголовье, и, не спуская глаз с чужого, старался дышать глубоко и спокойно. В таком положении у Степана было два

* О, это. великолепно! (франц.)

рода занятий, и каждое обязательное: одно — караулить нарушителя, другое — думать, думать и думать:

«Кто этот человек? Если он говорит по-русски, то как заставить его проговориться? Как, наконец, отвести его на заставу? Что если бы Степан остался здесь один, а Пулат забрал бы чужого и отвел его через перевал? Нет, такой план был неосуществимым. За сутки-двое не одолеть перевала. А как Пулат отдыхал бы, ведь чужого надо охранять?»

Сколько Степан ни ломал голову, в любом случае выходило одно: надо ждать помощи с заставы. Половину приказа они с Пулатом выполнили — задержали нарушителя границы. Конечно, это тот негодяй, ради которого их послали сюда. Он! Значит, надо выполнить вторую часть приказа — отвести его на заставу. Но им самим через перевал не пробиться. Вот и оставалось — ждать помощи. Она придет. Перевал откроется. Надо продержаться еще, может быть совсем немного... Разве друзья, сослуживцы, начальник заставы, командование, сам товарищ Сталин, разве они оставят в беде двух своих пограничников? Ни за что!

За последние дни Степан непрерывно думал о том, как заставить нарушителя заговорить по-русски. До сих пор никакие уловки пограничников не приносили желанного результата. То они внезапно, чтобы застать чужого врасплох, обращались к нему по-русски, то, сговорившись заранее, довольно громко рассказывали один другому будто бы нечто секретное, и всякий раз при этом зорко следили за чужим. Но безразличное выражение лица нарушителя не менялось.

Пулат в светлое время дня охотился на вьюрков и полевок, собирал съедобные травы. Он так наловчился ставить силки и капканчики, что в них иной раз попадало изрядно дичи. Но на душе у Пулата было неспокойно. Он очень тревожился за Степана.

«Что же это такое происходит? — думал Пулат. — Надо кормить самого хорошего друга, беречь его, а вместо этого отдавай еду какому-то злодею, наверное

диверсанту. Степану спать надо, при горной болезни это очень важно, а тут карауль мерзавца».

Но потом, когда вспоминалась ему застава, родной кишлак, где жили отец и самая лучшая во всем мире девушка Садбарг, когда в его воображении раскидывались хлопковые поля — такие, что глазом не окинешь, многоводные оросительные каналы, плотины электростанций, заводы, которым одно название — чудо, когда вставали в памяти высокие стены Кремля и вся Москва, далекая и вместе с тем такая близкая, — тогда думал Пулат обо всем иначе:

«Ведь если бы они не задержали чужого человека здесь, то он постарался бы пробраться через границу в другом месте. И вдруг, понимаешь, пробрался бы! Сколько зла мог причинить он советским людям? А сейчас негодяй обезврежен, так что надо крепче стеречь его и обязательно отвести на заставу. Надо разузнать все его планы. Может быть вместе с ним действует целая банда».

Вот откуда брались у Пулата выдержка и спокойствие, когда вдруг овладевала им тревога.

А невзгод в жизни двух друзей-пограничников все прибывало.

Чужой стал спать днем. Ночи напролет он бодрствовал. Пулат же днем охотился. Конечно, ему следовало ночью поспать. Но в то время, когда Пулат уходил на охоту, Степан оставался в карауле, и к ночи больного Степана одолевал сон. Вот и приходилось Пулату караулить по ночам чужого.

Кто не понял бы такого расчета? Чужой старался измотать, изнурить более сильного физически Пулата и окончательно подорвать силы Степана.

Положение было трудное, но не безвыходное. Пулат написал Степану:

«Надо все время говорить что-нибудь. Когда ты спишь, а я в карауле, тогда я должен говорить, говорить. Потом — ты. Надо мешать ему спать, понимаешь? Пусть ослабнет... Заснет — расталкивать».

Степан в ответ только покачал головой: «нельзя».

А при следующей смене Степан написал Пулату:

«Приказываю: не позволять спать ему днем! А изматывать бессонницей нельзя. Как поведем на заставу?»

«И связывать, когда я уйду на охоту», — написал Пулат.

«Пока не надо», — ответил Степан.

Степану все больше казалось, и все чаще он убеждал себя в том, что чужой говорит по-русски. И Степан придумал новую уловку.

«Надо сделать вид, что мы поссорились», — написал он Пулату. — Разыграть все это следует осторожно, продуманно. А то он, гад хитрый, заметит. Вот увидишь — проговорится».

И пограничники стали «ссориться».

Пулат исполнял предписание очень тонко. В первый вечер он со злостью поддал попавшую ему под ноги консервную банку.

Назавтра, в полдень, гораздо раньше, чем всегда, Пулат явился с охоты без дичи. Степан сделал вид, что встревожился. Чужой приподнялся со своего спального мешка, как будто разминаясь, а в действительности оценивая положение.

Да, на этот раз чужой выглядел не очень-то спокойным.

Пулат ходил по пещере сумрачный. Вот он взял ледоруб и стал выдалбливать на каменной стене какую-то отметину. Стальной клюв ледоруба противно визжал и скрежетал.

— Перестань! — крикнул Степан.

— Могу перестать, все могу, — со злостью проговорил Пулат, — мне надоело это, понимаешь, все надоело! У меня еще есть силы, я хочу жить!

Он отбросил ледоруб, забрал автомат и снова ушел.

Степан все это время наблюдал за чужим. Тот и не думал спать. Он складывал из спичек какие-то головоломки, тихо разговаривал сам с собой. Но всякий раз беспокойно прислушивался и поглядывал на вход в пещеру, едва там вздрагивала от ветра плащ-палатка.

Пулат вернулся раздраженный, злой.

— Что с тобой? — нарочно громко спросил Степан.

— Ничего со мной, — пробурчал в ответ Пулат.

— Прекрати это, я приказываю, — в свою очередь нарочно вспылил Степан, и, словно спохватившись, что их слушает чужой, он взял бумагу и написал:

«Молодец, Пулатище! Здорово получается! Тверди одно: не могу, и все тут! Не могу больше!»

Писал Степан одобрение, но всем своим видом выражал самый неподдельный гнев.

Пулат прочитал записку и словно взбунтовался. Он со злостью разорвал бумагу и прямо-таки набросился на Степана:

— Не могу я, понимаешь! Не могу больше!.. У меня еще есть силы, чтобы...

Степан мрачно смотрел на чужого, будто огорченный всем этим, а сам в душе радовался.

Сдав среди ночи караул Степану, Пулат вышел из пещеры.

Ночь, наполненная едва уловимыми шорохами, простерлась над горами и ущельями. Луна выглядывала половиной диска из-за дальнего гребня. И всюду, куда ни глянь, зловеще поблескивали ледники да снега.

В другой раз Пулат непременно постоял бы, любуясь такими знакомыми и дорогими его сердцу картинами. Он перенесся бы мысленно к своему дому... Нет, сейчас Пулат думал о своем друге: как помочь ему? Он написал Степану:

«А на ночь надо связывать его — сможешь выспаться».

В пещере Пулат тайком передал свою записку Степану.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Утро наступало в пещере без особых приготовлений. Под плащпалаткой, что занавешивала вход, на месте черной зияющей пустоты возникла серая, со смутными признаками жизни, полоса. Все предметы,

плоские ночью, теперь едва освещенные слабым светом, приобрели рельефность, а пространство — глубину.

Скоро, очень скоро серая полоса под плащпалаткой исчезла, будто ее унесло родниковой водой. Недавнюю пустоту заполнил серебристый туман. Светлые отблески запрыгали на глянцевой поверхности родника.

И вдруг лучи солнца ударили по плащпалатке и проникли в пещеру. Все вокруг Степана осветилось. Где-то поблизости засвистали вьюрки. Наступило утро.

Прошло много времени, а чужой все не вставал и не делал гимнастики. Такое случилось с ним впервые. Степану очень хотелось крикнуть: «Что же вы, господин хороший, пригорюнились? Наша ссора вам только на руку!»

Впрочем, радовался Степан несколько преждевременно.

Чужой вылез из мешка, умылся, рассыпал спички и долго стоял над ними с низко опущенной головой. Не было в нем прежней бодрости.

«Ну, дела,— думал Степан,— какая блоха укусила его? Может быть, по его расчетам и планам мы ссоримся раньше срока? Может быть, ему надо, чтобы мы ослабили больше? Боится. Рассоримся мы, так ему при этом всяко не сдобровать. Ну, дела!..»

Трудно было Степану подняться, но он встал и, стараясь держаться спокойно, проделал несколько упражнений.

Нарушитель не глядел на Степана. Он обратился к пограничнику, когда тот сел:

— Гив ми мэтчиз, плиз,— чужой объяснил это жестами.— Зоуз зат ай хэв сроун вэр ол юзд. *

Степану захотелось поозорничать. Швыряя чужому коробок, он выкрикнул:

* Дайте мне, пожалуйста, спички. Те, что я бросил, были все горелые. (англ.)

— Это спички, понимаете? По-русски это — спички. Спички фабрики «Красная звезда». Отличные советские спички! Повторите!

Лицо чужого искривилось в каком-то подобии улыбки. Он повторил:

— Пички!

— Не «пички», а спички,— поправил Степан.

— Спички,— отчетливо проговорил чужой.

— Правильно. А это — рука. Есть просто рука. Есть рука карающая. Повторите!

— Рука коряйщая...

— На полный ход! — одобрил Степан. — Видно сразу — профессор!

Чужой сидел, выставив вперед колени и уткнувшись в них подбородком. Глядя на Степана снизу и прищурившись, он тихо сказал:

— Я очень виноват перед вами...

Степан больше всего удивился тому, как чужой правильно говорил по-русски. И вместе с тем нарушитель слишком старательно произносил каждое слово. Так не говорят на родном языке, на котором много лет назад произнесено первое в жизни слово — «мама».

От радости Степан готов был кричать:

«Негодяй, попался все-таки! Мы вот ни столечко не сомневались, что ты за «ученый»! Не выдержал?! Вот тебе и американский шоколад! У, свиная тушонка!...» Но тут Степан нарочно напустил на себя замешательство, чтобы чужой разговорился:

— Вы... умеете?...

— Да, я владею шестью языками,— вдруг заносчиво сказал чужой,— и в том числе русским.

— Почему же вы не признались раньше? — Степан спрашивал нерешительно, будто все еще не придя в себя после замешательства. — Вы смогли бы все объяснить, тогда может быть...

— Видите ли, дорогой сержант,— чужой поднялся и стал медленно расхаживать: четыре шага вперед, четыре назад,— являясь по специальности ученым-

энтомологом, я изучаю жизнь насекомых, но, кроме того, я занимаюсь психологией. Это область науки исключительно человеческая, если можно так выразиться. Так вот, в минувшую войну мировая пресса чрезвычайно оживленно и много писала о советских солдатах. С тех пор протекло много времени. И вдруг совершенно нечаянно, по собственной рассеянности, я нарушил советские законы, то есть перешел границу и оказался задержанным. Кто меня задержал? Два советских солдата. Скажите, положив руку на сердце, мог ли ученый, занимающийся психологией, оставить такой факт без внимания? Конечно, не мог. Я был буквально раздираем любопытством. Мне предоставлялась возможность самому убедиться: какими же качествами обладают советские солдаты. И вот я сделал чудесные выводы. Я узнал, я убедился воочию, как мужественно вели вы себя, выполняя долг; особенно вы, сержант. Я объявляю это всему миру!..

Плащпалатка у входа резко откинулась. Вошел Пулат.

— Я стоял там и слышал все,— сказал он.— Ты, значит, изучал насекомых и нас?

— Нет, зачем вы так,— быстро заговорил чужой,— пожалуйста, не поймите меня дурно. Это совсем разные области...

— Сядьте,— строго перебил его Степан.

И Пулат грозно повел автоматом:

— На место!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пулат был на охоте.

Степан, оставаясь в карауле, предупредил чужого:

— Если вздумаете кричать, то я найду средство успокоить вас.

— О, пожалуйста, не волнуйтесь,— ответил чужой.

Прошло может быть полчаса, долгих полчаса.

— Неужели вы никогда не слышали моего имени? —

обратился чужой к Степану.— Я известный профессор Давид Фредерик Эванс, профессор-энтомолог.

— Нет, не слышал,— отрезал Степан.

— Я получил высшее образование в Лейпциге и Париже,— чужой говорил медленно, будто вспоминая давно прошедшее,— а несколько лет спустя я был приглашен на должность профессора в один филладельфийский колледж, это в Соединенных Штатах Америки, хотя я подданный Чилийской республики. Мои исследования глазков-омматидиев и жабернодышащих ракообразных известны всему научному миру. Неужели вы никогда не слышали?

— Замолчите, мне это неинтересно,— проворчал Степан.

— Но я должен объяснить вам все, может быть вы поймете. . .

— Нет, не пойму.

— Вы беспокоитесь, что я нарушу тишину. Я буду говорить тихо.

— А я не беспокоюсь,— Степан повел автоматом,— я предупредил вас.

Прошло еще сколько-то долгих, томительных минут. «Пора бы уж Пулату вернуться»,— думал Степан. Он чувствовал, как стучит в его висках кровь, слышал свое тяжелое дыхание.

А чужой снова заговорил:

— Если хотите, я расскажу вам о себе все. Я родился почти в России, собственно Финляндия тогда являлась частью России. Я знаю русских.

Степан напряженно думал: «К чему это он клонит? Разговорился вдруг. И голос вкрадчивый. У, мерзавец, шпионское отродье!»

— До чего же занятный вы профессор! — не удержался Степан.— Родились в Финляндии, учил вас француз, документы давал южно-американский дядя, а деньги платит северо-американский. Занятно!

— Наука не имеет границ,— чужой театрально развел руки в стороны.— Я служу человечеству!

— Это смотря какая наука и смотря какое чело-

вечество,— заметил Степан.— А что вы искали на советской территории?

— Я прибыл сюда с большой комплексной экспедицией.

Степан усмехнулся. Он будто не хотел разговаривать, но сам пристально следил за чужим и старался запомнить каждое его слово.

— Вы что же, приехали сюда искать ноев ковчег, как ищет его другая ваша экспедиция у нашей кавказской границы? — спросил Степан.

— О,— оживился чужой,— наша экспедиция — это очень важная экспедиция. Перед ней поставлена грандиозная историческая задача. Известно ли вам, что великий полководец Александр Македонский завоевал Среднюю Азию до Памира? В западной части Памира есть озеро, носящее имя Искандер-куль, а Искандер — это Александр Македонский. Так вот, данная экспедиция идет по тому пути, по которому некогда двигалась армия... У экспедиции имеются большие научные цели: восстановить картины походов великого Александра.

— Удивительные экспедиции! — Степан нарочно раззадоривал чужого.— Библию изучают эти экспедиции на советской границе, Александра Македонского ищут тоже около советской границы, а букашек собирают непосредственно в советских горах.

— Это вы по моему, по личному моему адресу? — спросил чужой.

— Нет, так вообще. В самом деле интересно, чем может заниматься профессор-энтомолог в исторической экспедиции?

Чужой воодушевлялся все больше:

— Я воспользовался случаем, ибо в настоящее время занимаюсь изучением динамических свойств хелицер у сольпуг горных районов. Но, кроме того, меня интересует психология, а в частности личность Александра Македонского. Если хотите, я могу рассказать вам о нем много замечательного.

— Не надо,— отмахнулся Степан.— Мы это проходили в школе, только я вот не помню, чтобы

Александр Македонский бывал именно здесь. Как же попала сюда экспедиция?

— Я уже сказал,— нарушитель отвечал быстро точно у него заранее был приготовлен ответ на любой вопрос,— экспедиция комплексная. Одновременно он обследует путь, по которому в тринадцатом веке шел знаменитый венецианский путешественник Марк Поло.

— Это тоже по части психологии?

Вдруг Степан услышал шорох щебенки. Затем щебенка посыпалась. Одна короткая осыпь. Другая Третья.

Это был условный сигнал. Возвращался Пулат.

— Замолчите,— приказал Степан чужому.

— Слушаюсь,— ответил тот шопотом и улыбнулся.— Я вижу, что с вами можно говорить. Вы более общительный, чем ваш товарищ...

Когда пришел Пулат, Степан приказал ему собрать всю годную для письма бумагу:

— Рассказ его надо записать. Мало ли что. Может пригодиться...

Дело предстояло важное, поэтому Пулат старательно перебрал порожные консервные банки. Но отыскал он всего-навсего три этикетки, небольшой клочок обертки от шоколада и подал их Степану:

— Вот: «Судак в томате», «Перец фаршированный» и «Лососина в собственном соку».

Степан, вздохнув, провел языком по губам, пересохшим от ветра и солнца:

— Да, вкусные были. Садись.

Тоскливо разглядывал Степан замасленные этикетки. А Пулат колебался, что было вовсе не в его характере. Глаза Пулата растерянно бегали.

— В чем дело? — спросил Степан.

Тогда Пулат, словно в отчаянии, махнул рукой и достал из потайного кармана бумажник, опоясанный резинкой. Раньше нежели раскрыть его, Пулат пощелкал резинкой, потом еще раз махнул рукой и достал из бумажника фотографию девушки.

— На,— протянул он карточку другу.— Пиши на обороте.

Степан не мог оторваться от портрета. Глаза девушки светились доброй смеющейся улыбкой. Прямые черные брови почти срослись на переносице. Садбарг заплетала волосы в мелкие косы. По ее плечам спадало, наверное, двадцать таких кос. Они даже на фотографии выглядели не просто черными, но смолистыми. Если бы эти косы расплести, на карточке для волос нехватило бы места.

Степан развел руками:

— Почему не показал раньше? А еще друг!

— Понимаешь, фотограф плохо снял. Совсем не такая она...

Задумался Пулат, загадочно улыбаясь. Нет, не испортил фотограф благородных и красивых черт его любимой. Уж если говорить правду, то на фотографии он даже приукрасил Садбарг. Но разве есть мера, какой влюбленные могут измерить самую дорогую для них красоту?

— Мы с ней даже поссорились,— грустно сказал Пулат.— У нее, понимаешь, родинки...

— Вот же родинка!..

Глаза Пулата сверкнули:

— Только одна, а у нее две. Она сказала фотографу: «Вы их замажьте, я знаю, вы умеете замазывать».— А я сказал: «Не смей замазывать!» Я и Садбарг долго спорили. А потом фотограф сказал: «Ладно, я одну родинку заретуширую, а другую оставляю».— Так и сделал. Потом он карточку на витрине выставил. Садбарг плакала,— зачем с этой родинкой.

Степан ежился словно от озноба: он едва сдерживал смех. Давно Степану не было так весело.

— А где же медаль? — вспомнил он.

— Есть, правда, есть! Ведь Садбарг — знатный хлопкороб. И на медали написано: «За трудовую доблесть». Правда, есть медаль.

— Ну что ж, Пулат... Одно могу сказать: хорошую девушку ты себе выбрал. И сам ты — настоящий человек. Вернемся — напишу обо всем Садбарг.

— Только про фотографию не смей писать. Садбарг просила никому не показывать.

— И про фотографию напишу,— пообещал Степан.— Спрошу, зачем вторую родинку заретушировала?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Дни попрежнему стояли солнечные, погожие. Снег в горах таял бурно. Почти непрерывно грохотали лавины, ревели и бесновались горные потоки.

Природа словно сочувствовала двум советским пограничникам, спеша растопить снега и льды на заветном для них перевале — сделать его проходимым.

Но положение Степана и Пулата с каждым днем становилось отчаянней. Иссякли запасы сухого спирта и керосина для фонаря. Электрические фонари давно скисли. А как же караулить в темноте человека, который только и ждет удобной секунды, чтобы напасть на тебя? В этом трудном положении хорошую мысль подал Пулат: с темнотой снимать плащпалатку, что занавешивала вход. Тогда в пещере можно было кое-что различать. И Степан в свою очередь хорошо придумал: с наступлением темноты заставлял чужого надевать белый маскировочный халат. Так они видели его даже в безлунные ночи.

Чистой бумаги для переписки, конечно, и в помине не осталось.

Степан сказал однажды:

— Землицы бы...

Он объяснил Пулату, как можно насыпать на каменную плиту тонкий слой земли и писать на нем палочкой. Потом исписанную поверхность сглаживай и пиши снова. Много не напишешь? Да. Но объяснить можно.

А говорить теперь при чужом даже шопотом они не хотели. Степан и Пулат никак не могли простить себе недавнего легкомыслия, когда они, нет-нет, да и разговаривали в присутствии чужого. Правда, такие разговоры всегда велись на отвлеченные темы. Но

мало ли, вдруг у кого-нибудь вырвалась жалоба или сомнение?

Пулат разыскал землю (хотя в горах найти ее совсем не легко). В иных условиях никто не назвал бы это землей. Мох растет даже на голых камнях, и возле его корней собирается какое-то подобие земли: там и мелкие крупички каменной породы, и перегной того же мха от прежних лет. Словом, Пулат устроил площадку, о которой говорил Степан.

Вот когда они научились выражать свои мысли коротко, а Пулат перестал повторять кстати и некстати слово «понимаешь». На земляной площадке в один квадратный метр не очень-то распишешься палочкой! К тому же у Степана от слабости тряслись руки.

Казалось бы, удача должна была ободрить Степана. Ведь он так хотел заставить чужого говорить по-русски, и добился своего. Но что из того? Пограничники наслушались всякого вранья и все осталось попрежнему.

Степан слабел не по дням, а по часам. Пулат выбивался из сил, охотясь и собирая травы. За травами ему приходилось спускаться на альпийские лужайки, расположенные метров на триста ниже пещеры. А враг их притаился в закутке и ждал развязки. Теперь-то он ждал не с тревогой, но почти с уверенностью. Об этом говорило все: его наглый, упрямый взгляд, нарочито медленные, спокойные движения, манера говорить длинными фразами. Он, например, сказал Степану:

— Я отлично понимаю, в каком положении находитесь вы, а вместе с вами очутился и я. Сейчас ведь время интенсивного таяния снегов, и часто случаются обвалы. Тот единственный путь, по которому вы шли сюда, завалило снегом, это несомненно. Пришли вы сюда ненадолго, поэтому запас продуктов был у вас небольшой. Начальство могло бы оказать вам помощь самолетом, ну, сбросить на парашютах продовольствие и всякого рода снабжение, но оно, видимо, боится выдать этим ваше присутствие здесь. Злоумышленники, наличие которых вблизи границы пред-

полагается с самого начала, без труда проследили бы где спустится парашют, и немедленно явились бы туда. А ведь ваше присутствие здесь является тайным секретным. Вероятно по той же причине у вас нет и радиостанции, — чтобы злоумышленники не запеленговали ее. Следовательно, положение ваше безнадежно. Вы рассчитываете на помощь своих товарищей? Хорошо, разберем этот вариант. Из разговоров с местными пастухами и охотниками я случайно узнал, что горные перевалы в здешнем районе при самых благоприятных метеорологических условиях открываются в конце июня. Много дней ждать еще. Зима и весна этого года оказались небывало снежными. Вы, наверное, не новичок в горах и догадываетесь, что нынче перевалы могут остаться непроходимыми. Однако, зная насколько упрямы большевики, я допускаю мысль, что ваши товарищи пробьются через перевал. Вероятно они уже делали такие попытки. Но не будет ли поздно? Впрочем вполне возможно, что они считают вас давно погибшими и не хотят рисковать новыми жизнями. Ваше состояние крайне тревожит меня, хотя одновременно я восторгаюсь мужеством, с каким вы переносите все лишения...

— Замолчите! — сказал Степан, и сразу же голову его будто сдавили железным обручем. В глазах потемнело. — Замолчите, слышите!...

Но чужого не испугал внезапный приступ гнева. Будто сожалея о случившемся, он сказал:

— Напрасно вы так возбуждаетесь, ведь вам нужен покой.

А на другой день случилось такое, что очень встревожило обоих пограничников.

Пулат был на охоте. Степан стерег чужого.

— Знаете что, — заговорил чужой (с тех пор, как он стал говорить по-русски, он оставил противную манеру заискивающе улыбаться и пожимать плечами), — давайте говорить напрямую. Ваше положение безнадежно. Вы отлично понимаете это сами. А я понимаю, что все мои доводы — будто я ученый, кото-

рый не имел никаких намерений по отношению к вашему государству, не убедят вас. Я увидел настоящую стойкость. Будь у меня сейчас возможность, я написал бы во все газеты и радиостанции мира о вашем подвиге. Однако сейчас я не имею возможности сделать это. Я ваш пленник, и не просто пленник, а обреченный вместе с вами на голодную смерть. Скажите, пожалуйста, какой же смысл в нашей гибели, если вы и я можем еще принести пользу человечеству, делу мира? Рассказ о вашем подвиге, который при таком положении вещей может навечно остаться тайной гор, этот рассказ укрепит ряды сторонников мира и породит немало сомнений среди его противников. Поверьте, это так! Я обещаю вам — мировая общественность узнает о вашем подвиге...

Голос чужого становился все мягче, спокойней, словно вода журчала и убаюкивала Степана.

Чужой в своем закутке сидел на спальном мешке.

Степан полулежал с закрытыми глазами.

Он нарочно закрывал глаза. По давней привычке Степан хотел представить, что будет делать чужой дальше.

«Конечно постарается подкрасться и напасть, — думал Степан. — Сколько ему нужно для этого времени? Подняться — секунда. Быстро преодолеть расстояние в шесть-семь метров — на это три секунды. Всего четыре секунды».

Ах, как трудно было Степану открывать глаза! Веки слипались будто намазанные густым клеем, и разнять их нехватало сил. И как темно было даже при раскрытых глазах. Все заволакивалось серыми текучими пятнами.

Степан давно уже не прислушивался к смыслу слов чужого. Его занимал лишь ровный спокойный голос. Но вот и голос этот сник, растворился в каком-то странном звоне.

Звон в ушах Степана усиливался, усиливался и вдруг оборвался. Наступила тишина. «Что случилось?» Степан хотел подняться и вместо того резко откинулся назад. Точно молния ударила его по глазам:

«Почему без грома?..» Ослепительные зигзаги молний свернулись в круг, похожий на солнце, но круг сразу же отодвинулся и потух. Осталось большое светлое пятно...

Степан услышал:

— Плохо?..

Огромным напряжением воли он заставил себя открыть глаза. Чужой был на прежнем месте.

«Значит, прошло не больше секунды», — сообразил Степан.

— Послушайте, вам плохо? — спрашивал чужой. Он стоял на чуть согнутых ногах, весь собранный, напряженный, готовый к прыжку.

Автомат в руках Степана весил, наверное, с тонну и сами руки словно налились свинцом. Сколько надо было приложить усилий, чтобы чуть-чуть приподнять автомат, напомнить о его силе.

Чужой осторожно сел.

Степан разглядывал его, точно увидал впервые. Перед ним был рослый, плечистый человек с густо обросшим лицом и с такой же густой шапкой русых волос. Глаза у чужого были ржавые, неприятные, как вода на болоте, руки большие, немножко согнутые в локтях, и видно — цепкие.

Особенно поразила Степана добротная, совершенно целехонькая одежда чужого. Она выглядела просто нагло по сравнению с изодранным обмундированием Степана.

— Молчать, — едва выговорил Степан. Язык его словно одеревянел. Во рту пересохло.

— Я хотел вам помочь, — забормотал чужой, — я думал, что вам плохо. В вашем положении...

— Погодите, — перебил его Степан.

Он вдруг заметил, что на кожаной тужурке чужого не хватало двух пуговиц. При обыске их было шесть, а сейчас осталось четыре. Странно.

— Застегнитесь!

На одну ничтожную долю секунды (Степан это хорошо заметил) чужой вздрогнул, но тут же принял спокойный вид.

— Должно быть,— сказал чужой, смущенно улыбаясь и ощупывая места, где не доставало пуговиц,— должно быть, я потерял их, оборвались...

— Найдите и пришейте. Потеряться им здесь негде. Иголку с ниткой я вам дам.

Степану дышалось легче.

Чужой долго искал пуговицы, но они не нашлись.

Странно, очень странно...

Когда Пулат возвратился с охоты, Степану стало гораздо лучше. Он мог сидеть и писать прутиком. Первым делом Степан сообщил об исчезновении двух пуговиц с тужурки нарушителя.

Пулат вскочил, достал нож и бросился с ним к чужому. Он срезал с одежды чужого все пуговицы; последнюю даже не срезал, а вырвал «с мясом». Потом Пулат перевернул спальный мешок чужого, вывернул его наизнанку, вытряс, ощупал, осмотрел вблизи все выступы, трещины на камнях. Пуговиц не было. Передав Степану срезанные пуговицы, Пулат написал:

«Надо хорошо обыскать места, понимаешь (он был настолько удручен, что не заметил, как написал ненужное слово), куда водил на прогулку. Пойду».

С розысков Пулат вернулся злой, куда там — свирепый! Как могли пропасть две пуговицы? Если бы чужой действительно потерял их и не заметил, то они легко нашлись бы. Вот она, пещера, вот площадка снаружи и тропинка. Пулат все обшарил. Значит, чужой забросил пуговицы. Но пограничники старались следить за каждым его движением...

Пустяк кажется — две пуговицы, а растревожили они пограничников очень. Помимо всего, Степану и Пулату было обидно: как же это они сразу допустили ошибку — не отобрали у чужого всех пуговиц?

В таком трудном раздумье Степан долго не решался сказать Пулату о своем обмороке, но скрывать было нельзя. И он написал:

— Почему сразу не сказал? — спросил Пулат.

Степан кивнул в сторону чужого, медленно вычерчивая на земле буквы:

«Надо найти пуговицы. Найдем — узнаем все».
«Зачем тебе пуговицы, когда он задушит тебя?»
«Надо», — упрямо выводил Степан.

Пулат встал и принялся расхаживать по пещере. Вдруг он остановился против чужого, с минуту стоял, стиснув за спиной руки, и наконец приказал:

— Собирайся! Довольно, понимаешь, так сидеть. Пойдешь со мной на охоту. Но предупреждаю: если скажешь хоть одно слово громко — вот! — он показал на автомат. — Тут же! На месте!

— Я не намерен... — начал было чужой.

Но Пулат крикнул:

— Замолчи! Сейчас будешь намерен!..

— Пулат! — позвал Степан. Дальше он написал: — «Куда поведешь?»

«Пускай помогает осматривать капканы».

— Посмотри мне в глаза, — попросил Степан.

Пулат поднял на друга беспокойные глаза.

«С ним ничего не должно случиться, даже если закричит. Мы должны его отвести...»

Пулат кивнул головой.

— Идите, — сказал Степан чужому, — вы здоровый человек и должны помогать нам. Бояться вам нечего.

— Я ничего не боюсь! — когда чужой горячился, голос его делался визгливым. — Вы должны бояться. При первой же возможности я пожалуюсь на вас и потребую, чтобы вас наказали, очень строго наказали! Существуют международные нормы. Так никто не обращается с иностранными подданными. Только вы, большевики, не признаете международных законов. Мировая общественность ненавидит вас за это, и вы заслужили!..

Все лицо чужого дергалось от злобы. Вот когда оно было настоящим.

Но чужой вдруг криво и противно улыбнулся, вероятно сообразив, что потерял самообладание и выдает себя.

— Вы должны бояться, — сказал он, принимая снова спокойный вид, — да, я потребую, чтобы вас наказали очень строго!

Степан радовался. Ведь он и Пулат только что видели настоящее лицо врага.

— Видите ли, господин профессор не знаю какой психологии,— сказал Степан. Опираясь на руку Пулата, он медленно поднялся. Оба стали плечом к плечу. Степан говорил с трудом, но отчетливо.— Мы исполняем приказы не под страхом наказания и не по расчету. Нас обязывает исполнять их наша свободная совесть. Говорю я все это к тому, чтобы вы не тряслись за свою жизнь. Не бойтесь, придет время, и мы отведем вас к своему начальству. Там жалуйтесь сколько угодно. А сейчас собирайтесь вместе с ефрейтором на охоту и хорошенько запомните его предупреждение!

Только глухой вздох вырвался из груди чужого.

Пулат увел его, взяв со Степана обещание как следует выспаться.

Но Степан сразу принялся искать пуговицы: осмотрел в пещере каждый сантиметр, всякий кусочек щебенки и ничего не нашел.

Он стоял и, тяжело дыша, оглядывался по сторонам. Все ли он осмотрел? Кажется, да. Только родник оставался не обысканным. Но пуговицы не плавают. А в воде? Пулат тоже не искал в воде.

В глубине пещеры, сбегая по крутой стене, быстрые струи воды размыли каменное дно, устроив в нем чашу глубиной по колено. На дне чаши сквозь прозрачную воду виднелись тени от бурых камней. Степан стал очищать дно ледорубом. Он осматривал каждый камушек. Камни, перекатываясь по дну, гулко тарахтели.

Почти задыхаясь, Степан все выгребал из воды камни. Среди обточенных «голышей» попадались острые куски щебенки. У Степана исцарапались и посинели руки.

И вдруг удача! Он держал в руках камень, перевязанный тесьмой. Зачем это? Почему камень перевязан? Степан стал энергично скрести ледорубом по дну чаши. Теперь там постукивали лишь несколько камушков.

Он выбивался из сил и не знал, сколько времени прошло. Должно быть, много. Если бы не эта тесемка, Степан давно бросил бы бесполезное занятие.

И случилось так, что Степан нашел обе пуговицы на пологой плите совсем рядом. Он, повидимому, давно уже подтащил их вместе с камнем, к которому чужой привязал пуговицы, но они от ударов ледоруба разделились. Пуговицы были в точности под цвет каменной плиты. Поди, разгляди их.

В тот же миг в горах прогремел выстрел.

Степан даже забыл о пуговицах.

«Неужели Пулат убил чужого?! — мелькнула у него мысль. — Значит, все напрасно. Зачем же они так мучились и тратили столько сил! А если чужой нападет на Пулата и обезоружит его, или кто-нибудь придет выручать чужого? Надо спешить на помощь Пулату. Поздно! И куда спешить, в каком направлении? Скоро в горах стемнеет. Если чужой вооружен, то он за просто подкараулит Степана и убьет».

И честно говоря, радость Степана была крохотной, когда он, расслоив ножом пуговицы на половинки, нашел в них свертки шелка размерами не больше спички.

Тончайшие шелковые лоскутки были исписаны цифрами.

«Ученый», — только и сказал Степан.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Степан так и решил: в одиночестве он не останется. Кто-то обязательно придет — друг или враг.

И он приготовился к встрече. С автоматом и гранатами залег Степан за выступом камня. Если бы на него напали, то жизнь Степана обошлась бы врагам дорого.

Степан пролежал час, другой... И хотя лежал он укрытый спальным мешком, — все равно окоченел. Сначала серая мгла сгладила очертания камней. Потом на все опустилось огромное покрывало ночной

тени. Лишь сверху проглядывал кусочек неба с четырьмя звездами. Степан лежал и думал. Больше всего мучил его вопрос: «Почему никто не идет? Если там была борьба, значит кто-то взял верх. Кто-то... Конечно Пулат одолел чужого. Так почему же он не идет?»

В ушах Степана не прекращался звон, но сквозь него он различал плеск воды и прислушивался: не раздастся ли шорох щебенки под ногами человека?

Тихо.

«Может быть Пулат боится,— думал Степан,— нарушил приказ».

Луна взошла и разорвала ночную тень, разбросала ее кусками по впадинам и закуткам, а все на виду высеребрила.

С тех пор как в пещере перестал гореть фонарь, лунный свет всякий раз радовал Пулата и Степана. Сейчас же от него только знобило больше. Из-за этого озноба и невыносимой тяжести спального мешка, Степан едва приподнимался. Нервное напряжение, видно, подорвало его силы окончательно.

«Неужели Пулат убил чужого?»

Но вот Степан услышал отчетливые шаги и словно проснулся. Силы вернулись к нему. Он даже поправил привязанные к гранате шелковые лоскутки с шифром (чтобы врагам ничего не попало в руки). Прислушиваясь к шороху щебенки и к тяжелым ударам шагов, Степан понял, что к пещере подходил не один человек. Он удобней оперся левым локтем и стиснул автомат.

Шаги приближались.

Степан следил за звуками, которые возникали при каждом шаге. Ага, захрустела мелкая щебенка — это на скате в семи-восьми метрах. Звук ближе...

— Бросай здесь,— раздался голос Пулата.

Рука Степана упала, и автомат глухо ударился о камень, прикрытый спальным мешком. Степан уткнулся лицом в холодный свой рукав и затрясся: он смеялся и плакал от радости.

В пещеру протиснулся чужой, а за ним — Пулат. В просвете входа на голове чужого мелькнула белая повязка.

Степан крепко обнял друга и шепнул:

— Спасибо.

— Досталось, — то ли спрашивал Пулат, то ли говорил о себе, — погоди, гостинцев я принес.

Он вышел из пещеры и сразу же вернулся, волоком таща что-то большое и тяжелое. Это был рослый, круторогий горный баран — архар.

— Еле донесли, понимаешь.

— Зачем стрелял? — спросил Степан.

— Не я стрелял.

— Кто же? — удивился Степан.

— Погоди, расскажу по порядку.

Словом, пограничники не спали до утра.

Пулат свеживал, разделывал тушу архара и рассказывал, что случилось на охоте. Он водил чужих по местам, где накануне расставил капканчики.

Первые капканчики оказались пустыми. Пулат с чужим спускались все ниже, к самой границе. Вдруг они услышали голоса людей.

Все произошло в один миг. Чужой вскочил. Должно быть, он хотел закричать — позвать на помощь. Пулат свалил его ударом автомата по голове, накрепко связал и заткнул ему рот. Чужие люди на той стороне ничего не заметили. Пулат долго наблюдал за ними. Их было пятеро. Вооруженные. Судя по всему, они пришли встречать кого-то.

Чужие люди не переходили границу; они сидели, ходили, о чем-то спорили, часто показывали в сторону ущелья, где проходила Висячая тропа. Конечно, они ждали кого-то и ждали именно оттуда.

Вдруг Пулат заметил на скале архара. Раздался выстрел. Это человек из той группы выстрелил барана. Раненый архар прыгнул на другую скалу, затем — дальше, дальше и свалился неподалеку от Пулата. Человек, который стрелял, хотел подняться и забрать добычу, но другие отговорили его.

Незадолго до захода солнца чужие ушли.

Когда стемнело, Пулат отыскал убитого архара и развязал нарушителя. Вдвоем они насилу притащили барана.

И еще об одном интересном событии рассказал Пулат. Он заметил, как ослаб задержанный ими «ученый». На обратном пути чужой, спотыкаясь, два раза падал. И видно, очень мучила его одышка.

Рассказ Степана был короче. Собственно, Степан ничего не рассказывал, а лишь тайком от чужого показал Пулату расщепленные пуговицы и заштампованные в них шифры.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Происшествия последнего дня совсем ухудшили здоровье Степана.

Большое счастье, что Пулат не должен был уходить теперь на охоту.

Когда Пулат разделал барана и прикинул, насколько им хватит мяса,—сам чуть не запрыгал как молодой баран. На целую неделю! На всех! Вдоволь! (Правда, про себя Пулат решил давать чужому еды меньше.) А сколько было других вкусных, но главное, полезных вещей!

Сразу же Пулат заставил Степана выпить кружку крови и съесть большую порцию костного мозга. Пулат даже решился развести костер. Он так объяснил это Степану:

— Они знают, что тропы нет. Больше не придут.

— Откуда знают? — спросил Степан.

— Да, наверное, знают. А зачем приходили?

Для костра неутомимый Пулат собрал две охапки сухих веток терескена. Степан жадно следил за Пулатом, как тот готовился разжечь костер: ему хотелось продлить даже само ожидание. Давно, очень давно не видели они огня. Но Степану не пришлось полежать возле костра. Дым стелился по пещере, и Степан задыхался.

Пулат помог другу выбраться из пещеры. Однако Степан потерял сознание и на свежем воздухе.

Больших трудов стоило Пулату скрыть свою тревогу от чужого.

Обморок Степана длился минут десять. К вечеру ему стало лучше. Без особых усилий он мог разговаривать.

Этой ночью в пещере горел светильник. Пулат смастерил его из вытопленного жира.

— Мне надо сесть, помоги,— попросил Степан.

Пулат приподнял Степана.

С ненавистью глядел Степан в угол, где сидел чужой, потом отдышался и долго выводил дрожащей рукой слова:

«Поведешь его через перевал. Я останусь».

«Ты тоже пойдешь»,— написал Пулат.

«Нет, тебе будет тяжело».

В это время чужой пошевелился и осторожно сказал:

— Я прошу вас спуститься вместе со мной вниз туда, откуда пришел я. Не будьте безрассудными. Я обещаю вам полную неприкосновенность. Моя известность в научном мире — надежная тому гарантия. Пока еще не поздно, мы спустимся в долину, где вы сразу получите медицинскую помощь, питание и одежду. Я немедленно сообщу обо всем вашему правительству. Больше того, я буду требовать, чтобы оно наградило вас за проявленное мужество. Вы вернетесь на родину, едва оправитесь.

— Струсил? — усмехнулся Пулат.

— Нет, не струсил,— чужой сидел, вобрав голову в плечи и по временам стискивая виски пальцами,— из своих, личных средств я могу предложить вам двадцать тысяч долларов. По десять тысяч на каждого. Это не от трусости. Я ценю свою жизнь. Она нужна науке.

— Совсем не нужна. Замолчите,— приказал Степан.

— Тридцать тысяч!

— Замолчи!

— Вы безумные люди,— с трудом дыша, сказал чужой,— безумные!

— Молчи, гадина! — вскочил Пулат.

— Погоди,— попросил Степан, усаживаясь так, чтобы лучше видеть чужого.— Вы считаете себя профессором психологии, не правда ли? Так вот я вам хочу сказать...

— Пятьдесят тысяч,— медленно проговорил чужой, приложив руку к груди, словно собираясь сейчас же достать деньги из внутреннего кармана.— Не домайтесь. Вспомните школьную задачу. «Из трубы А в бассейн Б...»

— У нас нет таких задач,— резко оборвал его Степан.— У нас даже в школьных задачах вода течет по оросительным каналам на хлопковые поля. А если поезд идет, то он идет не от станции А к станции Б, а от станции Сталино к Москве и везет он уголь. Вы, господин, сделали огромный просчет...

Степан побледнел и откинулся на изголовье. У него носом пошла кровь. Пулат растревожился не на шутку. Надо было что-то предпринимать.

И в тот же вечер у чужого случился первый резкий приступ горной болезни. Пулат сварил последнюю плитку шоколада и напоил горячим напитком обоих больных.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Пулат не сразу поверил в болезнь чужого. Целые сутки он наблюдал за ним: не хотел ли тот обмануть пограничников — даже не двоих теперь, а одного Пулата. Ведь Степану сделалось совсем плохо, и Пулат не позволял ему вставать.

Но чужой по всем признакам заболел серьезно. Почти все время он лежал, забравшись в спальный мешок, на вопросы отвечал вяло, отказался есть.

Пулат сказал ему:

— Ешьте, при этой болезни надо больше есть.

— Уходите,— попросил чужой,— как я вас не вижу!

Конечно он заболел серьезно. На Степана и Пулата это подействовало удручающе. Не было, что называется, печали...

Пулат лег рядом со Степаном и шопотом спросил

— Что делать будем?

Степан с трудом повернулся к другу, чтобы видеть его лицо.

— А как ты себя чувствуешь?

— Не ворочайся,— рассердился Пулат.

— Как чувствуешь? — снова спросил Степан.

— Смотря для чего,— прищурился Пулат.

— Хватит у тебя сил отвести его на заставу?

— У него не хватит.

— Попробуй отвести.

— А ты?

— Я останусь ждать. Ты отведешь его. За мной придут.

Пулат взял руку друга, и его огорчило, что рука Степана осталась при этом такой же спокойной, почти неживой.

— Ты... здесь... один?

— Да,— шептал Степан,— еды много, вода есть. Я дождусь тебя. Ты придешь за мной вместе с нашими.

— Степа... — в горле Пулата застряло что-то неудобное и горькое.

— Слушай,— рука Степана слабо сдвинула палец Пулата,— я знаю, что за нами придут. Уверен — придут. Помнишь, когда произошел обвал, тогда ты не перестал ходить в дозор. Ты выполнял приказ. Сей час иди к нашим навстречу, пробивайся через перевал. Отсюда восхождение легче. Ты сильный. Я знаю — ты никогда не нарушишь данного слова. А ты дал его. То, что случилось с нами, это для тебя испытание. Я верю — ты выйдешь из него еще более мужественным и честным. Делай же так, как приказываю я. Обо мне не думай. Я буду ждать и дождусь!

— Степа,— Пулат гладил руки друга, его худое, обросшее лицо,— зачем ты говоришь так? Я могу отвести его на заставу, могу, но я не могу оставить тебя здесь одного. Не оставлю!

— Ты поведешь его завтра утром.— Степан улыбался, слабо покачивая головой.— Сегодня надо все приготовить. Нажарь мяса, проверь снаряжение, выпипись.

— Не буду.

— Я приказываю тебе.

— Ты больной. Сейчас я старше.

— Нет, я не передавал тебе своих прав и обязанностей. Кроме того, я советую тебе как секретарь комсомольской организации.

— А если с тобой что-нибудь...

— Пулат, разве можно так думать? Ты же знаешь, что со мной, с нашей дружбой ничего не может случиться. Дай мне наш рюкзак.

Удивленный Пулат нерешительно протянул ему мешок.

Медленно, с большим трудом Степан вытащил из него фотографию товарища Сталина, с которой никогда не расставался.

— Дай мне карандаш. Я должен написать...

И неверным почерком на обратной стороне портрета Степан написал:

«Мы клянемся Вам, что не пропустим врага на нашу священную землю.

Работайте, дорогой Иосиф Виссарионович, спокойно, шлем вам самый горячий пограничный привет!»

— Прошу тебя,— протянул он портрет Пулату,— отправь сразу же, как придешь на заставу. И еще... в случае... если... сам понимаешь... напиши обо всем маме. А впрочем...— Степан вдруг расправил плечи,— умирать я еще не собираюсь, Пулатище! Мы еще с тобой не одного «профессора» научим кое-каким наукам!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Наступал вечер, последний вечер.

Завтра утром Пулат должен был вести чужого через перевал.

Друзья-пограничники рассчитали, проверили все, что предназначалось для перехода. Впрочем, многого, что было крайне нужно, не оказалось. Продукты — одно подкопченное мясо архара. Сапоги пулатовы изодрались; правда, он, как мог, починил их. Чужой ослаб. Не было сухого спирта, без которого высоко в горах не растопишь снега для питья.

Окончательно Степан уговорился с Пулатом так: довести чужого только до гребня. Спуск по другую сторону очень труден, поэтому Пулат станет давать с гребня сигналы, ну а там уж...

До темноты Пулат в третий раз ушел собирать сухие ветки терескена — запас топлива для Степана.

Степан караулил чужого. Тот залез с головой в мешок и даже не стал ничего расспрашивать, когда ему сказали о завтрашнем походе. Отозвался только: — Хорошо.

«Отсыпается, наверное, — думал Степан, — силы копит, надеется, что ему удастся напасть. Пожалуй, напрасно Пулат пошел за этим хворостом. Ему бы тоже надо спать».

И самого Степана клонило ко сну. Опять кружилась голова. Руки налились свинцом. Стараясь не делать резких движений, Степан подвинул спальный мешок ближе к выходу. В висках у него резко стучало. Дышал он трудно, с шумом.

За входом, сквозь неподвижный прозрачный воздух, вдали на большом леднике отчетливо виднелись трещины. Солнце заходило и точно розовой глазурью покрыло лед и снег. На востоке сдвинулись, сгустились облака. Одно розовое облако прислонилось к пику, похожему на раскидистую палатку.

Но и у выхода из пещеры Степану дышалось не легче. Чтобы не уснуть, он прислонил голову к холодной каменной стене и сидел так, потеряв всякое

представление о времени. Шорох быстро приближающихся шагов вывел Степана из оцепенения. Пулат вбежал и, споткнувшись о мешок, едва не упал на Степана.

— Ракетница где? — закричал он. — Давай ракетницу! — Пулат размахивал руками. — Там на облаках! Наши на облаках, понимаешь?!

Чужой заворочался, пытаясь вылезти из мешка, но Пулат, не слушая вопросов Степана, накрепко скрутил нарушителя.

Чужой вырывался и злобно визжал.

— Что с тобой? — крикнул Степан.

Ему показалось, что Пулат лишился рассудка.

А Пулат уже тащил Степана:

— Идем, идем, там наши! — На ходу Пулат щелкал ракетницей, заряжая ее. — Понимаешь? Не понимаешь?

Поддерживая Степана, Пулат провел его вокруг выступа скалы на площадку, откуда свободно были видны до самого горизонта запад и восток.

— Смотри! — Пулат вскинул пистолет.

Степан не сразу понял, что произошло.

Слева солнце уже спустилось за гребень. Вокруг Степана и Пулата в огромной впадине, стиснутой высокими хребтами гор, все посерело, и всюду залегли глубокие тени. Только сверху протянулась облачная стена, блестящая и розовая от вечерней зари. Но и на ней, словно движимые ветром, колебались тени...

«Что это?» — Степан протер глаза.

Тени шевелились, они размахивали руками. Да, именно руками.

На облаках отпечатались гигантские человеческие тени. Степан растерянно глядел на Пулата.

— Ну да, наши! — выкрикивал Пулат, показывая в обратную сторону, — понимаешь, они там на перевале, на гребне, а солнце заходит за ними снизу. Это, понимаешь, наши тени, то есть, наших! Смотри: раз, два, три...

На облаках отчетливо вырисовывалось десять теней. Люди, стоя где-то на гребне, должно быть сами

пораженные таким явлением, вели себя нелепо. Одни прыгали, другие приседали, размахивали руками, и все это тени повторяли на облаках.

— Ракету! — приказал Степан.

Ракета взвилась. Точно длинную светящуюся веревку бросил Пулат в небо, и она рассыпалась там тысячей ослепительных брызг.

Тени на облаках замерли.

— Красную! — снова приказал Степан.

И красная огненная веревка взлетела в небо.

Тогда все тени на облаках разом подняли руки. Наверное, люди в горах заметили сигнальные огни.

Заметили! Теперь сомнений не оставалось. Далеко в горах сверкнули две ответные ракеты: белая и красная.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ранним утром спасательная группа пограничников спустилась к пещере, вернее, это были две группы. Одну вел сам начальник заставы, а другую — от «лагеря 4000» — старший лейтенант Прокофьев.

Они соединились на перевале.

Пещера осветилась огнями электрических фонарей.

— Товарищ капитан, — докладывал Степан, — пограничный наряд, выполняя боевую задачу по охране государственной границы Союза Советских Социалистических республик, за время несения службы задержал нарушителя границы. Старший наряда — сержант Виноградов.

Пулат стоял возле Степана, сияющий, гордый.

А еще через полчаса кипел чай, появилась колбаса, консервы, и в пещере плавал душистый запах пшенной каши.

— Вы нам завтрак туда принесите, — кивнул начальник дневальному, — а мы пока на солнышке погреемся. Пойдемте, — позвал он Степана и Пулата.

Они вышли из пещеры и, свернув за выступ скалы, перебрались на площадку, куда Степан и Пулат не раз выводили чужого на прогулку.

— Здесь, что ли, сядем? — предложил начальник, показывая на острые обломки камней. Видно, хотелось ему поговорить скорей и разузнать все.

Солнце поднялось настолько, что освещало сверху самые высокие и самые белоснежные вершины гор. Особенно четким профилем выделился на безоблачном синем небе северный гребень.

На юго-востоке солнечные лучи скользили по желто-красному склону, избороздив его серыми тенями и в иных местах вызолотив.

Сверкали серебряные ледники.

— Ну, так рассказывайте, — нетерпеливо просил начальник, — рассказывайте, как все было?

— Бабаджаев пускай докладывает, — ответил Степан, — он ведь задержал.

— Нет, товарищ капитан, пускай сержант Виноградов, — запротестовал Пулат. — Он старший.

— Да мне сейчас не надо официально. Не вставайте, — сказал начальник Пулату, — рассказывайте, как вы жили?

Степан начал рассказывать все по порядку, но Пулат раза два подсказал что-то забытое Степаном, потом незаметно перебил его и сам принялся вспоминать. Так и рассказывали они вместе: иногда наперебой, иногда уступая друг другу.

Начальник прочел всю переписку Степана и Пулата. Долго разглядывал шифры, найденные в пуговицах чужого.

— А он, — начальник показал в сторону пещеры, — не знает о том, что вы нашли пуговицы?

— Нет.

— Это очень хорошо, пускай разыгрывает свою профессорскую комедию дальше. Нам от нее пока только польза.

— Товарищ капитан, а это тот самый, которого мы встречали? — осторожно спросил Пулат.

— Да, именно его мы и ждали, и он нам очень нужен. Они в тот день пытались перейти границу в шести местах. Пятеро задержаны. Это последний.

— Я так и знал,— Пулат задорно посмотрел на Степана.— Я тебе все время говорил это, помнишь?

— Хорошо помню,— Степан улыбнулся и строго добавил: — погоди, погоди, я обо всем напишу Садбарг.

— И я тоже,— присоединился начальник.— А теперь слушайте, как мы пробивались к вам. Группа старшего лейтенанта Прокофьева и наша спасательная группа семь раз пытались пробиться через закрытый перевал. И только вчера вот...

К говорившим быстро подошел сержант-радист:

— Товарищ капитан,— доложил он,— есть ответ на ваше последнее донесение.

— Давайте.— Начальник прочитал радиограмму и долго тряс руки Степана и Пулата.— Ну вот, командование поздравляет вас с успешным выполнением боевой задачи.

— Служим Советскому Союзу! — ответили два друга-пограничника.

НАЧАЛО ПУТИ

*Глава из повести
«Главный инженер»*

Дверь широко распахнулась, и на пороге показался человек. Он остановился у входа, щурясь от солнца, слепившего ему глаза. Ветер ворвался за ним, раздирая сизые пласты табачного дыма.

Трое молодых людей, склонившиеся над каким-то прибором в дальнем конце комнаты, обернулись.

— Закрывайте двери,— недовольно крикнул один из них. Человек притворил дверь и некоторое время еще стоял, привыкая к свету, с любопытством озираясь по сторонам. Так осматривает новый жилец квартиру, где ему предстоит жить, или мастер — помещение, которое ему надо отремонтировать. Высокий, широкоплечий, он стоял, глубоко засунув руки в карманы просторных брюк, заправленных в белые фетровые бурки, и низкое зало лаборатории, заставленное шкафами, пультами, длинными столами, с его приходом стало еще ниже и теснее.

Заметив устремленные на него вопросительные взгляды, он с неожиданной ловкостью миновал узкие проходы между столами и подошел вплотную к молодым людям.

— Здравствуйте,— сказал он, внимательно оглядывая каждого.

— Здравствуйте,— выжидающе ответил сидевший посредине, очевидно старший по возрасту и по положению. Из кармана его аккуратной синей спецовки торчал краешек логарифмической линейки.

Вошедший обратился к нему:

— Мне нужно товарищ Устинову.

— Она уехала в город,— ответил остролицый худенький паренек, самый младший из троих.

Незнакомец разочарованно прищелкнул языком.

— Ну, ничего, я подожду.

Юноши переглянулись между собою.

— А она, может быть, не скоро вернется,— сказал паренек; блестящие глаза его с интересом ощупывали пришедшего. Что-то, не похожее на случайного посетителя, таилось в поведении этого рослого человека с веселыми зеленоватыми глазами.

— Ребята,— задумчиво сказал молчавший до сих пор лаборант, взъерошив черные курчавые волосы,— а может быть у нас не подается напряжение на пластины?

— Это идея! А ты как думаешь, Леня? — тотчас подхватил остролицый паренек, обращаясь к старшему.

Леня усмехнулся.

— У Саши столько идей, сколько в осциллографе деталей.

Они повернулись к прибору и снова ожесточенно и мрачно заспорили, позабыв о незнакомце. Из их слов было ясно, что осциллограф, высокий черный ящик со множеством рукоятей и матовым экраном посередине, был сдан им в срочный ремонт еще вчера и они не могут понять, почему вместо тоненькой изумрудной змейки на экране получается расплывчатое дрожащее пятно.

— Придется разбирать всю схему,— решительно сказал Леня.

Саша сжал поросшие темным пушком губы.

— Опять на два дня возни. Ну что ж, давайте крышку снимать.

— Прошу прощения,— вдруг раздался над их головами голос незнакомца.— Разрешите мне полюбопытствовать...

Леня недовольно скосил глаза.

— А что вас интересует?

Незнакомец рассмеялся.

— Да просто ручки повертеть.

— Ну повертите,— снисходительно разрешил Лена.— Все равно он испорчен.

Несколько минут они наблюдали, как пришедший, прочитывая предварительно надписи, поворачивал одну за другой рукоятки. Пятно на экране то вытягивалось, то вдруг сжималось в маленький дрожащий зайчик.

— Кстати, это не телевизор, а осциллограф,— не без ехидства заметил младший, которого звали Костей.

— Почему кстати? — сухо спросил незнакомец.— Кстати бывает только то, что остроумно. Как здесь открывается крышка? — обратился он к Лене.

Лаборант нахмурился.

— Вот что,— сказал он,— придет Мая Константиновна, она вам покажет то, что вас интересует, а нам сейчас работать надо.

Густые светлые брови незнакомца изогнулись.

— Ну, как хотите, я собирался помочь вам.

— А вы, случайно, не конструктор этого осциллографа? — с преувеличенным любопытством спросил Костя.

Такое предположение развеселило даже Сашу. Сохраняя вежливость, он отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

Все трое с жаром принялись за работу, изредка обмениваясь шутками. Равнодушие посетителя подстегивало юношей.

А он, не обращая на них внимания, с наслаждением вдыхал пряный, отстоявшийся годами сладкий запах канифоли, шеллачного спирта, горелой изоляции, озона, костяного масла, неповторимый, характерный для каждой лаборатории аромат. Широкие приземистые столы завалены живописными горами деталей, частей, вереницами приборов, перевитых жилами красной меди, и все сверкает, искрится, вспыхивает под солнечными лучами багряными, золотыми бликами. Это цветистое великолепие было ему милее всех богатств.

Его окружали сейчас изжелта-костяные дуги циферблатов, сизые вороненные копыя стрелок, пластинки жирно лоснящейся слюды, запеленутые ватой ярко-желтые кусочки янтаря. Он видел пузатые катушки обмоточных проводов, разодетые в пестрые шелковые наряды изоляции, серебристо-морозные алюминиевые экраны, красное полированное дерево футляров, словно залитое густым вином.

Победный, с басовитыми перекатами голос Лени возвестил:

— Порядок. Картина ясная. Ну вы, гуси-лебеди, смотрите сюда! Где, по-вашему, тут загвоздка?

— Может катушку пробило на корпус... — неуверенно заметил Саша.

— Катушку! — передразнил Леня. — Никакой системы мышления. Почему катушку? Их тут четыре. И на всех есть напряжение. Вот, пожалуйста, проверю. Ну что? По методу исключения, значит, остается эта цепь. Ее и будем разбирать.

— Даже Кривицкий не нашел бы так быстро повреждение, — сказал с гордостью Костя. — Практика — это великая вещь. Пригласи сюда любого профессора, да он и паяльник в руках держать не умеет. А что уж говорить про ремонт!

— А вот я не понимаю, как это так: пятно на экране есть, а формы кривой не получается? — удивился Саша.

— Я же тебе объяснил! — сказал Леня.

— Да ты сути-то дела, причины, не объяснил...

К лаборантам опять подошел незнакомец.

Не обращая внимания на раскрытый прибор, он взял крышку. На внутренней стороне ее была наклеена схема.

Почесывая кончик носа, он изучал ее несколько минут.

— Вот, пожалуйста, пробник, — услужливо сказал Саша, подавая маленькую лакированную коробочку с вделанным прибором для указания целости цепи.

— А мне не нужно, спасибо, — вежливо поблагодарил незнакомец. Он аккуратно опустил крышку на

место.— Мне думается, перегорело сопротивление эртри,— заключил он, так и не взглянув ни разу на прибор.

— Не может быть! — воскликнул Леня.— Я нюхал, ничего не пахнет.

— Может быть, у вас насморк? — участливо, без улыбки, спросил незнакомец.

Костя прыснул.

Леня в бешенстве взглянул на него и, ничего не отвечая, схватил паяльник, лег на стол и весь изогнулся, чтобы удобнее подобраться к внутренностям прибора.

— Вы смотрите, то ли сопротивление я отпаиваю, чтобы потом не было недоразумения! — голос его звучал насмешливо, самоуверенно.

Было слышно, как с легким шипеньем паяльник коснулся припоя, как тяжело дышал Леня, нетерпеливо посапывал носом Костя.

Леня поднялся, держа между пальцами маленькую черную трубочку; он тщательно оглядел ее, сохраняя спокойствие. По одному только виду своего товарища Саша и Костя поняли, что еще лежа на столе, еще отпаивая сопротивление, Леня убедился, что оно сгорело. Теперь он просто старался выиграть время и что-нибудь придумать в оправдание.

— Правильно,— сказал он, небрежно швыряя сопротивление на стол.— Я так и считал, что повреждение в этой цепи.

— Да, но в этой цепи восемь элементов,— сказал незнакомец.

Леня еще пытался что-то возразить, но его уже не слушали.

— Вот это фокус! — вскричал Костя, хлопая себя ладонями по колену.

— Как это вы догадались? — восторженно спросил Саша.

— А как вы думаете, почему могло сгореть это сопротивление? — ответил вопросом на вопрос незнакомец.

— Потому что на него дали большое напряжение,— ответил Саша.

— А почему?

Все молчали.

— Последнее время его использовали для исследования грозы,— осторожно сказал Леня.

— Ага! — незнакомец обрадованно повернулся в его сторону.— Это возможно. Теперь все понятно.

Он взял мел и, стуча им по доске, нарисовал схему «переживаний» осциллографа, и сразу стало ясно, что осциллограф не приспособлен для таких измерений.

— Так что прежде, чем приступать к ремонту, мне думается, надо выяснить, будут ли им продолжать измерения грозы или нет.

— Извините, вы, наверное, специалист по ремонту осциллографов? — набравшись духу, спросил Костя.

Незнакомец рассмеялся.

— Никак нет. Достаточно, как видите, просто разбираться в принципе работы прибора.— Он вынул платок и, вытирая пальцы, измазанные мелом, взглянул на часы.

— Ого! Я тут заговорился с вами.

— Вы не будете дожидаться Маи Константиновны? — с разочарованием спросил Саша.

— Да нет, уже поздно.

— А как передать ей? — все трое насторожились, приготовившись услышать что-нибудь такое же удивительное, как и все поведение этого человека.

— Передайте ей, что заходил Лобанов. Андрей Николаевич Лобанов.

* * *

Андрей Лобанов добивался назначения в лабораторию, имея одну точную цель — разработать прибор для определения мест повреждения в линиях передачи. Если бы ему пришлось ради этого работать рядовым инженером,— он согласился бы, не раздумывая. Ничто не могло остановить его. Препятствия чаще всего подстегивали его решимость. Лишь одна-

жды он заколебался, остановился, поняв, какой дорогой ценой приходится платить ему за свою мечту. Это случилось, когда Андрей должен был поставить в известность о своем решении Григория Афанасьевича Долгинского.

Профессор Долгинский заведывал кафедрой, на которой Андрей учился в аспирантуре, готовился и защищал диссертацию. Профессор хотел оставить Лобанова при кафедре. В последние годы, уже часто и подолгу болея, Григорий Афанасьевич, словно спохватившись, начал готовить Лобанова себе в помощники, готовил настойчиво, не жалея времени и сил. Он относился к нему с придирчивой, дотошной требовательностью и в то же время с нежностью старого человека, видящего в пытливом прищуре зеленых глаз Лобанова свою молодость.

Выслушав Андрея, он долго молчал.

— Что ж, выходит, ошибся я в вас, Андрей Николаевич, — с трудом сказал он, не в силах скрыть горькой растерянности.

Он хотел еще что-то сказать, но вдруг слабо, как-то устало махнул рукой и отвернулся. Для Андрея этот жест знакомой до каждой морщинки руки, был тяжелее пощечины.

Андрей не приводил никаких доводов, объясняя свое намерение. Профессор не хуже его знал, что лаборатория энергосистемы была единственным местом, где имелась база для самых широких исследований в естественных условиях: линии передач на десятки и сотни километров, кабели любых напряжений и марок. Андрей мог бы ответить на любое его возражение. Он мог легко доказать свою правоту, но за растерянным молчанием Григория Афанасьевича скрывалось что-то невыразимое никакими словами и в то же время самое тяжелое. Ведь он был тоже прав в своем горестном разочаровании, переживая невозместимую уже в эти годы потерю...

Хватит ли у него сил да и желания снова искать и готовить себе преемника? Андрей понимал, что старый профессор чувствует себя жестоко обманутым.

Покидая родные стены института, Андрей уносил с собою безмолвный, невысказанный упрек человека, которому с юношеских лет он поклонялся с любовью и восхищением. Это был разрыв, и это было, пожалуй, первое серьезное жизненное противоречие...

Андрея не смущало резкое внешнее отличие нового места работы от привычного вида институтских лабораторий. Неказистое помещение, теснота, неудобная конторская мебель,— все это в конце концов была только одежда, по которой встречают. Главное — люди. Браться в одиночку за создание прибора — бессмысленно. Успех зависел прежде всего от коллектива лаборатории, от того, насколько глубоко и всесторонне знали теорию инженеры, от квалификации техников, от опытности лаборантов. До прихода в лабораторию представление о ней сливалось у Андрея с обычным типом институтской лаборатории. Налаженный, натренированный годами в серьезных научных исследованиях организм, способный справиться с любым заданием. С таким коллективом никакие трудности не страшны, лишь бы самому оказаться достойным руководителем. Но встреча с Леней Морозовым и его товарищами, их беспомощный, наивный подход к ремонту осциллографа заставили его насторожиться. Могла ли косная самоуверенность Лени Морозова объясняться свойствами его характера? Не уходила ли она корнями в общие порядки лаборатории? Случай это или система? Если таковы солдаты его будущей армии, то каковы их офицеры?

Он вызывал к себе одного за другим инженеров лаборатории, откровенно и без стеснения проверял их теоретический багаж. Багаж!.. К сожалению, это было довольно точное определение. Многие давно уже сдали его, как ненужный в походе груз. Он покоился на самых задних полках их памяти, ветшая и портясь от бездействия. Все они прекрасно обходились скромным набором практических рецептов, нажитым за последние годы работы в лаборатории.

Знания, которые не употребляешь, неизменно утрачиваешь. В грустной справедливости этой ста-

рой истины Андрей убеждался, беседуя со своими инженерами. Кое-кто из них уже не мог решить простейших дифференциальных уравнений, рассчитать реле. Путаясь, неуверенно вспоминали они основные формулы и почти все они не знали характеристик новых типов приборов, радиоламп, изоляционных материалов. От драгоценного, некогда грозного оружия остались запыленные временем обломки. Но странное дело: почти никого из инженеров не смущала эта грустная картина разрушения. Большинство из них недоумевало — зачем это Лобанову понадобилось ворошить полуистлевший каталог их знаний.

Пожилой инженер Кривицкий не удержался, сказал Лобанову:

— От того, что я позабыл тензорное исчисление, Андрей Николаевич, ремонт пирометров не задерживался и не задержится ни на один день.

— Возможно, — уклончиво сказал Андрей. Пока что он предпочитал спрашивать и слушать.

— Один мудрый человек так сказал: заблуждаются люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Это, конечно, относится к нашему брату, производственнику. А вам... — Кривицкий внимательно осмотрел свой длинный желтый ноготь на мизинце, пощелкал им, зацепив за большой палец. — Да-с, так вот, напрасно вы надеетесь что-нибудь изменить от того, что ткнете нас носом в нашу теоретическую серость. Позвольте на правах старшего по возрасту предупредить вас, — со стороны ваш розовенький энтузиазм покажется смешным.

Андрей заставил себя спокойно улыбнуться:

— Другой мудрый человек сказал, что привычка находить во всем только смешную сторону есть самый верный признак мелкой души, ибо смешное лежит всегда на поверхности.

Откровенный цинизм Кривицкого раздражал, зато после разговора с Борисовым перед Андреем со всей серьезностью встала опасность положения.

Поначалу разговор долго не вязался. Борисов, и без того молчаливый, насупив сросшиеся черные брови,

сидел, не поворачивая головы, попыхивая трубкой, и цедил сквозь зубы скупые односложные слова. И вот, как это бывает иногда, каким-то с виду малозначащим вопросом Андрей словно коснулся самого заветного, скрытого и болезненно саднящего. Лицо Борисова как будто окаменело, скулы побелели. Он вынул трубку, стиснул ее в сцепленных руках.

— Вы думаете, я не понимаю? Ведь я институт кончил всего два года тому назад. Работал до этого дежурным монтером на станции. Работал, а по вечерам учился. Дома смеялись надо мною: четвертый десяток пошел — студентом сделался. Но я понимал, что без образования нет у меня никакого интереса к жизни. Когда попал я в лабораторию, мне казалось, что вот тут-то и начинается самое главное, ради чего стоило ночи не спать, ломать привычное. Сколько замыслов у меня было... Что же получилось? Да ничего. Завертело, закрутило среди этой окрошки из мелких делишек, и не успел оглянуться — прошел год, другой... Я входил сюда как в святилище, храм науки, а оказалось, что это просто мастерская «Метбытремонт» — «чиню-паяю». Незачем было институт кончать. Хватило бы и техникума. Я до сих пор еще барахтаюсь. Читаю журналы, задачки решаю, лишь бы не забыть. Перетряхиваю свое имущество, нафталином пересыпаю. Да что толку? Этим не спасешься. А многие плывут по течению. И все-таки если ковырнете поглубже, то почти каждый из них переживает. Даже такой, как Кривицкий. Ведь его цинизм — это маска. На самом деле он не меньше меня страдает за лабораторию. Повсюду начинается борьба за новую технику, люди решают интересные проблемы, ищут, создают, а мы как будто приплыли в заплесневелую заводь. Пробовали мы не раз вместе с Маей Константиновной повернуть дело как надо. Да, видать, не сумели. То ли сил нехватило, то ли умения. Одно могу сказать вам, Андрей Николаевич, — начинать надо не с нас, а сверху, с управления, с техотдела, с главного инженера. За нами остановки не будет.

Мы истосковались по настоящей работе. Я головой хочу работать, думать хочу!

Ничего не ответил ему Андрей. Обещать он не любил, а в утешениях Борисов не нуждался. Борисов ни на кого не жаловался, он взваливал на себя всю ношу вины. Так мог поступать только сильный человек. Рано или поздно, он добился бы своего. С этой минуты Андрей почувствовал, что нашел верного товарища. По-братски поделились они суровой заботой о судьбе их лаборатории, и Андрей сам не заметил, как горькое разочарование, что капля за каплей наполняло его эти дни, сменилось злой решительностью — драться, драться и победить.

Добросовестно просмотрел отчеты, оставленные Маей. Наладка старых регуляторов, разработка нескольких простеньких схем из учебников, безучастная регистрация аварийных случаев, ремонт, подгонка стандартных реле под новые условия, снова ремонт. Он видел воочию, как избалованные отсутствием препятствий, развращенные легкостью текущих поручений постепенно зарастали чертополохом мнимого благополучия самые ценные качества людей.

Мелочная тематика повела за собой скудость обихода. Лаборатория свободно обходилась простейшими приборами школьного кабинета физики. Куда-то расходовались средства, запланированные на приобретение новых приборов. Где-то в других отделах работали люди, числившиеся в штате лаборатории.

Все переплелось, перепуталось, на все находились свои причины, все выглядело правильным, и никак нельзя было понять, с чего же начинать, где же тут главное.

Никогда раньше ему не приходилось сталкиваться с вопросами экономики. Фонды зарплаты, лимиты, статьи расходов, себестоимость, сделщина, нормы, все это навалилось на него, связывало по рукам и ногам, и Андрей чувствовал, что, не изучив всех этих тонкостей, он будет беспомощен.

С каждым днем он все дальше и дальше отдалялся от своей цели. Жизнь воздвигала все новые

препятствия между ним и прибором. Теперь он уже не представлял себе, когда он сможет им заняться.

«Вернуться скорее назад, в институт,— думал он,— пока не засосало с головой в эту трясиину».

Он ложился на кровать, зарывался головой в подушку, стараясь убежать от своих малодушных мыслей. Никто не мог помочь ему. Он должен был сам справиться со своими слабостями. Впрочем справиться с ними было нетрудно. Приходил сон, а за ним ясное утро нового дня, полное новых надежд, новых забот, и они без остатка смывали мутный осадок вчерашних сомнений.

Прямота, заложенная в характере Андрея, подсказала ему самый простой и короткий путь. Он пришел в бухгалтерию и сказал:

— Помогите мне разобраться. Научите меня. Я абсолютная невежда в вашей науке, и без нее мне не обойтись.

Главный бухгалтер, проработавший на своем месте уже свыше двадцати лет и слывший человеком жестким, суровым, встретил его сухо и подозрительно. В течение двух дней он наблюдал, как Лобанов с утра и до вечера, отложив в сторону все свои лабораторные дела, постигал тайны авансовых отчетов, банковских операций, контокоррентных счетов. Ожесточенное в непрерывных боях сердце главного бухгалтера постепенно смягчалось. Ему нравилось, что новый начальник лаборатории, не кичась своим ученым званием, запросто учится у счетоводов, внимательно выслушивает их объяснения, записывает.

Но бухгалтерия не только наука, она — искусство. И главный бухгалтер, взяв в свои руки дальнейшее образование Лобанова, показал ему это. Подобно искусному анатому он вскрыл перед Андреем трепещущие живые ткани организма предприятия. Он показал, как упорно, последовательно идет борьба за экономию каждой копейки. И дело было вовсе не в хищениях или растратах, как наивно представлял себе раньше эту борьбу Андрей. Речь шла об огромных омертвленных ценностях, залежавшихся на складах у

«запасливых» хозяйственников, о начатых и законсервированных стройках. Андрей с изумлением убедился, что этот пожилой человек, словно вросший в свой письменный стол, где в каждой мелочи сквозил годами установленный порядок, этот человек с аккуратными нарукавниками, с каллиграфическим почерком, словом со всеми классическими признаками канцеляриста, — оказывается превосходно знает производство, особенности каждой станции, турбины, генератора.

В шумных, заставленных столами, комнатах бухгалтерии, с картотеками, грудями папок, среди шелканья костяшек счетов, треска арифмометров, шла самая настоящая исследовательская работа: как ускорить оборачиваемость средств? как повысить рентабельность работы? По неуловимым признакам выявлялись слабые места отдельных предприятий, и сразу же заботливая в своей неумолимости рука главного бухгалтера останавливала, предостерегала, указывала.

И Андрей начинал понимать, что люди, упрекающие главного бухгалтера в «бесчеловечности», на самом деле близорукие эгоисты, не желающие видеть, что они наносят жестокие и болезненные раны самому дорогому и любимому для каждого из них — своему государству.

После ухода Андрея главный бухгалтер задумчиво сказал:

— В человеке важен не чин, а начин...

Вскоре Андрей ознакомился с отделом труда и зарплаты, с плановым отделом. Тайнственные кабинеты, где чем-то занимались десятки людей, оказывались такой же неотъемлемой частью системы, как турбины, генераторы, котлы. Он по-иному начинал видеть мир, окружавший его. Здесь были не только лаборанты, не просто приборы и технические задачи: все это составляло частицу плана работы всей страны, все это надо было обеспечить материалами, средствами, предусмотреть, учесть.

В кабинете Андрея висел написанный им от руки плакатик: «Не курить!», под ним он прибил новый: «Техника = физика + экономика».

* * *

Новый начальник лаборатории работал уже вторую неделю. Он не терял даром ни одного часа и вгрызался в дело с такой яростью, что даже самые старые, задубелые временем порядки колебались и давали трещины. Первый его шаг вызвал ожесточенные споры и пересуды. К моменту прихода Лобанова лаборатория помещалась в четырех больших комнатах. Инженеры располагались каждый в своем углу вместе со своими лаборантами, техниками, монтерами. Их письменные столы ютились тут же, стиснутые со всех сторон пультами, верстаками, стендами. Лаборатория превратилась в маленькие норки-вотчины, отгороженные друг от друга особыми традициями, ничтожными тайнами, перевитые сложными взаимоотношениями, в которых Лобанов и не собирался разбираться. И над всем этим, усугубляя их разобщенность, стоял плотный шум моторов, гудение трансформатора, сухой треск электрических разрядов. Приходилось напрягать голос, чтобы быть услышанным даже в своем углу.

До прихода Лобанова обязанности начальника лаборатории исполняла молодой инженер Мая Устинова. Ее рабочее место находилось в той комнате, куда Лобанов впервые вошел несколько дней тому назад. Мая Устинова добросовестно приготовилась к сдаче дел. Она выложила перед Лобановым две стопы пухлых папок с бумагами и на шести страницах акт с приложением инвентарной описи, списка личного состава. Акт Лобанов подписал, почти не читая, папки засунул обратно в ящик стола и сказал Мае:

— Спасибо. Можете идти работать.

Часа два он ходил из одной комнаты в другую, ни с кем не разговаривая, насупленный, что-то вымеривая и прикидывая.

В крайней комнате, выходявшей окнами на юг, он задержался особенно долго.

Заметив в стене небольшую дверь, запертую на височный замок, он попросил открыть ее. Это была комната с заделанным решеткой окном, где хранились приборы. Согнувшись, он вошел, прикрыл за собой дверь и прислушался. По сравнению с большой комнатой здесь был островок тишины.

В этот же день Лобанов распорядился переселить инженеров в крайнюю комнату; лаборантов и техников — «коренных жителей» этой комнаты — разместить в остальных трех. Приборную устроить в другом месте. Каморка стала его кабинетом. В ней было холодно и темно, так что приходилось всегда держать лампу включенной, но все неудобства искупала тишина.

Большинство встретило эту «реорганизацию» в штыки. Она не нравилась ни инженерам, ни лаборантам, резко ломала отстоявшийся годами стиль их работы. Некоторые видели в приказе Лобанова стремление подчеркнуть разницу между инженерами и остальными работниками лаборатории. Кое-кого это обижало. Кое-кто иронически-снисходительно посмеивался — «новая метла», и с любопытством ждал, что будет дальше. Очутившись все вместе в просторной, солнечной комнате, где стояла непривычная тишина, тикали большие стенные часы и столы белели свежей бумагой, инженеры почувствовали себя словно выставленными в витрину на виду у всех.

Прежде всего у них оказалось много свободного времени, раньше они его не замечали: с утра их затягивал водоворот непосредственных указаний, вопросов, беготни, разговоров. У них на глазах ремонтировали, разбирали, налаживали схемы, опробовали узлы, собирали, мерили, и все это заставляло инженеров поминутно вмешиваться, отвлекаться, давать указания. Теперь все выглядело иначе. Дав задание и повертевшись, скорей по привычке, среди своих лаборантов, они поневоле возвращались в «инженерную». Да и техникам неудобно было поминутно вызывать их, обращаясь со всякими пустяками, как прежде. Инженеры могли спокойно заниматься своими расчетами,

им никто не мешал. Лобанов пока что не вмешивался в их работу. Произведя «переселение народов», он уединился в своем кабинете и раз в день вызывал к себе кого-нибудь из инженеров. Они входили к нему настороженные, готовые ко всяким неожиданностям и покидали его успокоенные и слегка разочарованные. Он интересовался только их знаниями. Причем главным образом общетеоретической подготовкой. Им было известно, что Лобанов кандидат технических наук, что, окончив институт, он остался в аспирантуре, что война прервала его учебу и, демобилизовавшись, он вернулся в институт и недавно защитил диссертацию. Передавали, что он категорически отказался от преподавательской работы на кафедре и попросился на производство. Все эти сведения породили много толков и сводились в общем к суждению, высказанному желчным Кривицким:

— Теоретик. Фигура не столько для пользы, сколько для украшения.

Борисов, парторг лаборатории, вопросительно поглядывал на него.

— Ну как же,— пояснил Кривицкий,— работой нашей не интересуется и умно делает, потому что понимает, что ничего подсказать нам не сумеет. Практического опыта у него нет. Посему, для создания авторитета, беседует на отвлеченные темы, в которых он чувствует себя уверенно. Понятно?

— В самом деле, Борисов, согласитесь, что Лобанов образец, в буквальном смысле, кабинетного ученого,— вмешался конструктор Усольцев. Он был недоволен Лобановым. Начальник лаборатории в ответ на его просьбу дать указания по текущей работе, мельком взглянув на чертежи, равнодушно сказал:

— Ну, тут вы сами разберетесь.

Усольцев действительно мог сам разобраться, он умел работать и любил свое дело, но при этом он не меньше любил систематически сверять свой компас по компасу руководителя.

Борисов не торопился высказывать свое мнение. В действиях Лобанова чувствовалась определенная си-

стема. Но его тоже несколько смущало то, что Лобанов начал с кабинета и «инженерной». Впрочем, через несколько дней он на самом себе стал ощущать отрицательные последствия переезда. Новая обстановка, высвобожденное время показали ему, как непроизводительно он работал до сих пор. Невольно возник вопрос, чем же заниматься остальное время, как использовать свободные полтора-два часа. Он признался себе, что отвык сидеть в тихой комнате и думать. Думать над схемами, над расчетами, над формулами. Борисов с любопытством замечал, что его товарищи переживают такое же, не осознанное еще чувство неуютности, неудобства от избытка свободного времени, от отсутствия настоящей большой работы.

Но не только Борисов одобряюще присматривался к новому начальнику лаборатории. Саша Заславский — секретарь комсомольской организации, — узнав в Лобанове незнакомца, который помог им отремонтировать осциллограф, убежденно заявил Борису:

— Я в него верю.

Сашу поддерживал Костя Земцов и, что было уже совсем непонятно, — техник Леня Морозов.

Лишь один человек в лаборатории оставался внешне равнодушным ко всему происходящему. Это была Мая Устинова. Она твердо решила уволиться из лаборатории и ждала только, чтобы Лобанов окончательно вошел в курс дел. Ее положение казалось ей настолько двусмысленным, что увольнение было единственным выходом. Чрезвычайно щепетильная и мнительная по натуре, она чувствовала себя связанной по рукам и ногам. Любое ее слово против новых порядков в лаборатории могло быть истолковано дурно. Она боялась, что Лобанов будет инстинктивно не доверять ей, что она будет стеснять его. До сих пор он ни разу не упрекнул ее ни в чем.

Лобанов вызвал Устинову в начале второй недели.

Он выложил ей начистоту все, что думал о лаборатории и о ней, как о бывшем руководителе. Горькое тяжелое спокойствие сдавливало его голос. Он

заваливал ее глыбами фактов. Он разворотил самые спокойные укрытия. Он разбил вдребезги все то, что казалось ей самым ценным и нужным.

— Что вы, собственно, думали? — словно тряс ее за плечи голос Лобанова. — Почему мучились? Людей разбазаривали! Тематику забросили! Превратили центральную лабораторию в мастерскую Метбытремонта!

— Я писала... — с трудом произнесла Мая. Губы ее дрожали. — Вот, пожалуйста, копии докладных записок. Главный инженер знал об этом.

Лобанов презрительно посмотрел на ее вытянутую руку с пачкой бумаг.

— Заготовили соломку, чтобы мягче падать, не ушибиться. Действие этих бумажек не оправдывает даже их стоимости. — Он неожиданно вздохнул и сказал простым удивленным голосом: — Эх, Мая, и когда это вы успели превратиться в такого делягу! Я же вас помню по институту. Вы боевой дивчиной были!

Мая Устинова училась на третьем курсе, когда Лобанов кончил институт. Он знал ее по работе в комитете комсомола.

Мая грустно улыбнулась: стоило ли вспоминать об этом? Разве для того, чтобы лишний раз уязвить ее. Она вынула из кармана халатика заявление с просьбой перевести или уволить ее и подала Андрею. Она сделала это не потому, что так решила сейчас, а скорее по инерции давно принятого решения. Сейчас она сидела придавленная, оглушенная свалившимися на нее обвинениями. Грудой обломков и развалин представлялась ей вся ее прежняя работа.

Она следила за лицом Андрея, надеясь прочитать на нем удовлетворение. Мая теперь не сомневалась, что Лобанов презирает ее, что он не простил ей ни одного промаха, ни одной ошибки.

— Это еще что за выходы! — сказал Андрей тихо, сквозь зубы, но Мае показалось, что он кричит: — Бежать хотите? От кого, от чего бежать? От ответственности? Поди, в глубине души умиляетесь своим благородством. А по-моему, это самое постыдное и по-

зорное, неуважение к коллективу. Это непартийный поступок. Если бы вас даже уволили, то и тогда вы обязаны были бы добиваться оставления. Кто за вас обязан чистить эти авгиевы конюшни? — И вдруг добродушная, по-детски привлекательная улыбка преобразила его лицо. — Думаете я не понимаю, что вы тут тоже боролись за настоящую лабораторию? Так вот, Мая, считайте, что борьба продолжается, а я пришел помочь вам. Одним солдатом стало больше, вот и все.

Мая не выдержала, опустила глаза, и две большие слезы скатились из-под ее ресниц. Это было так неожиданно, так не вязалось с обликом Маи Устиновой, что Андрей растерялся. Никогда он не мог постигнуть логику женского сердца.

На его счастье зазвонил телефон. Он снял трубку. Начиналось диспетчерское совещание.

Мая вышла, тихонько притворив дверь. В «инженерной» к ней подошел Кривицкий.

— Бушует? А? — сочувственно спросил, кивая в сторону кабинета Лобанова. — Ничего, помню, вы тоже по началу горячо брались.

Мая криво улыбнулась. Да, она тоже помнила это, слишком хорошо помнила. Правда, она с самого начала отказывалась от должности начальника лаборатории и предупреждала, что ей будет не под силу, так что... «Или ты опять себе соломку приготовила?» — упрекнула она себя, применяя выражение Андрея.

— Кривицкий, вы верите вообще в людей? — спросила вдруг Мая, не прерывая хода своих мыслей.

— Ого! — усмехнулся Кривицкий. — Я слишком стар, чтобы философствовать на эту тему. — И, пожевав губами, добавил: — Все же интересуюсь продолжением беседы. Я прежде всего стараюсь увидеть человеческие недостатки.

— Вы заметили их у Андрея Николаевича? — спросила Мая.

Кривицкий церемонно взял ее под руку.

— Мая Константиновна! Из тех, что вы могли бы передать ему, укажем на то, что он романтик. И, оче-

видно, ниспровергатель. Да, да, не смейтесь, есть такая симпатичная категория. Ну-с, и обладая подобной точкой опоры, он будет переворачивать мир. Начнет с того, что перессорится с руководством, затем возможны два варианта: либо смирится, либо плюнет и уйдет, оставив нас у разбитого корыта.

— Кривицкий, давайте поможем Лобанову,— думая о своем, сказала Мая.

Он выпустил ее руку и предложил сесть.

— По всем правилам старой драматургии, вам следовало вставлять ему палки в колеса, по крайней мере, злорадствовать про себя, взирая на его неудачи. Я так и знал, что ваше благородное комсомольское сердечко не выдержит. Так вот, знайте же,— меняя тон, серьезно сказал он,—если я увижу, что он добился хоть чего-нибудь реального, хоть где-нибудь дали трещину установившиеся у нас порядки, тогда я зубами буду помогать ему.—И такая свирепая решимость проступила в чертах инженера, что Мая была готова обнять и расцеловать этого закоренелого скептика.

Двери кабинета Лобанова распахнулись, он вышел оттуда, кусая губы, и направился прямо к ним.

— Модест Петрович,—обратился он к Кривицкому,—на каком основании вы принимаете от цехов в ремонт самописцы?

— Было указание главного инженера,—с наивным видом отвечал Кривицкий.—Да и вообще так заведено испокон веков, что от сложных приборов мастерские отказываются.

— Так вот, с сегодняшнего дня в ремонт не принимать. У вас есть своя тематика, будьте добры ею заниматься. Где ваше самолюбие? Вы инженер, понимаете, инженер, а работаете за техника.

Кривицкий поморщился.

— Тут не до самолюбия, Андрей Николаевич. Вот главный инженер узнает, начнется шум, и все равно заставят: потому что ремонтировать кому-то надо.

— Это уж моя забота,—холодно сказал Ан-

дрей.— Кстати, шум начался. Главный вызывает меня по этому вопросу.

— Ну что, вот вам и трещина,— сияя глазами, сказала Мая после ухода Лобанова.

Кривицкий покачал головою.

— Идет, гудёт зеленый шум... Нет, Маечка, это он только замахнулся, а треснет или нет, посмотрим. А вообще хорош,— добавил он, помолчав.— Ей-богу, хорош! — и быстрым шагом направился в машинный зал.

* * *

— Садитесь,— коротко бросил главный инженер, скорее по привычке, потому что Лобанов стоял еще на пороге комнаты: — Вы почему не выполняете моего приказа о ремонте приборов?

Лобанов, не торопясь, уселся в кресло, развернул папку и вытащил оттуда план работы лаборатории.

— Пожалуйста,— сказал он подчеркнуто вежливым тоном,— где здесь значится ремонт приборов?

— План это не догма...

— План это приказ,— холодно возразил Андрей.— Тем более, что он утвержден вами.

Это уже походило на прямой вызов. Когда во время диспетчерского совещания начальники цехов обратились с жалобами, что Лобанов отказывается принимать в ремонт приборы, главный инженер решил, что тут какое-то недоразумение. Теперь выходило, что это было обдуманное решение. Конечно, он мог заставить, приказать, и Лобанов обязан был повиноваться, но его интересовали намерения нового начальника лаборатории.

— Вы что же, хотите перессориться со всеми начальниками отделов и служб? — спросил с любопытством главный инженер.

— Нет, зачем? Просто я хочу заниматься своим делом.

— Думаю, что вы избираете неверную линию. Вам следует начать с того чтобы изучить запросы

предприятия и продумать, как лучше удовлетворить их, а вы начали с того, я слышал, что оборудовали себе отдельный кабинет. Верно?

— Верно,— равнодушно согласился Андрей.

Главный инженер укоризненно вздохнул, его упрек, как видно, не достиг цели.

— Вот видите, какое неудачное начало. Вместо того, чтобы поглубже залезть в нужды предприятия...

— Предприятие нуждается прежде всего в хорошей лаборатории и в частности, чтобы в ней было место, где начальник и ведущие инженеры могли бы сидеть и думать, не зажимая уши.— И, не давая больше прерывать себя, Лобанов методично, пункт за пунктом, изложил все свои требования — результаты недельной работы. Тут было и создание экспериментального цеха, и закупка новых приборов, и штаты, и ремонт помещения, и обеспечение консультантами. Главный инженер сперва удивленно поднял брови, потом недоверчиво улыбнулся, но видя, что Лобанов не обращает внимания на эти знаки, нахмурился и нетерпеливо забарабанил по столу.

— Все? — спросил он с видом величайшего терпения.

— Нет, это программа-минимум.

— Вы что же, намерены только просить?

— Не просить, а требовать то, что положено,— сказал Лобанов, отдельно выговаривая каждое слово.

— Если бы вы не были новичок, я бы вас просто выставил за дверь с вашими требованиями! — с грубоватым добродушием сказал главный инженер.— Что вы думаете, мы тут олухи царя небесного? Сами не знаем, что к чему? Мы на земле живем! На земле,— с удовольствием повторил он,— не на небесах. Откуда я вам высижу денег, людей, приборы? У нас плановое хозяйство, мой дорогой. Дойдет до вас очередь,— пожалуйста, а до тех пор мобилизуйтека свои ресурсы.— Тут он выбрался на гладкую дорожку испытанных доводов, не раз уж с успехом примененных для обуздания слишком настойчивых начальников отделов.

Обычно в таких случаях дело кончалось тем, что он подписывал какое-нибудь одно из десяти требований и начальник цеха уходил от него, довольный своим упорством. Поведение Лобанова не обещало ничего похожего. Он сидел, закинув ногу на ногу, болтая носком в такт словам главного инженера.

«А говорили, что он теоретик, не от мира сего,— подумал главный инженер, следя за его носком,— что-то непохоже».

— Прекрасно,— сказал Лобанов,— я полностью согласен насчет планового хозяйства. Это мне облегчает задачу.

Он снова открыл папку и стал читать:

— Закупленные в начале года по заявке лаборатории приборы разошлись по следующим станциям... Деньги, запланированные на оборудование, израсходованы на самом деле: а) на ремонт пишущих машинок; б) на приобретение арифмометров для бухгалтерии...— он бесстрастным голосом перечислил все до копейки.

— Далее. Восемь человек, числящихся в штате лаборатории, работают в разных отделах.

— Безобразие! — вырвалось у главного инженера.

Лобанов слегка повернул к нему голову.

— Кстати, один из ваших секретарей числится работником лаборатории.

Лицо главного инженера побагровело. Он еще секунду силился удержаться и вдруг, отвалившись на спинку кресла, захохотал, подняв руки кверху.

* * *

Мая Устинова с тревогой поджидала возвращения Андрея. Час назад он ушел к главному инженеру. Устинова позвонила к секретарше, и та подтвердила, что Лобанов еще сидит у главного. Мая оформляла протоколы испытаний. Эта работа не требовала особого внимания, и мысли ее были свободны. Она думала о том, что если Андрею удастся осуществить свои замыслы, то это будет означать, что она не сумела, что она оказалась слабой, неспособной наладить

работу лаборатории. А в то же время, как станет тогда интересно работать! У нее даже путались мысли, когда она представляла себе, какую уйму интереснейших дел можно будет сотворить. Ну и пусть! А она все-таки уйдет. Она не вынесет насмешек над собою. Все равно, если ей и не скажут в глаза, то за спиной обязательно будут ухмыляться. Наплевать! Ведь судачат же некоторые в отделах про Андрея, склоняют по всякому поводу его имя: он — и неудачник в науке, он и карьерист, бюрократ и эгоист.

Она передала ему эти разговоры, ей хотелось, чтобы он учел обстановку и вел себя осторожнее.

— Это хорошо, Маечка, что говорят. Что за человек, о котором не говорят? — пошутил он. — А вообще не передавайте мне больше никаких сплетен. Не к чему.

Она покраснела. Вообще она чувствовала себя перед ним девчонкой. Наверное это происходило потому, что в институте он был старше ее на два курса.

Да она и впрямь девчонка, обращает внимание на толки всяких кумушек. Надо вести себя как Андрей. Мужественно и сурово.

Андрей не умел скрывать своих чувств. Придя от главного инженера, он позвал к себе руководителей групп. Он рассказал, что главный инженер обещал в ближайшее время решить все вопросы снабжения лаборатории и пересмотреть тематику исследовательской работы.

— Ну, а насчет ремонта? — спросил Кривицкий.

— Прекратить. Передать в цех КИП, — торжествующе сказал Андрей. Он был рад, что хоть чем-то может приободрить своих людей. — Теперь за работу. Пока будем делать все, что можно. Покажем, что мы не иждивенцы.

Его воодушевление действовало заразительно на всех, кроме Кривицкого. Этот неуязвимый скептик сказал:

— Вот с ремонтом это конкретно, а остальное — бабушка на-двое сказала. На-двое или даже на-трое.

— Не бабушка, а главный инженер,— сухо поправил его Андрей. В официальной обстановке он недолюбливал шутки.

Однако замечание Кривицкого намотал себе на ус.

* * *

Лаборатория обслуживала всю энергосистему города. Это было громадное, сложное хозяйство: тепловые электростанции, гидростанции, линии передач, кабельные линии, подстанции, трансформаторные киоски, ремонтные заводы, линии связи, диспетчерские службы, тепловые сети. Десятки тысяч людей. Они обеспечивали снабжение города электроэнергией, вырабатывали ее, распределяли, учитывали. Туманные студенческие отрывочные знания Андрея воплощались в отчетливо осязаемые предметы. Ему помогало умение находить во всяком вопросе главное. Если бы не это, то Андрею понадобились бы месяцы или годы, чтобы разобраться, рассортировать ту лавину сведений, виденного и услышанного, которая обрушивалась на него каждый день.

Посещения станции и предприятий системы стали вскоре для Андрея законом, переросшим в привычку. Зачастую даже бессознательно, внутренним чутьем его влекло туда, где его знания, полученные из книг или опробованные в лаборатории, воплощались в живые, работающие механизмы, приборы. Возвращаясь домой поздно вечером, усталый, перемазанный, он чувствовал себя счастливым от великого множества открытий, находок, обнаруженных за день. Никогда раньше так стремительно не расширялся круг его знаний. Вернее они росли не вширь, а вглубь. Он находил своих давних приятелей — реле, приборы, моторчики, регуляторы на пультах, щитах, в жару котельных, под открытым небом на подстанциях, на колонках у ревущих турбин, в сторожках путевых обходчиков, на измерительных машинах, трясущихся по ухабистым дорогам.

Он не стеснялся своего невежества в некоторых практических вопросах. И странно, именно эта простодушная прямота сразу устанавливала нужный тон

в отношениях со станционными инженерами. Они переставали видеть в нем «ученого мужа», сбрасывали с себя некоторую настороженность, переставали говорить с ним «теоретическим» языком. Откровенно делились своими сомнениями. Иногда их замечания или замыслы поражали Лобанова своей примитивностью, но чаще всего инженеры шли правильной дорогой, некоторые вслепую, на ощупь, а большинство с открытыми глазами, много читая, делая тонкие теоретические подсчеты, где ему самому подчас встречалось много незнакомого.

Каждая станция, подстанция, сеть были разными, у каждого коллектива были свои горести, заботы, искания, свой почерк, и они постепенно возникали перед ним со всеми особенностями своих характеров.

Грандиозные работы по восстановлению разрушенного во время войны энергохозяйства закончились, и рожденный в недрах этого первого послевоенного этапа начинался второй: борьба за технический прогресс. Люди, вдохновленные успехом строительства, хотели получить самые высокие результаты своих трудов. Все громче раздавались голоса, требующие введения новой техники. Тепловики настаивали на реконструкции котлов, на переходе на высокие давления; кочегары соревновались за экономию топлива, за наибольший съём пара; электрики завистливо перелистывали последние каталоги оборудования; релейщики разрабатывали новые типы защиты. Обстановка осложнялась тем, что промышленность города, вступившая на путь ритмичной работы, подпирала энергетику. Миновало время, когда моторы вертелись всего несколько часов в сутки, а новое оборудование стояло из-за недостатка мощности и заводы задыхались на голодных лимитах электроэнергии. Это становилось достоянием истории, уходило в прошлое.

Заводы не мирились ни с малейшими перерывами. Каждая авария приводила к неисчислимым убыткам. Но энергосистема не имела необходимого запаса мощности. Ей не удавалось вырваться вперед, поэтому выход из строя любой из линий передач высоковольт-

ного кабеля сопровождался остановкой заводов, фабрик. Все это ставило лабораторию в центр событий.

По мере того, как Андрей бывал на предприятиях, завязывал знакомства, в лабораторию шли запросы, приезжали за консультацией, советами. И хотя лаборатория не могла им еще помочь, но на станциях уже знали, что она существует, что она хочет стать им помощником. Непрерывный поток посетителей заполнял теперь с утра до вечера безлюдные прежде комнаты лаборатории. Посетители мешали работать, отнимали время, но никто не жаловался на это: жизнь властно распахивала двери.

Андрею пришлось развить бурную административную деятельность, разъезжать по станциям, словом меньше всего заниматься тем, ради чего он пришел сюда.

— Надо подготовить тылы,— говорил он себе. Но он и сам не представлял, когда же кончится эта подготовка.

Проницательный Кривицкий оказался прав. Из всех своих обещаний главный инженер пока что выполнил только одно: через несколько дней после их разговора он направил к Андрею свою секретаршу.

Для Андрея все секретарши были на одно лицо. Надменная девушка, сияющая отраженным светом своего начальника, специалистка по телефонным разговорам. Представшие перед ним легкое зеленое платье и прическа из рыжеватых волос, уложенная с кондитерской фантазией, как нельзя более приближались к этому стандарту.

Андрей допрашивал ее придирчиво. Он был заранее уверен, что из нее ничего путного не получится. Ему было даже неприятно подумать, что она может появиться среди лабораторных столов и стендов. Однако у него не было никаких причин для того, чтобы не принять эту девушку. Может быть она сама откажется? Лобанов разрисовал ей самыми мрачными тонами все тяжести работы лаборатории. Как-никак это был первый человек, которого он принимал на работу, и ему нельзя было ошибиться. Андрей мельком

взглянул на направление: Цветкова Нина. «И фамилия какая-то игривая», — подумалось сердито.

— Так вот, товарищ Цветкова, вы сами-то хотите у нас работать?

— Андрей Николаевич, я же сама отпросилась у главного. Думаете он меня направил? Через комитет комсомола добивалась! — поспешно ответила Цветкова.

Андрей с недоверчивым удивлением оглядел ее еще раз.

— Ну что ж, посмотрим.

Он послал Цветкову в группу Устиновой, а сам предупредил Маю:

— Вы, во-первых, как-нибудь поделикатнее наметните ей, что у нас тут не салон дамских мод, а во-вторых, чуть что не поладится, скажите мне. И загрузите ее на первых порах самой черной работой. Если выдержит, значит, верно — хочет работать.

* * *

Силы, вызванные к жизни Андреем Лобановым, грозили погубить его. Требования к лаборатории росли не по дням, а по часам. Но так как возможности ее оставались прежними, то естественно, что она вызывала все больше нареканий. Ее работу склоняли на всех производственных совещаниях, собраниях, в печати. Работники лаборатории растерялись. Они никогда не чувствовали себя такими виноватыми, как теперь. Даже Кривицкий, не любивший лезть за словом в карман, и тот избегал лишний раз появляться в отделах или на станциях. Уже давно было забыто то время, когда работу кончали со звоном. Засиживались до позднего вечера. Нормальный эксплуатационный план лаборатории выполнялся за какие-нибудь полдня, остальное время готовили себя к предстоящим работам. Андрей заставил заниматься всех, начиная от руководителей групп и до младших прибористов.

Началось с того, что к Андрею пришел Саша Заславский и попросил сделать на комсомольском собра-

нии доклад о задачах лаборатории. Андрей согласился. По опыту своей работы в комсомоле он знал, что самый подробный, обстоятельный, добросовестный доклад не заинтересует как следует молодежь, если в нем не будет «чего-то». Надо было во что бы то ни стало найти это «что-то». Он попросил у Заславского список комсомольцев. В большинстве своем это были ребята, пришедшие из ремесленного училища. Кое-кто из техникума, несколько человек из школы-десятилетки. Он увидел среди них фамилию Цветковой.

«Ну чем можно заинтересовать такую девушку?» — думал он.

Андрей поговорил с несколькими комсомольцами, посоветовался с Заславским.

— Эх, Андрей Николаевич, — мечтательно сказал этот паренек, подперев свою курчавую голову, — если бы вот у наших ребят была возможность отличиться, вот, предположим, как у Алексея Мересьева или у Павла Корчагина, то мы бы ни перед чем не стояли. Вот скажите мне: Александр Заславский, ты должен за три месяца стать летчиком и вылететь на Южный полюс, потому что американские империалисты зарятся на него. Да я бы разве не сделал? Да и любой из нас. Вот если бы вы нам давали задания вроде таких! Эх, я понимаю, конечно, Андрей Николаевич, что нам надо работать и все такое, что и у нас важный участок. Но если мы будем говорить с вами, как мужчина с женщиной, то я вам скажу, что очень уж будничная, скучная работенка у нас.

«Вот он, ключик к их сердцу, — подумал Андрей. — Надо опозитизировать их труд, показать им скрытый в нем интерес».

Маю изумляли его сомнения.

— Чего ты мучаешься? Подумаешь, доклад для комсомольцев!

Она уже знала, что Андрей не способен взяться за дело, если оно его не увлекает, но доклад этот казался ей пустяком, не оправдывающим таких затрат

времени и сил. Во всяком случае она решила присутствовать на собрании. Ее любопытство передалось многим. Это было первое выступление Андрея. И многие из инженеров, посмеиваясь над своей «молодостью», просили у Саши Заславского разрешения зайти на собрание. Он объявил, что собрание открытое, и чувствовал себя невероятно польщенным подобным вниманием.

В обеденный перерыв Саша слетал в красный уголок, подсчитал количество стульев и решил на всякий случай добавить еще десяток. Но когда наступило шесть часов, стало ясно, что красный уголок мал. Перешли в машинный зал — самую большую комнату лаборатории. Собрание было назначено в шесть двадцать, и Саша, соблюдая величайшую точность, ждал срока, хотя все собрались. Кто-то из инженеров — пожилой, смуглый, с легкой проседью в иссиня-черных волосах — запел песню, старую комсомольскую песню. Слова ее знали плохо и подхватили дружно только припев.

Его густой негромкий голос сливался с голосами других пожилых, и комсомольцы с уважением смотрели на них, понимая, что и они тоже воспитанники Ленинского комсомола.

Андрей тихонько подтягивал, волнение его улеглось. Если все они могут петь одну песню, то одна и та же молодость живет в их сердцах и нечего бояться, — они говорят на одном языке.

Он начал с того, что волновало его больше всего, с прибора для отыскания места порчи в линиях передачи и кабелях. Он слишком хорошо знал этот предмет, чтобы прибегать к формулам или специальным терминам; увлекательная простота его рассказа притягивала всех: молодежь — потому, что это был рассказ о неизвестном, неведомом мире сложнейших явлений, инженеров — потому, что они впервые слышали формулы, переданные простыми житейскими словами.

И перед глазами всех явственно возникали кабели. Глубоко под землей, невидимые пешеходам, они про-

легали под тротуарами, пересекали улицы, площади, спускались на дно реки, каналов, ныряли под горячие трубы тепловых проводов, огибали телефонные колодцы. Тонкая кровеносная сеть города, дающая ему свет, тепло, движение. Коварные враги подстерегали на каждом шагу эти нежные артерии. Подземные воды размыли грунт, и он, оседая, рвет со страшной силой мягкую свинцовую оболочку, тянет соединительные муфты,— вот когда наступает экзамен искусству монтера, делавшего их; тепло тепловых проводов нагревает кабель, его изоляцию. От движения машин, трамвая трясется, вибрирует зыбкая почва, и даже вязкая свинцовая оболочка кабеля не выдерживает — трескается. А как только свинец, самый верный и непреклонный защитник кабеля, сдал,— изоляция остается один на один с сыростью. Ее тленная мертвящая рука неумолимо, день за днем пробирается к сердцу кабеля, к медным жилам. Рушится плотина изоляции, сдерживавшая напор тока. Кабель пробит, и вся огромная сила, назначенная вертеть сотни моторов, светить тысячей лампочек, ухает в эту пробитую брешь. В какие-то доли секунды, чтобы спасти генератор, маленькие чуткие реле должны почувствовать случившееся и отклонить беду. Остановился завод. Погрузились во тьму дома, улицы, застыли трамваи, замер на полпути подъемный кран. Авария! Обессиливают насосы водопровода, застывает металл в ковшах. Авария! Надо немедленно отыскать место повреждения, отремонтировать его.

За десятки, а иногда и за сотни километров от города расположены гидростанции. Через леса, болота, деревни, овраги шагают металлические опоры, неся на вытянутых ажурных руках провода. Где-то оборвался провод. Авария! Сколько времени понадобится для того, чтобы обходчику пробраться вдоль линии, где нет дорог, найти этот обрыв. А если ночь, вьюга?!

Уже много лет ученые изыскивают способ нахождения места аварии. Уже немало способов разработано, но каждый из них годится только для

определенного случая. И большинство из этих способов громоздки и неточны.

Андрей смотрит на Цветкову. Она сидит прямо перед ним во втором ряду. Ее маленький рот изумленно полуоткрыт. Она крепко вцепилась руками в спинку стула перед собой. . . Как долго тянется эта ликвидация аварии! Нужен такой метод, чтобы сразу увидеть, где и что случилось. Но пока еще такого метода нет, есть только идея, замысел — решить проблему при помощи радиолокации.

Андрей посвящает их в задуманное. Он останавливается там, где для него самого уже начинается область догадок, исканий.

А автоматизация гидростанции? Заставить огромную гидростанцию, где сейчас заняты триста человек, работать без людей. В диспетчерском пункте за сотни километров инженер видит, сколько воды в верхнем бьефе, он нажимает кнопку, и турбина величиной с этот зал начинает вращаться. В пустынных залах станции нет ни души. Здесь хозяйничают незаметные, неумолимые реле. Они успевают следить за всем, за температурой масла, за напряжением, оборотами, за моторами охлаждения, за трансформаторами. Они хозяева, они защитники, они контролеры.

Он поднял и показал им реле в легком пластмассовом футляре. То реле, которое они перематывали, приспособлявая его для автоматики. Саша Заславский, сидя в президиуме, вытягивал шею, стараясь рассмотреть его получше, как будто не оно ежедневно проходило через его руки.

Сколько человеческой мудрости, опыта, знаний было заключено, оказывается, в этом маленьком аппарате, похожем на игрушку.

Мир безучастного холодного металла, путаница проводов, капризная хрупкость подвесных нитей, весь этот мир мертвых, надоевших деталей, приборов, аппаратов — ожил. Заговорил на языке увлекательных возможностей. Сияющие просторы будущего открывались перед собравшимися. Они сами, своими руками творили его. Они и раньше любили свою работу, но

никогда еще она не представлялась им такой романтической и значимой. Им доверили воплотить замыслы ученых, и не только воплотить, но и проверить, поправить, подсказать новое.

Они почувствовали себя маленьким дружным отрядом разведчиков, за которым движется многотысячная армия.

— Если меня спросят — «хочешь ли ты дожить до коммунизма?» — я отвечу: нет, я не доживать буду до него, не пассажиром въеду туда, я войду туда своим трудом. «Мы все трудимся», — возразят мне. — Да, но еще по-разному. Одни творят, а другие выполняют. Так вот: тот, кто творит, — человек коммунистического общества. А творить может каждый. Дело не в том, что я кандидат наук, а Нина Цветкова монтер. Если Цветкова займется завтра усовершенствованием своего станочка для намотки катушек, если она заботится этим делом, если она будет читать книги, искать, и сделает то, что задумала, — это значит, она никому не хочет уступить свое право создавать коммунизм.

Коммунисты и комсомольцы — это люди, которые избрали целью своей жизни коммунизм. Усилиями нашего народа наступает пора коммунизма. И уж, конечно, одно из завершающих условий для того, чтобы переступить его порог, — есть учеба!

Сухие строки резолюции звучали в голосе Саши Заславского как торжественное обещание.

«Организовать на рабочих местах техучебу. Просить партийный комитет обязать инженеров-коммунистов обучать молодежь своих участков, совершенствовать их знания...»

— Кто за? — спросил Саша, и руки всех сидящих в зале, без различия возрастов, поднялись вверх.

ВСАДНИК, СКАЧУЩИЙ ВПЕРЕДИ

Драматическая повесть в 4-х действиях

«Великий Ленин, создавший наше Государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины».

(И. Сталин. Выступление по радио 3 июля 1941 г.)

«Всадник, скачущий впереди» — пьеса о большевике, писателе и солдате — Аркадии Гайдаре. Нелегкая, но хорошая жизнь была у этого замечательного человека, смелая и талантливая, как его книги. Пройдя суровую школу гражданской войны, Гайдар все свои силы, весь свой огромный талант отдал делу воспитания юного поколения. Своими книгами он готовил наших юношей и девушек к стойкой борьбе с врагами, о неизбежности которой писатель не забывал никогда.

Материалом для пьесы мне послужили дневники и письма Гайдара, воспоминания его друзей, автобиографическая повесть «Школа». Мне хотелось выйти из рамок биографической пьесы, показать рядом с Гайдаром и его современников — людей героического поколения Октября. Прообразом для своих героев я взял действующих лиц «Школы». Я позволил себе несколько изменить их судьбу, стремясь дать героям самостоятельную сценическую жизнь в этой пьесе.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Аркадий Голиков (Гайдар).
Петр Алексеевич Голиков — его отец.
Тимка Штукин
Семка Ольшевский } реалисты.
Виктор Карташев }
Дядя Илья — кладбищенский сторож, отец Тимки.
Иван Степанович Сухарев — рабочий, командир партизанского отряда.
Человек в фуражке — отец Карташева.
Чубук
Ахмет
Цыганенок } партизаны.
Шмаков }
Жихарев — штабс-капитан.
Пахомов — его денщик.
Поручик Бравич.
Наташа.
Павлик.
Хозе.
Ирина Сергеевна.
Галя Петренко } партизаны в отряде
Андрей Хвыля } Горелова.
Человек в котелке.
Чиновник.
Мальчишка-газетчик.

Полицейские, казаки, школьники.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Перед занавесом — большая книга. Четко выделяется название:

«Всадник, скачущий впереди» Книга открывается.

«Мужественной памяти Аркадия Гайдара, большевика, писателя и солдата посвящается этот спектакль», — читаем мы надпись на первой странице. Звучит музыка. Страница медленно переворачивается, и перед нами, в луче прожектора, плотный, круглолицый человек в костюме военного образца. Его мягкие редущие волосы зачесаны назад, открывая широкий чистый лоб. Лукавой усмешкой светятся прищуренные глаза. Сверкает орден на солдатской гимнастерке. Это — Аркадий Гайдар. Он оглядывает притихший зал и негромко, словно вспоминая что-то далекое, но очень дорогое ему, говорит...

Гайдар. Это было очень тревожное и счастливое время — наступал тысяча девятьсот семнадцатый год!

И в тихий наш Арзамас, где учился тогда в реальном училище я, Аркадий Голиков, ворвались великие и грозные события...

Т е м н о т а.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Глухой уголок кладбища. Из часовни, купол которой высится над памятниками, доносятся звуки церковного пения. Они звучат широко и торжественно, но вдруг прерываются тревожными полицейскими свистками, одиноким выстрелом и нарастающим цокотом копыт по булыжной мостовой. Через кладбищенскую ограду перепрыгивает вихрастый паренек в форме реального училища. Это — Тимка Штукин. Прижавшись к стене, он пережидает пока затихнет цокот на окраинных улицах. Вот где-то далеко залился трелью свисток, второй, и все смолкло. Оглянувшись по сторонам, Тимка негромко кричит кукушкой. Из-за большого памятника появляется дядя Илья — кладбищенский сторож, отец Тимки.

Дядя Илья. Облава?

Тимка. На Синюгинском заводе бастуют... Пикетчиков разгоняли!

Дядя Илья. Аркадия видел?

Тимка. Видел, папа. Придет.

Дядя Илья. Ладно... Ничего не забыл, сынок?

Тимка. Нет, пап.

Дядя Илья (негромко). Клетку чинишь?

Тимка. Чиню...

Дядя Илья. А птичка-то все равно на воле...

Тимка. Птичка на воле и клетки не боится...

Дядя Илья. Правильно! Место то же.

Тимка. Ага!

Дядя Илья уходит в глубину кладбища. Тимка достает из-за вросшей в землю мраморной плиты деревянную клетку и, усевшись поудобней, начинает чинить ее. Вот он настороженно поднимает голову, прислушивается. Появляется средних лет человек в сапогах и кожаном картузе. Это — Сухарев.

Сухарев. Клетку чинишь?..

Тимка. Чиню...

Сухарев. А птичка-то все равно на воле...

Тимка. Птичка на воле и клетки не боится. Проходите... Вон туда, за большой памятник.

Сухарев скрывается в глубине кладбища. Слышится песня, и через несколько секунд к Тимке подходит Васька Шмаков — молоденький парнишка с гармонью через плечо.

Шмаков. Клетку чинишь?..

Тимка. Чиню...

Шмаков. А птичка-то все равно...

Тимка. Птичка на воле и клетки не боится. Здравствуй, Вася!

Шмаков. Птичнику почтение!

Тимка. Не задержали?

Шмаков. А кто меня задержит? Я парень мастеровой, загулял немного, иду из трактира! Так ведь?

Тимка (улыбаясь). Так... А я вчера щегла и синицу поймал!

Шмаков. Удивляюсь я на тебя, Тимка: здоровый парень, а с птичками возишься!

Тимка. Люблю я птиц...

Шмаков. Ну и люби на здоровье! Куда?

Тимка. За большой памятник.

Шмаков. Ладно... (Уходит.)

Далекий свист. Тимка вскакивает на плиту, смотрит, свистит три раза в ответ. Появляется Аркадий Голиков, высокий, широкоплечий, круглолицый подросток, тоже в форме реального училища.

Аркадий. Не опоздал?

Тимка. Нет. Не приходил еще.

Аркадий. У нас опять полиция была. Третий раз на этой неделе.

Тимка. Про отца спрашивали?

Аркадий. Да... Обыскивали... Околоточный подписку взял, что местонахождение отца не знаю, а если узнаю, — обязан в полицию сообщить.

Тимка. Ну, а ты?

Аркадий. А что я? Что мне жалко подписку дать? Знать-то знаю, да не скажу. Ох, и орал околоточный! «Твой отец дезертир! Враг царя и отечества! Как тебя в училище держат!»

Тимка. Дурак усатый! Солдаты воевать не хотят, а полиция разоряется!

Аркадий. Боятся, что самих в окопы пошлют...

Тимка. Почему в училище не был? Из-за обыска?

Аркадий. Ну да! *(Помолчав.)* Я вчера на чердаке отцовскую книжку нашел... Про революционеров! Вот это люди... За ними следят, арестовывают, в тюрьмы сажают, в ссылки... А они все равно на своем стоят!

Тимка. Они крепкие! Семка Ольшевский тоже в одной книжке читал, как... *(Неожиданно останавливается. Прислушивается.)* Слыхал?

Аркадий. Ничего не слыхал...

Тимка. Неужели не слыхал?.. Малиновка! Пересвистнулась где-то... Настоящая краснозванка! Я ее по свисту, голубушку, узнаю. Вторую неделю выслеживаю. Вот опять! Слышишь?

Аркадий. Нет... Вот сейчас слышу!

Тимка. Это не она. Это синица! А вот щегол! Слышишь?

Аркадий. Ага! *(Смеется.)*

Тимка. Ты что?

Аркадий. Так... Я глаза закрыл, чтоб лучше слышать, и вижу щегол прыгает: дурак дураком! Ленивый, пузатый. Ему петлю на шею накидывают, а он сам в нее головой лезет! Ну точь в точь наш Петька Симаков! Помнишь, его и вызывать никто не собирався, а он встал, почесал в затылке и басом: «Я сегодня не выучил!» Щегол и щегол!

Тимка. Верно! Похож!

Смеются.

Аркадий. А синица — это немка наша — Эльза Францисковна. Хитрющая! Скок, скок, прыг, прыг... «Здравствуйте, господа! Гутен таг!» А сама так и норовит двойку поставить!

Тимка. Ага! А малиновка?

Аркадий *(задумчиво)*. Малиновка-краснозванка... Ясна девица... Как царевна из сказки!..

Сидит в терему зеленом, поджидает царевича заморского и песни распекает... Она красивая, наверно...

Тимка. Кто, царевна?

Аркадий. Нет, малиновка. Я не видел никогда, но должна быть красивой!

Тимка. Интересно ты рассказываешь!

Аркадий. Я нет. Вот отец у меня рассказывает — заслушаешься! Он от вас на полустанок ушел?

Тимка. На полустанок.

Аркадий. Мне с отцом повидаться сейчас, ох, как надо! В училище проходу нет, сам знаешь. Чем дожидаться, пока исключат, лучше я сам уйду!

Тимка (таинственно). Отец твой теперь далеко... Вон идет!

Появляется Петр Алексеевич Голиков — высокий человек в черном костюме и сапогах.

Аркадий (бросаясь к нему). Папка!

Петр Алексеевич быстро проходит мимо Аркадия и скрывается в глубине кладбища.

Тимка (растерянно). Вот тебе раз!..

Аркадий. Смотри-ка!

Появляется человек в котелке. Оглянувшись по сторонам, он подходит к Аркадию и Тимке.

Человек в котелке. Здравствуйте, молодые люди!

Тимка. Здравствуйте...

Человек в котелке. Вы давно здесь сидите?

Тимка. Давно. А что?

Человек в котелке. Приятеля потерял. Он тут не проходил? В черном костюме, в сапогах. Высокий такой...

Аркадий. В черном костюме?

Человек в котелке. Да, да! И в сапогах.

Аркадий (после паузы). Нет... Не видели.

Тимка. Тут никто не ходит: место глухое...

Человек в котелке. Так... так... Куда же он мог деться!.. А ты что ж, клетку чинишь?

Тимка (вздвигнув). Чиню.

Человек в котелке. Птиц, значит, ловишь?

Тимка. Ага... Ловлю.

Человек в котелке. Так... А каких?

Тимка. Всяких. Щеглов ловлю, синиц... Знаете, синиц? Свистят вот так: пинь... пинь... тарарах... тиу! (*Свистит три раза синицей.*)

Человек в котелке. Хорошо свистишь! Молодец! (*Идет в глубину кладбища.*)

Тимка (*вскочив*). Пинь... пинь... Тарарах!...

Человек в котелке возвращается.

Человек в котелке. Ну что ты скажешь! Как сквозь землю провалился!.. (*Протягивая Аркадию портсигар.*) Прощу, молодой человек!

Аркадий. Спасибо... Я не курю.

Человек в котелке. Похвально! (*Тимке.*) А вы?

Тимка. Я... иногда...

Человек в котелке. Прощу!

Тимка. Спасибо. (*Закуривает от спички, зажженной человеком в котелке. Неумело затягивается, кашляет.*) Сорт непривычный.

Человек в котелке. А вы какие курите?

Тимка. Я попроще.

Человек в котелке. Это не ваш ли окурочек? (*Показывает Тимке окурочек.*)

Тимка. Мой!.. Я раньше там сидел...

Человек в котелке. Ну, ну... Всего хорошего, молодые люди. (*Уходит.*)

Тимка. Иди, иди... Тоже, Шерлок Холмс... Окурки подбирает...

Аркадий. Шпик?

Тимка. Ну да! Я поэтому папиросу и взял! Не зря, думаю, выпытывает, курим мы или нет.

Аркадий. Молодец, Тимка!

Тимка кричит три раза кукушкой. Из-за памятника выходит
Петр Алексеевич Голиков.

Петр Алексеевич. Ушел?

Тимка. Ушел!

Петр Алексеевич. У самого кладбища

увязался. (Аркадию.) Что, сынка, обиделся? Родной отец признавать не хочет?

Аркадий. Я, папа, даже растерялся. Думал, может ты не узнал меня?

Петр Алексеевич. Сына да не узнать! А потом понял?

Аркадий. Понял! Конспирация, да?

Петр Алексеевич. Она самая, сынок! (Смеется.) Ишь, слова какие знает! Правильно! Растите, помощнички, скорей... Нам народ нужен. Мать как? Сестренка?

Аркадий. Сегодня опять с обыском приходили.

Петр Алексеевич. Ничего, сынка, потерпите. Скоро все переменится! Тима, есть кто-нибудь?

Тимка. Все здесь, Петр Алексеевич!

Петр Алексеевич. Ладно... Аркадий, не уходи: нужен будешь.

Аркадий. Ладно.

Петр Алексеевич. Смотри, Тима, как следует. (Уходит в глубину кладбища.)

Тимка. Хороший у тебя отец... Веселый...

Аркадий. Хороший... Он со мной как товарищ. (Помолчав.) Что в училище?

Тимка. А ничего! Семку Ольшевского немка вызвала глаголы спрягать, а он не учил! Мигает мне, мол, выручай, а я сам не знаю! Ну он и начал: «ду хаст, эр... это самое... хат, вир хастус...»

Аркадий. Хастус?

Тимка. Ну да! Немка разозлилась — страх. Сами вы, говорит, хастус!

Аркадий. Ай да Семка!

Далекий свист. Тимка вскакивает на плиту, смотрит, свистит в ответ.

Аркадий. Кто?

Тимка. Семка Ольшевский и Виктор Карташев.

Аркадий. Карташев? Как это его дома отпустили?

Тимка. Не знаю. С боем наверно!

Появляются Ольшевский и Карташев.

Ольшевский. Это самое... здравствуйте! По-
дальше не могли забраться? Что в городе делается!

Тимка. А что?

Ольшевский. Как что? Это самое... забастов-
ка! На заводе бастуют, слесарные мастерские бастуют,
в депо бастуют! Казаков понаехало! Полиция стоит!

Карташев. Ремесленного учителя арестовали!

Аркадий. Семена Ивановича? Врешь, Виктор!

Карташев. Я никогда не вру!

Тимка. Папа не позволяет?

Карташев. Да, папа! Не вижу в этом ничего
смешного...

Ольшевский. Бросьте вы! Каждый раз одно и
то же! Смотри, Аркадий! Листовка! На заводе подо-
брал!..

Аркадий (*читает*). «Товарищи! Ваши отцы и
братья гибнут в окопах, а вы задыхаетесь под гнетом
фабрикантов, от зари до зари работая на прожорли-
вую пасть войны. Она нужна вашим хозяевам, а не
вам! Бросайте работу, товарищи! Долой войну! До-
лой самодержавие!»

Тимка. Здорово!

Аркадий (*рассматривая листовку*). Напечата-
но!.. По ночам печатают, а потом выносят! За ними
следят, а они все равно выносят!

Ольшевский. Кто?

Аркадий. Революционеры! Семка, у тебя отец
кто?

Ольшевский. Станный вопрос! Портной. Мел-
кий ремонт на дому...

Аркадий. У тебя, Виктор?

Карташев. Кассир в банке. Ты же знаешь.

Аркадий. Тимка, у тебя?

Тимка. Сторож кладбищенский. И чего спраши-
ваешь — каждый день встречаешь.

Аркадий. У меня — учитель. А у Симакова
отец заводчик, у Дубинина — лавочник! Они в учи-
лище ничего не делают, а пятерки получают! Потому
что у них отцы богатые.

Ольшевский. Факт! Инспектор каждое воскресенье к Симаковым в гости ходит! Это самое... в карты играет!

Аркадий. А к нам придирается! Вот что... Наши отцы с ними борются и мы будем!

Ольшевский. Мой не борется, он только жалуется!

Аркадий. Жалуется ведь, а не хвалит! Клятву дадим нашим отцам помогать! И чтоб ни одна душа не знала. Как подпольщики будем!

Ольшевский. Конспирация!

Аркадий. Вот, вот... Мы с тобой, Виктор, дружим, поэтому ты и про отца моего знаешь, и про пистолет, и вот теперь вместе с нами предлагаю с богатыми бороться! Согласен?

Карташев (после паузы). Согласен...

Аркадий. Руку! Семка, руку! Руку, Тимка! Клянись! Быть всегда вместе! Бороться за правое дело. Защищать бедных, ненавидеть богатых! Молчать о нашем союзе под самой страшной пыткой!

Тимка

Ольшевский

Карташев

} Клянемся!

Из-за памятника появляются Петр Алексеевич, Сухарев и Шмаков.

Петр Алексеевич. Значит порешили, Иван Степанович! Связь держать через Васю.

Сухарев. Добре...

Петр Алексеевич. Только смотри, Василий, осторожней!

Шмаков. Не впервой...

Петр Алексеевич. Ну, желаю удачи! До свиданья.

Сухарев. До встречи, Петр Алексеевич! Василий, выходи к садам, я — на пустырь.

Шмаков. Ладно.

Сухарев и Шмаков уходят.

Петр Алексеевич. Ну, гвардия, какие новости? Выкладывайте, только быстро!

Ольшевский. Ремесленного учителя арестовали!
Петр Алексеевич. Знаю. Еще что?
Карташев. Казаков понагнали полный город!
Петр Алексеевич. Казаков? Скажи, пожалуйста!
Боятся, видно, нашего брата! (Смеется.)

Аркадий. А чего ты такой веселый, папка?
Петр Алексеевич. Оттого, брат, веселый, что времена такие веселые подходят! Хватит, поплакали!.. Тима, ты тут посиди, я ребятам передам кое-что. Пошли, помощнички!

Петр Алексеевич, Аркадий, Ольшевский и Карташев скрываются за большим памятником. Тимка склоняется над клеткой. За его спиной появляется человек в котелке. Он зажимает Тимке рот и делает знак свободной рукой. Околоточный и полицейские направляются за памятник. Слышен шум короткой борьбы. Выстрел. Выбегают растерянные Аркадий, Карташев и Ольшевский, затем полицейские выводят связанного Петра Алексеевича и дядю Илью.

Аркадий. Папка!..

Петр Алексеевич. Ничего, сынка!.. Прощай пока... Мать поцелуй, Катюшку... Да не горюй, брат! Время идет веселое!

Темнота.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Перрон вокзала. Прямо против зрителя широкая дверь с надписью: «Зал ожидания 1-го класса». Слышатся гудки паровозов, далекая песня: «Смело мы в бой пойдем, за власть Советов...» По перрону быстро проходят солдаты, пробегают вооруженные рабочие.

Мальчишка-газетчик. «Правда!» Свежая газета «Правда»! Генералы Краснов и Деникин поднимают казачество! Все на защиту Республики! (Убегает.)

На перрон выходят Тимка и Ольшевский.

Тимка. Что же делать, пинь-пинь... Тарарах! Где же Аркадий?

Ольшевский. Все сроки прошли! Ни его, ни Карташева!

Тимка. Эшелон уйдет, а мы останемся! Весело, пинь-пинь... тарарах!..

Ольшевский. Идет! *(Кричит.)* Аркадий, сюда!

Появляется Аркадий. Он в шинели реалиста с мешком за плечами.

Тимка. Ты что опаздываешь?

Аркадий. Не мог раньше, Тима... Несчастье у нас... *(Отворачивается.)*

Ольшевский. Ты что... это самое... плачешь?.. Что случилось?

Тимка. Что с тобой, Аркадий?

Аркадий. Отца... расстреляли... *(Вынимает из кармана лист бумаги, протягивает Тимке.)* Вот...

Тимка *(читает)*. «В ответ на Ваш запрос сообщаем, что дело Петра Алексеевича Голикова разыскано в секретных архивах Военного суда шестого армейского корпуса. За преданность революции, за стойкость и твердую веру в наше правое дело царский суд приговорил рядового Петра Голикова к расстрелу. Двадцать пятого февраля тысяча девятьсот семнадцатого года приговор был приведен в исполнение. За смерть нашего товарища отомстим белым гадам сполна! Да здравствует мировая революция! По поручению солдат двенадцатого Сибирского полка подписал комиссар А. Трифонов».

Аркадий *(после паузы)*. Карташева еще нет?

Ольшевский. Нет.

Аркадий. У Сухарева были?

Тимка. Были... Ничего не выходит! Малы еще, говорит, по фронтам шататься, дома сидите. Я говорю, Иван Степанович, мы с красновцами хотим драться, а он смеется!

Аркадий. Дома мне делать нечего! Все равно на фронт уеду! Сухарев не возьмет, с другим отрядом уеду!

Тимка. Тебе хорошо: ты вон какой здоровенный вымахал!

Ольшевский. Смотрите, ребята! Карташев с отцом!

Аркадий. С отцом!

Ольшевский. Ну да! И... это самое... с чемоданами!

Тимка. Это что ж такое, пинь-пинь... тарарах?!

На перроне появляется человек в фуражке чиновника, с чемоданами в руках. За ним Карташев. Они направляются в зал ожидания.

Аркадий. Виктор!

Карташев. Я сейчас!.. Папа, я приду через пять минут. Можно?

Человек в фуражке. Хорошо. Только прошу тебя — не задерживайся. (Уходит в зал ожидания.)

Аркадий. Куда собрался, Виктор?

Карташев. Понимаете, ребята... Папа едет на Украину, там у него брат под Житомиром.

Аркадий. А ты?

Карташев. И я... У папы больное сердце. Я не могу оставить его одного...

Тимка. А товарищей оставлять можешь?

Карташев. Но у меня больной отец!

Аркадий. А у меня отца расстреляли!.. И мать одна дома плачет, и сестренка...

Карташев. Расстреляли?

Аркадий. Да... Но я поеду на фронт!

Карташев. Я не боюсь ехать на фронт! Но я не могу! Я обещал отцу. Дал слово и должен его держать.

Аркадий. Ну что ж... До свидания.

Карташев. До свиданья... Только вы поймите, ребята...

Тимка. Мы все понимаем, пинь-пинь... тарарах!.. До свиданья.

Карташев. До свиданья. (Уходит.)

Появляется Шмаков. Он в кожаной куртке, за плечами — винтовка, на ремне неизменная гармонь.

Шмаков. Вы еще здесь? Вам что было сказано? Марш по домам, и чтоб духу вашего здесь не было!

Аркадий. Слушай, Вася! Посади нас в вагон! Мы спрячемся, а потом уж Сухарев нас не высадит!

Ольшевский. Верно! Это самое... Посади, а? Шмаков. Не могу! Без документов не сажают. А у нас строго! И вот что, братцы, по-хорошему говорю: уходите по домам. Увидит Сухарев, с конвоем отправит! (Уходит.)

Тимка (вздыхая). Ничего не выйдет! А я уже птиц своих выпустил... Все разлетелись! И малиновка, и синицы, и щеглы... Я малиновку больше всех любил. Открыл клетку, а она не улетает. Я ее палочкой шуганул, она как взлетит на тополь, да как запоет! А потом спустилась и села около клетки: улетать не хочет... Я даже чуть не заплакал.

Аркадий. Врешь ты, Тимка! Ты, наверно, и вправду заплакал.

Тимка. Ну и заплакал! Привык ведь я к ним...

Молчат.

Аркадий. Вот что! Вы идите. Троиخ все равно не возьмут, а я самый высокий... Прибавлю года два, может и поверят!

Ольшевский. А клятва? Разве забыл? «Быть всегда вместе! Бороться за правое дело...»

Тимка. «Защищать бедных, ненавидеть богатых!» Мы никуда не пойдем! Верно, Семка?

Ольшевский. Конечно! Это самое... Никуда! Вместе, так вместе!

Аркадий. Не выйдет, ребята... Слыхали, что Шмаков сказал? А клятва остается! Это ничего, что мы в разных местах будем. За одно дело боремся — значит вместе! Идите. Только не обижайтесь. Я ведь не виноват, что выше вас вырос.

Тимка. Мы не обижаемся. Всего тебе хорошего, Аркадий.

Аркадий. Спасибо, Тима. До свиданья.

Ольшевский. Когда-то теперь встретимся?

Аркадий. Встретимся, Сема. Обязательно встретимся. Тимка, ты что?

Тимка (отворачиваясь). Ничего. Ветер... Пошли, Семен!

Ольшевский. Пошли.

Медленно уходят. Аркадий некоторое время стоит неподвижно, смотря им вслед, потом решительно направляется к двери, ведущей в зал ожидания, и сталкивается с выходящим оттуда Сухаревым. На нем шинель, у пояса револьвер.

Сухарев. Аркадий?! Ты что тут делаешь?

Аркадий. Я к вам, Иван Степанович!

Сухарев. Я твоим друзьям сказал и тебе повторяю: никуда не поедешь! Молод еще! Ясно?

Аркадий. Ничего я не молод. У меня оружие есть! Вот... (Показывает пистолет.)

Сухарев. Откуда?

Аркадий. Отец с фронта прислал. Давно еще...

Сухарев. А почему у тебя голос дрожит? И глаза красные... Что с тобой стряслось?

Аркадий. Со мной ничего... Ответ мы получили, Иван Степанович. (Протягивает Сухареву письмо.)

Сухарев (пробежав его глазами). Так...

Аркадий. Возьмите в отряд, Иван Степанович! Не возьмете — сам на фронт уеду! Под вагоном, на крыше — все равно уеду! Мне за отца надо на фронт идти! Его расстреляли — я воевать буду!

Сухарев. Идем!

Аркадий. Куда?

Сухарев. Идем! Парень ты рослый, сойдешь...

Аркадий. Иван Степанович!

Сухарев. За отца, значит... Ах, ты! Ну, идем. Матери только напиши, а то не пушу!

Уходят. Звонкок вокзального колокола. Из зала ожидания проходят нагруженные вещами пассажиры. Среди них Карташев и человек в фуражке чиновника.

Карташев. Подожди, папа!.. Давай мне чемоданы — тебе тяжело!

Человек в фуражке. Ничего, ничего! (Кричит.) Носильщик!

Карташев. Что ты, папа? Какие теперь носильщики?

Человек в фуражке. Как какие: посадка ведь? Ах, да!.. Светопреставление! Придется самим!

(Пытается поднять чемодан.) О, чорт! Прости, Виктор, ты этого не слышал. Какая тяжесть!

Карташев. Давай я, папа! Тебе нельзя!

Человек в фуражке. Вместе, вместе! Ах, боже мой! Опоздаем! (Уходят, сгибаясь под тяжестью чемоданов.)

На перрон выходят Аркадий и Ахмет. Они с подсумками у пояса, за плечами — винтовки.

Ахмет. Документ получал, вобла получал, хлеб и махорка получал, — можно воевать! Куда едем, не знаешь?

Аркадий (важно). Военная тайна!

Ахмет. Уй-бай, какой строгий! Слушай, ты можешь быть командир отряда? Ты скажи, а то я тебя боюсь!

Аркадий. Никакой я не командир! Солдат я. А куда едем — военная тайна. Понимать должен, не маленький.

Ахмет. (смеется). Ай, ай, какой старик! Извиняюсь, бачка, сколько тебе лет?

Аркадий. Семнадцать!

Ахмет. Ой, врешь! Шестнадцать еле, еле...

Аркадий (мрачно). Семнадцать!

Ахмет. Уй, какое лицо! Зарежешь! Зачем на фронт идешь?

Аркадий. А ты зачем?

Ахмет (серьезно). Понимаешь, бачка, надо. Очень надо! Ленин сказал: надо защищать Республику! Понимаешь?

Аркадий. Понимаю... (Горячо). Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма...

Ахмет. Как сказал! Ах, как сказал! Молодец, бачка. Хорошо сказал!

Аркадий. Это не я сказал... Это на плакате написано. Вот. (Указывает на плакат, висящий на стене.)

Ахмет. Все равно, хорошо! От сердца сказал! Давай руку, кунак будешь! Как звать?

Аркадий. Голиков Аркадий...
Ахмет. Меня — Ахмет! Строиться скоро... Пойдем!

Аркадий. Сейчас. Только письмо напишу.

Ахмет. Ну пиши. Кому письмо?

Аркадий. Матери.

Ахмет. Пиши! Обязательно пиши! Хорошо пиши! Мешать не буду! (Уходит.)

Песня приближается.

Аркадий (склонившись над письмом). Мама, дорогая моя! Прощай, прощай... Уезжаю на Дон биться с белыми бандами Краснова! Помнишь, как говорил отец: нужно бороться за счастье, за светлое будущее! И я буду бороться! Я должен сам отомстить за отца! Хочу сам, своими руками, завоевать счастливую жизнь, для тебя, для Катюшки, для всех!.. (Останавливается. Прислушивается к песне. Она звучит все громче и громче. Аркадий улыбается и продолжает.) Голова у меня горячая от радости... Все, что было раньше — пустяки, а настоящее в жизни только начинается!

Песня обрывается. Слышна команда: «Становись!» Аркадий бежит на голос. На перроне строятся бойцы. Зритель видит левый фланг шеренги. Среди бойцов Аркадий, Шмаков, Ахмет. В стороне командир отряда Сухарев.

Сухарев. По порядку номеров — рассчитайсь!

За кулисами переключка голосов. Счет доходит до Аркадия, который замыкает шеренгу.

Аркадий (звонко). Двадцать седьмой неполный!

Сухарев. Отставить! Кто счет путает? Замыкающий — двадцать шестой полный! По порядку номеров рассчитайсь!

Переключка повторяется. Счет доходит до Аркадия.

Аркадий (растерянно). Двадцать седьмой неполный...

Су х а р е в. Отставить! В чем дело? (*Вынимает из полсвой сумки список.*) По списку двадцать шесть! Кто счет путает, я спрашиваю?

А х м е т. Разрешите сказать. Никто не путает. Тут еще один человек объявился... Вот, стоит! (*Указывает на стоящего рядом с ним смуглого паренька с шапкой кудрявых черных волос.*)

Су х а р е в. Ты откуда взялся? Документы! (*Проверив документы.*) В порядке... Да кто ты такой, скажи на милость?

Ц ы г а н е н о к. Я цыган. Красный цыган!

Су х а р е в. Красный цыган? (*Смеется.*) Да какой же ты цыган? Ты же еще цыганенок! Вот уморил... Смирно! По вагонам, шагом марш!

Правофланговые за кулисами запевают, все подхватывают.

Т е м н о т а

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Перед занавесом та же книга. С этой заставки будет теперь начинаться каждый акт. Музыка. Медленно переворачивается страница. Перед нами — Г а й д а р. Он несколько секунд молчит, думая о чем-то своем, потом задумчиво, как самому себе, продолжает рассказывать...

Г а й д а р. Сквозь горе, разлуку, сквозь дым и огонь прошла моя ранняя юность. Где мы наступали, где отступали,— скоро всего не перескажешь... Но самое главное, что я запомнил, это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира! Где вы сейчас, боевые друзья? На каких стройках, в каких колхозах, на каких шахтах и заводах воюете вы за светлѐе дело коммунизма? Помните ли вы донские степи, песни у костра и наш отряд с гордым названием: «Особый отряд революционного пролетариата?..»

Т е м н о т а.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Партизанский лагерь в лесу. У костра А х м е т, Цыганенок, в стороне седоусый партизан с трубкой в зубах — Ч у б у к.

Ч у б у к. Подкинь хворосту, Цыганенок. Плохо что-то закипает.

А х м е т. Горит, горит! Шипит, шипит! Дыма много — чая нет! Снимай — так пить будем!

Ч у б у к. Подожди. Сейчас закипит.

Цыганенок. Он ждать не может. Ему сразу все подавай...

А х м е т. Ждать не люблю! Зачем ждать? Быстро все нужно! Как кунак мой! Раз! Раз! Ветер...

Ч у б у к. Голиков-то? Молодой еще, потому и быстрый! Хороший солдат растет.

Цыганенок. Где он пропал? Интересно рассказывает...

Ч у б у к. Сейчас придет. Командир вызвал.

Появляется А р к а д и й. Он еще в форме реального училища, но без герба на фуражке.

Вот он, рассказчик, явился... Ну, давай дальше. Значит, сумку ты у него забрал, самого пристукнул и сюда.

А р к а д и й. Ага... Ведь как получилось? Когда на поезд бандиты напали, я в лесу заблудился! Ну и наткнулся на него. Сначала он нашим прикинулся, а потом меня дубинкой по голове! Ну я его и... Страшно даже вспомнить. Ведь я, дядя Чубук, никогда раньше в человека не стрелял.

Ч у б у к. Жалеешь? Ну, ну... Ты может думаешь, что война — это вроде игры или прогулки по полям да лесам? Белый есть белый! Они нас стреляют, и мы их жалеть не должны.

А р к а д и й. Да я не жалею, а как-то так... Неприятно...

Ч у б у к. Приятного ничего нет, это верно.

А х м е т. А в сумке что, бачка?

А р к а д и й (открывая сумку). Вот. Аттестат.

(Читает.) Выдан воспитаннику 2-й роты имени графа Аракчеева кадетского корпуса Юрию Ваальду.

Ч у б у к. Кадет?

А р к а д и й. Ага... И письмо полковнику Королькову, чтоб помог этому кадету у корниловцев.

Ч у б у к. Теперь не поможет...

К костру подходит Ш м а к о в.

Ш м а к о в. Чубук, к командиру!

Ч у б у к. Иду. (Уходит.)

Ш м а к о в. Дайте закурить, братцы. Смотрите, какие камешки интересные! У речки набрал!

А х м е т. Ты, бачка, как маленький все равно! Зачем они тебе?

Ш м а к о в. Интересно! Вроде одинаковые, а посмотришь — все разные... А почему так — неизвестно.

А р к а д и й. Все известно. Наука такая есть. Геология.

Ш м а к о в. Как?

А р к а д и й. Геология.

Ш м а к о в. Понятно! Вода-то бурлит, закипает должно... Сахар есть?

А х м е т. Есть немного.

Все молча смотрят на закипающий котелок и слушают Цыганенка, который тихонько поет что-то по-цыгански.

Ш м а к о в. Какую песню поешь, Цыганенок? Чего-то грустная очень? Скажи по-русски...

Цыганенок. Старая песня... В ней говорится, что нет у цыгана родной земли и та ему земля родная, где его хорошо принимают. А дальше я его спрашиваю: а где же, цыган, тебя хорошо принимают? И цыган отвечает: много я стран исходил с табором... Был у венгров, был в туретчине, был у болгар... Много земель исходил и еще не нашел такой, где бы хорошо мой табор приняли... Такая песня...

А х м е т. Ты к нам сам пришел, да? Вас ведь в армию не забирают.

Цыганенок (горячо). Меня не нужно забирать! Отец мой умеет воровать лошадей, а мать га-

дает! Дед мой воровал лошадей, бабка гадала!.. И никто из них себе счастья не украл, никто хорошей судьбы не нагадал... Надо по-другому!

Ахмет. Уй-бай! Чай сбежал! (Подхватывает котелок, снимает его с огня.)

Цыганенок громко смеется.

Аркадий. Ты чего, Цыганенок?

Цыганенок. Так... Я вот думаю, что и народ так... Русские, башкиры, цыгане, все... Терпели старую жизнь, терпели, а потом, как вода из котелка: закипели и кинулись в огонь! А?

Ахмет. Правильно, бачка. Молодец!

Цыганенок. И я так же. Сидел, сидел — не вытерпел, взял винтовку и пошел, как тот цыган в песне, хорошую жизнь искать...

Аркадий. И найдешь! Слышишь, Цыганенок, найдешь!

Цыганенок. Один не нашел бы... А все вместе должны — потому охота большая!

Ахмет. Давай кружки — чай разливать буду. Вот, ты песню пел: везде табор ходил, по всей земле, нигде счастья не нашел... А кто табор вел?

Цыганенок. Кто вел? Старики вели — они все дороги знают...

Ахмет. Все дороги знают, а главной не нашли. Ту, которая к счастью ведет! У нас в народе так говорят: если скачут джигиты, то один всадник всегда впереди должен быть. Горячий, честный... Храбрый, как лев! Себя не пожалеет, коня не пожалеет, все отдаст, чтоб другим хорошо было! Всадник, скачущий впереди... По-нашему — Гайдар!

Аркадий. Как?

Ахмет. Гайдар...

Аркадий (задумчиво). Гайдар... Всадник, скачущий впереди!..

Слышен цокот копыт. Все прислушиваются.

Шмаков. Верховой! Должно к командиру, с пакетом...

Цыганенок (*вставая*). Мне пора.

Шмаков. Кого сменяешь?

Цыганенок. Малыгина.

Шмаков. Ну, ну, послужи, солдатик!

Цыганенок уходит. Шмаков негромко наигрывает на гармонии.

Эх, тальяночка-партизаночка... Споем, Аркадий?

Аркадий. А?!

Шмаков. Споем, говорю, что ли? Ты чего задумался?..

Аркадий. Ничего. Так я...

Шмаков (*играя*). Не жизнь, а времяпровождение... Обоз у белых отобьешь, телеграфный столбик спилишь — вся война. Скорей бы в наступление.

Ахмет. Тебе, извиняюсь, как на картинке надо? Винтовки наперевес и пошли! А у них пушки...

Шмаков. Что мне пушки — я сам себе орудие!

Далекий голос. Шмаков, к ротному!

Шмаков (*продолжая сидеть*). Иду!.. Не иначе в наряд мне. (*Играет.*)

Голос. Васька!

Шмаков (*сидя*). Надо идти.

Голос. Шмаков! Чорт!!

Шмаков. Беспременно в наряд... (*Кричит.*) Иду! (*Вставая.*) Прощайте, хлопцы! (*Уходит.*)

С противоположной стороны быстро входит Чубук.

Чубук. Ахмет, к командиру!

Ахмет. Есть! (*Убегает.*)

Чубук. Голиков, верхом ездил когда-нибудь?

Аркадий. Ездил, дядя Чубук! А что?

Чубук. Поедешь со мной.

Аркадий. Сейчас?

Чубук. Сейчас. Винтовку и документы сдашь ротному.

Аркадий. В разведку?!

Чубук. В разведку. В Богучарах белые. Надо пробраться в деревню, узнать, что они затевают. Дело серьезное... Не боишься?

Аркадий. Нет, дядя Чубук. Не боюсь!
Чубук. Ну, добре! Значит, по коням! *(Уходит.)*

Аркадий бежит за ним, на ходу снимая винтовку. Издалека доносится чуть слышное ржание лошади. Аркадий останавливается, прислушивается, улыбаясь, говорит:

Аркадий. Гайдар... Всадник, скачущий впереди! *(И чему-то своему засмеявшись, убегает.)*

Темнота.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Белогвардейский штаб. На стене — телефон, в открытую дверь видна вторая комната, с выходом на улицу. За столом склонился над картой и штабными бумагами офицер в погонах штабс-капитана. Звонок телефона.

Жихарев. Штабс-капитан Жихарев у аппарата. Здравствуйте, ротмистр... Что?.. Передайте полковнику, что операция разработана. Да... Только что кончил... Чудесно! Сейчас буду у вас. *(Вешает трубку. Кричит.)* Пахомов!

Пахомов *(в дверях)*. Слушаю, ваше благородие.

Жихарев. Папаху, шашку!

Пахомов. Пожалуйста, ваше благородие.

Жихарев. Придет поручик Бравич, скажешь, что я ушел к ротмистру Шварцу.

Пахомов. Слушаю.

Жихарев выходит. Пахомов, тяжело вздохнув, подходит к телефону, стирает пыль с деревянной коробки, крутит ручку. Телефон звонит.

Ишь ты! Машина!.. *(Снимает трубку)*. Алле! Алле! Молчит... *(Крутит ручку)*. Алле!... Это кто? Какой телефонист? Сковородников? Мое вам почтение, Александр Семенович! Это землячок ваш говорит. Пахомов и есть! Чего? Да нет, это я так. Заскучал. Заскучал, говорю! Мысли у меня всякие. Письмо я от своих получил... Урожай убирать надо, а некому. Слышь, Сашок? Некому, говорю, урожай-то. А?! Ну, ну, вешаюсь. Вешаюсь, говорю! *(Вешает трубку)*.

И поговорить-то не дадут. (У окна.) Пылища и никакого горизонту. То ли дело у нас в деревне! Ага, вон казачки ведут кого-то. Никак арестованного? Так и есть! (Кричит.) Эй, служивые, куда ведете парнишку? Сюда идут.

Выходит и через несколько секунд возвращается вместе с двумя казаками, которые вводят А р к а д и я.

1 - й к а з а к. На реке поймали. Где их благородие?

Па х о м о в. У ротмистра Шварца. Вон, домик через дорогу.

2 - й к а з а к. Передать бы надо. Вот сумка его да пистолет...

Па х о м о в. Так ты их благородию передай. А этого здесь можете оставить — не утекёт!

1 - й к а з а к. Пошли, Михайла!

Выходят.

Па х о м о в. Ну, чего посреди комнаты встал? Ноги-то, небось, не казенные? Вон, присядь в уголке. Отдохни, пока их благородие не придет. Господи, и чего таких мальцов в армию забирают?!

А р к а д и й. Никто меня не забирал! Я сам пошел!

Па х о м о в. Сам? Ишь, ты! А меня вот мобилизовали... Партизан, что ли? (Аркадий молчит.) Худо твое дело, малец! Ой, худо! Как же ты не уберегся?

А р к а д и й. Да уж так... Попить бы.

Па х о м о в. Попить, это можно. Ой, малец, малец... (Выходит.)

Аркадий некоторое время сидит неподвижно, потом порывисто встает, подходит к окну, пытается открыть его плечом. За окном голоса. Аркадий отходит в угол. Садится. В соседней комнате звяканье шпор, голос: «Разрешите, господин капитан?» Входит поручик Б р а в и ч.

Б р а в и ч. Гм!.. Никого... (Кричит.) Пахомов! Опять никого! Прелестно! Куда же все делись? (Не замечая Аркадия, расхаживает по комнате). Какая

скука! Хоть удавись! Скорей бы в Ростов! (*Увидев Аркадия.*) Это еще что такое? Откуда? Отвечать!

В дверях появляется Пахомов. В руках у него ведро с водой и кружка.

Бравич. Ну? Я с кем разговариваю?

Пахомов. Разрешите доложить, ваше благородие. Это пленный. Казаки привели...

Бравич. А ты где пропадаешь, болван? Почему оставил пленного?

Пахомов. Так что я до колодца только... Воды набрать.

Бравич. Воды? Я вот скажу господину капитану, он тебе покажет воду! Пошел вон!

Пахомов. Слушаюсь. (*Идет к дверям.*)

Бравич. Стой!

Пахомов. Слушаюсь.

Бравич. Где господин капитан?

Пахомов. Их благородие у ротмистра Шварца.

Бравич. Ну, хорошо! Ступай!

Пахомов выходит.

Партизан? Разведчик?

Аркадий молчит.

Ничего, голубчик, заговоришь! У нас с большевиками разговор короткий: по мордам и к стенке!

Аркадий. Болван усатый!

Бравич. Что? Ах, ты!.. (*Замахивается.*)

В дверях показывается штабс-капитан Жихарев.

Жихарев. Отставить, Бравич!

Бравич. Он осмелился!.. Хам! Красный ублюдок!!

Жихарев (*резко*). Отставить, поручик! (*Аркадию.*) Это ваша сумка?

Аркадий (*медленно*). Сумка? Моя.

Жихарев. Фамилия?

Аркадий. Го... (*После паузы. Громко.*) Господин капитан, разрешите обратиться?

Жихарев. Слушаю вас.

Аркадий. Воспитанник 2-й роты имени графа Аракчеева кадетского корпуса Юрий Ваальд явился в ваше распоряжение!

Бравич. Что!?

Аркадий. Письмо полковнику Королькову находится в сумке, аттестат там же!

Жихарев. Вольно, кадет! Прошу простить казачков — неграмотные. А уж вы, поручик, извиняйтесь сами. *(Смеется.)*

Бравич. Простите. Я право не думал...

Жихарев. Знакомьтесь, господа! И мир!

Бравич. Поручик Бравич.

Аркадий. Юрий Ваальд.

Жихарев. Ну, так-то лучше. *(Кричит.)* Пахомов!

Пахомов *(в дверях)*. Слушаю.

Жихарев. Пахомов, что у нас на завтрак?

Пахомов. Куренок, ваше благородие...

Жихарев. Что нам на троих куренок? Давай еще чего-нибудь.

Пахомов. Так что вчерашние вареники разогреть можно.

Жихарев. Давай куренка, давай вареники... Живо!

Пахомов. Слушаюсь. *(Выходит.)*

Жихарев *(протягивает Аркадию портсигар)*. Прошу.

Аркадий. Благодарю. *(Закуривает от спички, предложенной штабс-капитаном.)*

Жихарев. Я прочел письмо к полковнику Королькову, но оно теперь ни к чему. Полковник уже месяц как убит.

Аркадий. Ах, вот как? Очень жаль.

Жихарев. Да... Прекрасный был офицер. Ваша сумка и маузер. Прошу!

Аркадий. Благодарю.

Бравич. Хороший у вас маузер. Я таких маленьких никогда не видел. Хотите меняться?

Аркадий. Не могу. Подарок...

Жихарев. Чей?

Аркадий. Отца.

Жихарев. А я ведь знал вашего батюшку, Юрий... Владимирович, если не ошибаюсь?..

Аркадий. Так точно!

Жихарев. Давненько. В девятьсот седьмом, в Петербурге. Вы ведь, кажется, тогда в Озерках жили?

Аркадий. Так точно, в Озерках...

Жихарев. Красивое место. Совсем вы еще мальчуганом были, только смутное сходство сохранилось. (Кричит.) Пахомов, скоро там?

Пахомов (входя с судками). Несу, ваше благородие! (Накрывает на стол, отодвинув в сторону карту и штабные бумаги.)

Бравич. Коньячку бы, ради знакомства?

Жихарев. Можно... Пахомов, накроешь на стол, принеси!

Пахомов. Слушаюсь.

Бравич. А почему на вас такая форма странная?

Жихарев. Да, действительно?.. Я только что обратил внимание... Прошу к столу!

Пахомов роняет тарелку.

Верблюд! Тарелку разбил! Что ты сегодня нарочно меня злишь? Убирай быстро и неси коньяк!

Пахомов уходит.

Ну-с, приступим! Вашу тарелку.

Аркадий. Благодарю вас.

Жихарев. Берите, берите... Не стесняйтесь.

Бравич. Мне, если можно, вареников. Так что же это за форма?

Аркадий. Ах, вы все про это?.. Это не моя. Я купил на станции у какого-то реалиста. Неужели вы думали, что я перейду фронт в форме кадета?

Жихарев. Действительно, Бравич! Неужели вы сразу не сообразили?

Входит Пахомов.

Ж и х а р е в. Принес?

П а х о м о в. Пожалуйста, ваше благородие.

Ж и х а р е в (*разливая коньяк*). Выпьем, господа! За молодое пополнение! Эх, бывало, в Питере пили! Как пили!

Б р а в и ч. И будем пить! Близок этот святой для России час, когда мы под звон колоколов пройдем по улицам столицы! И первого пленного большевика я повешу собственными руками на ближайшем фонарном столбе!

Аркадий резко встает.

Ж и х а р е в. Вы что, кадет?

А р к а д и й (*после паузы*). Я... уже сыт, господин капитан. Благодарю вас. (*Садится.*)

Ж и х а р е в. Однако, аппетит у вас не армейский.

П а х о м о в. Ваше благородие...

Ж и х а р е в. Ты еще здесь? Что тебе?

П а х о м о в. Так что еще одного привели. Виноват, теперь, вроде, настоящего...

Ж и х а р е в. Прошу прощенья, господа! (*Кричит.*) Ввести арестованного!

В комнату вводят избитого, связанного Ч у б у к а. Он на одно мгновение задерживает взгляд на лице Аркадия. Аркадий делает невольное движение к нему, затем медленно опускается на стул.

Б р а в и ч. Что с вами, Юрий Владимирович?

А р к а д и й. Голова закружилась... От коньяку, наверно...

Б р а в и ч. Чепуха! Просто устали.

Ж и х а р е в (*Чубуку*). Подойди сюда. Ближе... Да... Это птичка чужая. По глазам видно. Документы?

1 - й к а з а к. Нету, ваше благородие.

Ж и х а р е в. Разведчик? Из какого отряда? Отвечать!

Чубук молчит.

Сколько коммунистов в отряде?

Ч у б у к. Все коммунисты.

Ж и х а р е в. Сколько пулеметов?

Чубук. Двадцать!

Бравич. Врешь, скот! *(Бьет Чубука по лицу.)*

Аркадий вскакивает.

Жихарев. Нервы, молодой человек! Сидите спокойно. *(Чубуку.)* Кто с тобой был?

Чубук. Товарищ один...

Жихарев. Куда он делся?

Чубук. Убег куда-то. В другую сторону...

Жихарев. В какую сторону?

Чубук. В противоположную.

Жихарев. Я тебе покажу в противоположную!
Я тебя самого сейчас отправлю в противоположную!
Бравич, увести!

Чубука выводят.

Жихарев *(Аркадию)*. Что с вами, батенька? Никогда не видели, как большевиков расстреливают! Привыкайте! *(Быстро выходит.)*

Аркадий бросается к окну, выхватывает маузер. За окном валп.

Аркадий. Чубук! Чубук, родной!... *(Несколько секунд стоит, закрыв лицо руками. Потом подбегает к столу, прячет в сумку карту, штабные бумаги.)*

В дверях показывается Бравич.

Бравич *(резко)*. Что вы делаете?!

Аркадий подходит к Бравичу. В упор стреляет в него. Бравич падает. Аркадий выбегает.

Темнота.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Окраина деревни. Под окном избы сидят Ахмет и Шмаков. В руках у Шмакова гармонь. Он негромко играет что-то задумчивое и чуть-чуть грустное.

Ахмет *(взглядывая в окно)*. Все пишет... Подожди, Василий, не играй. Мешаешь.

Шмаков. И чего пишет? *(Вставая.)* Ты смотри,

Ахмет, сколько бумаги изорвал! Напишет, порвет и опять сначала!

Ахмет (*задумчиво*). Совсем большой человек стал...

Шмаков. Кто?

Ахмет. Аркадий... Был такой маленький, стал совсем большой!

Шмаков. Не большой, а командир роты. И когда ты, Ахмет, говорить научишься по-человечески?

Ахмет. Я знаю, что говорить! Понимать надо! Командир роты — одно, человек — совсем другое!

Шмаков. Ну вот, рассердился. И чего ты такой горячий? Слова тебе не скажи.

Ахмет. Аркадию сколько лет? Шестнадцати нет! А он ротой командует! Большой человек?

Шмаков. Большой, большой. Разве я спорю? Как говорится, биография у него необыкновенная!

Ахмет. Какая такая биография? Время необыкновенное! Ничего ты, бачка, не понимаешь!

Шмаков. Ну вот, опять. Порох, не человек!

Из избы выходит Аркадий. В перетянутой ремнями шинели, в серой папахе со звездочкой он выглядит суровым и повзрослевшим.

Аркадий. Разведка не вернулась?

Ахмет. Нет еще, товарищ командир роты.

Аркадий. Я ушел к Сухареву.

Ахмет. Есть!

Аркадий уходит.

Про Чубука забыть не может.

Шмаков. Наверно... В отряд вернулся сам не свой и вот до сих пор... В самое пекло лезет! Как жив остался — удивительно!

Ахмет. Чубука жалко...

Шмаков. Да... (*Играет.*)

Ахмет. Слушай, спой, что вчера с Цыганенком пели. Очень песня хорошая. Откуда такая?

Шмаков. Сам сложил.

Ахмет. Сам? Скажи пожалуйста. Молодец бачка!

Шмаков. Наконец-то! А то все ругаешься. Жаль, Цыганенок в разведке, спелись мы с ним... (*Берет гармонь.*) Эх, подружка моя неразлучная! Помираю буду,— на тот свет с собой возьму.

Ахмет. Зачем кричишь? Верблюда погоняешь? Хорошая песня тишину любит. Пой!

Шмаков. Опять досталось! И за что я тебя люблю, Ахметка? Непонятно. (*Негромко запекает. Ахмет подтягивает.*)

Отшумят военные пожарища,
Станет на земле моей светло,
Соберемся вновь, дружки-товарищи,
Сядем вкрут за праздничным столом...

Появляются Сухарев и Аркадий. Они стоят за спиной Шмакова. Слушают.

Вспомним, как бывало песни пели мы,
Сидя у походного костра,
Как ночами мерзли под шинелями,
Чтобы в жаркий бой идти с утра.

Солдатская служба — особая служба,
Коль Родину ты защищаешь свою,
Солдатская дружба — особая дружба,
Коль друг за тебя погибает в бою...

Сухарев. Хорошая песня...

Ахмет (*вскакивает*). Товарищ командир!

Сухарев (*задумчиво*). Солдатская дружба — особая дружба, коль друг за тебя погибает в бою... Настоящая песня. Где подхватили?

Шмаков (*быстро*). Да так... Солдат один проходил, пел...

Ахмет. Какой солдат? Где проходил? Зачем неправду говоришь, Василий? Он сам сложил, товарищ командир.

Сухарев. Сам? Ну и ну! Видал, Голиков, какие у тебя в роте таланты? А мы и не знали!

Шмаков. Да какие там таланты, товарищ командир! Так... Баловство одно...

Сухарев. Нет, брат, это не баловство. Ты думаешь — боец, партизан, белых стреляешь, по окопам валяешься, так и чувства тебе никакого проявлять не положено? Что ж ты, без чувства воюешь? Солдат

ты наемный, что ли? Сам на фронт пошел! И ты, и Голиков, и Ахмет. Да мало ли! Был бы во мне этот самый талант, сел бы и написал обо всем! Чтоб сыновья наши да внуки знали, как мы свободу отстаивали!

Аркадий (горячо). Верно, товарищ командир! Вот я выйду ночью, посмотрю кругом... В степи костры горят, бойцы у пушек застыли, кони, как нарисованные, стоят... И вдруг — сигнал! Труба! Тревога! И помчались кони, развернулись орудия, ринулись в атаку бойцы. Вот такое бы написать... Или про то, как попался в плен красный разведчик, как пытаются его белые... Шомполами бьют, звезды на спине вырезают, а он ни слова, ни стона... Каменный! Коммунист и солдат... Как Чубук!

Су х а р е в (задумчиво). Да... как Чубук.

Молчат.

Разведка не возвращалась?

Аркадий. Нет.

Су х а р е в. Вышли дозорных. Непохоже что-то на красновцев: их из деревни выбили, а они ни гу-гу!

Аркадий. Ахмет, Шмаков, в дозор!

Ахмет. Есть!

Уходят.

Аркадий (после паузы). Товарищ командир...

Су х а р е в. Что?

Аркадий (протягивая заявление). Вот...

Су х а р е в (читает). «Прошу принять меня в партию. Хочу воевать за светлое будущее коммунистом, потому что я...» Ишь, писатель! Не заявление—роман целый! (Помолчав.) Значит, в партию хочешь?

Аркадий. Хочу. Таким, как Чубук, хочу быть... Я перед каждым боем об этом думаю. Мне без партии нельзя.

Су х а р е в. Так... Это хорошо, что ты очень хочешь. (Пишет что-то на заявлении.) Держи. Теперь я тебе вроде крестный отец. Не подведешь?

Аркадий. Нет, товарищ командир, не подведу. Я клянусь вам!

Су х а р е в. Знаю, что не подведешь. Я в тебя верю, Голиков.

Далекие выстрелы. Вбегает запыхавшийся А х м е т.

А х м е т. Белые!

Су х а р е в. Где?

А х м е т. К опушке подходят! Наша разведка их задержала!

Су х а р е в. В ружье!

Ахмет убегает. Слышен сигнал трубы.

Голиков, роту подошлю сюда. Держаться до последнего!

А р к а д и й. Есть!

Су х а р е в быстро уходит. Выстрелы приближаются. Появляется Ш м а к о в. Он несет раненого Ц ы г а н е н к а. Бережно опускает его на землю.

Ш м а к о в. Подходят...

А р к а д и й. Цыганенок, друг... Больно тебе?

Ц ы г а н е н о к. Ничего... Я им тоже... (*Вдруг очень быстро.*) Мама, я не буду для него плясать! Не буду, не буду!

А р к а д и й. Ты что, Цыганенок?

Ц ы г а н е н о к. А?.. (*После паузы.*) А счастье найдем... Один не нашел бы, а все вместе найдем...

А р к а д и й. Обязательно найдем! Слышишь, Цыганенок?

Ц ы г а н е н о к (*очень медленно*). Должны найти... Должны... найдем... (*Затихает.*)

Ш м а к о в. Всё... Эх, Цыганенок!

А р к а д и й (*снимает папаху*). Прощай, друг...

Выстрелы приближаются. Вбегает А х м е т.

А х м е т. Рота здесь!

А р к а д и й (*выхватывая маузер*). Рота, за мной! За счастье! За Цыганенка! Вперед!

Пулеметная очередь. Аркадий хватается за голову, медленно оседает на землю.

Ахмет. Командир! Бачка!
Аркадий (отстраняя Ахмета). Вперед, Ахмет!
Ребята... скачите! Вперед! Гайда... (Падает.)

В темноте гремит «ура!»

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Опять переворачивается страница книги, и опять мы видим Гайдара. Он сидит, крепко сжав рукой правую часть головы. Потом постепенно, как будто боясь, что боль может снова вернуться, опускает руку.

Г а й д а р. Борьба продолжается!.. Меня отчислили в запас из-за тяжелой контузии в голову. Она и сейчас дает себя знать... Но я стал писать, чтобы вы, дорогие мои друзья, еще лучше поняли, что такое бесстрашие перед врагом, любовь к своей Родине, преданность нашему великому делу...

Т е м н о т а.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Москва. Комната в квартире Гайдара. Лучи неяркого сентябрьского солнца освещают письменный стол, диван, над которым висит фотография Гайдара времен гражданской войны, раскрытый чемодан на стуле. В комнате беспорядок, какой бывает либо при сборах в дальнюю дорогу, либо в первые часы приезда, когда вещи еще не нашли своего места и висят на спинках стульев, лежат на столе. Г а й д а р стоит на стуле, и, мурлыча какую-то песенку, приколачивает над диваном ветвистые оленьи рога. Звонок телефона.

Г а й д а р. Слушаю! Ага, я... Приехал. А это кто? Сухарев? Здравствуйте, Иван Степанович! Вы где? Может быть заедете? Ну, хоть на минуту: у меня для вас письмо! Нет, честное слово. Пока секрет! Ну, хоть на полминуты, Иван Степанович, ведь вы же рядом! Хорошо... Жду! (Вешает трубку. Продолжая напевать, разбирает вещи.)

Телефон звонит опять.

Слушаю! Гайдара? А кто просит? Из «Пионерской правды»? А кто все-таки? А-а... Здравствуй, Толя! Да, я. Сегодня, только что с поезда... Почему сразу не признаюсь? Так вы же дохнуть не даете! Человек еще не помылся с дороги, а его уже на части рвут! Ты не будешь рвать? Ну вот, спасибо! Хоть одна благородная душа нашлась!... Заеду обязательно... До свиданья! *(Вешает трубку. Вынимает из чемодана рукописи, идет к письменному столу, но проходя мимо окна, задерживается. Смотря в окно.)* Скажи, пожалуйста, футболисты в нашем дворе завелись! Ну, бей! Эх, мазила!.. Так!.. Отдай крайнему. Правильно!

Звонок у входной двери.

Головой! Молодчина!.. Ну, води, води!.. Передай полусреднему! Так...

Звонок настойчивей.

Кому пасуешь? Ну, на прорыв!.. Давай, давай! Ну, еще!

В дверь стучат.

Бей! Молодец, курносый!.. Один — ноль!

Сильный стук в дверь.

(Недовольно.) Кто это ломится? Звонок же для этого есть!

Выходит и тут же возвращается с Сухаревым. Сухарев заметно постарел. Он в полувоенной форме, с орденом Красного Знамени на груди.

Сухарев. Ты что, оглох что ли? Звонил, звонил. Думал, ушел, не дождался. Ну-ка, покажись! Ничего, тайга тебе на пользу. Почему не открывал? Заснул?

Гайдар. Ребята во дворе в футбол играют, увлекся, Иван Степанович...

Сухарев. Где? *(У окна.)* Ты смотри, вратарь что делает! Прямо с ног мяч хватает!.. Постой, постой, да это же девчонка!

Гайдар. Не может быть! В брюках-то?

Сухарев. А косички? Вон из-под кепки торчат! Видишь?

Гайдар. Верно!

Су х а р е в. Вот сорви-голова! Откуда такая?

Г а й д а р. Не знаю, Иван Степанович. Ни ее, ни вот того курносого. Я ведь в Москве почти год не был, новых жильцов, наверно, ребята.

Су х а р е в. Ну, рассказывай. Как съездил?

Г а й д а р. Хорошо. Очень хорошо. Такого я повидал за эту поездку,— спать не могу! Поскорей написать обо всем хочется! Забрался я на один разъезд... Глушь кругом, тайга на сотни километров, поезда не останавливаются. А там ребята живут... Школы у них нет, дела настоящего тоже. Рыбу удят, дерутся и мечтают о дальних странах. Понимаете, Иван Степанович, о каких-то неведомых дальних странах, где идет строительство, кипит жизнь! И вдруг в тайге обнаружен алюминий. Богатейшие залежи! На разъезде начинают строить завод, школу, появляются новые люди, останавливаются скорые поезда... Дальние страны сами пришли к ребятам! Но не вдруг, не просто. За это дерутся! Кулаки убивают председателя колхоза, славного веселого парня, коммуниста... И ребята понимают, что дерутся за них, за их мечты, за их светлое будущее. Как же об этом не писать?

Су х а р е в. Нужно писать. Борьба продолжается, Аркадий! Ты прав: так просто новую жизнь не построишь... И это хорошо, что ребята понимают, что дерутся за них. Но этого мало. Нужно, чтобы они выросли настоящими советскими людьми, борцами... (У окна.) А знаешь, что говорил об этом Ленин? Основным качеством советских людей должны быть храбрость, отвага, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины! Вот ты и пиши так, чтобы эти ребята, которые сейчас гоняют мяч во дворе, выросли такими людьми.

Г а й д а р. Храбрость, отвага, готовность биться против врагов Родины... Как это верно! (Помолчав.) Знаете, Иван Степанович, я хочу, чтобы когда-нибудь про нас, детских писателей, говорили так: «Жили-де такие умельцы, знающие люди, которые из военной хитрости прикинулись писателями и помогли ребятам вырасти хорошими, храбрыми солдатами».

Су х а р е в. Правильно! Не зря я за тебя поручался. Помнишь, крестник?

А р к а д и й. А как же! Помню, товарищ командир.

Су х а р е в. То-то!.. Да, тут без тебя Ахмет приезжал.

А р к а д и й. Ну? Где он?

Су х а р е в. Кавалерист. Полком командует. Был в Средней Азии, басмачей гонял. А где теперь — не знаю. Сам понимаешь... (*Негромко поет.*) Солдатская служба — особая служба, коль Родину ты защищаешь свою...

Г а й д а р (*так же*). Солдатская дружба — особая дружба, коль друг за тебя погибает в бою... Ох ты! Про письмо-то я забыл! (*Достает из полевой сумки письмо.*) Угадайте от кого?

Су х а р е в. Давай, давай! Может быть еще плясать заставишь?

Г а й д а р. От Васьки Шмакова!

Су х а р е в. Где ж ты его встретил?!

Г а й д а р. Под Владивостоком. Геолог! Начальник экспедиции...

Су х а р е в. Зарыл Вася талант в землю! Я думал он поэтом будет, а он геологом стал! (*Читает письмо.*) Скажи на милость!..

Г а й д а р. Камешками он давно интересовался.

Су х а р е в. Вот-вот! Ну, ладно, мне пора. Когда нужно будет что-нибудь, — зайди.

Г а й д а р. Спасибо. А пустят?

Су х а р е в. Позвони, попроси, в ножки поклонись, — может и выпишу тебе пропуск.

Смеются.

(*У окна.*) Ты смотри! Все еще гоняются!

Г а й д а р. Такой народ: пока мяч не отнимешь — не разойдутся!

Су х а р е в. Ну, будь здоров!

Г а й д а р. До свиданья, Иван Степанович.

В соседней комнате слышится звон разбитого стекла.

Г а й д а р. Это еще что такое?

Уходит и тут же возвращается с мячом в руках.

С у х а р е в. Доигрались! (Хохочет.)

Г а й д а р. Пушечный удар у этого курносого,— все стекло вдребезги!

С у х а р е в (у окна). Совещаются... Ну, разбирайся сам в своих квартирных склоках, мне некогда!

Уходит. Гайдар провожает его. Возвратившись, он смотрит в окно, потом быстро прячет мяч под диван и принимается разбирать вещи, напевая и поглядывая на дверь. За дверью возня, потом робкий звонок.

Г а й д а р. Входите, открыто!

За дверью голоса: «Ты первый». «Нет, ты!» «Эх, а еще мальчишка!» Дверь распахивается, и в комнату входит Наташа. Она в брюках, в кожаных перчатках, кепка лихо сдвинута набекрень. Из-за ее плеча выглядывает Павлик.

Н а т а ш а. Здравствуйте!

Г а й д а р. Здравствуйте! Что ж вы в дверях стали? Проходите, садитесь.

П а в л и к. Спасибо... (Садится на стул, стоящий у двери.)

Г а й д а р (Наташе). А ты, мальчик, что ж не садишься?

Н а т а ш а. Я не мальчик, а девочка!

Г а й д а р. Не может быть!

Н а т а ш а. Честное пионерское!

Г а й д а р. А почему же ты в брюках ходишь?

Н а т а ш а. Это я, когда в футбол играю... А так — в юбке.

Г а й д а р. Понятно. А разве девочки в футбол играют?

Н а т а ш а. Ну и пусть не играют, а я буду! Давайте мячик...

Г а й д а р. Какой мячик?

Н а т а ш а. Как будто не знаете... Которым мы у вас стекло разбили!

Г а й д а р. Ах, значит был такой факт?

П а в л и к. Был... Это я вам в окно стукнул.

Г а й д а р. Что же ты так? Нехорошо, брат, чужие стекла бить.

П а в л и к. Нечаянно... Выше штанги взял...

Г а й д а р. Не рассчитал, значит?

П а в л и к. Не рассчитал...

Г а й д а р. Бывает... А вы давно в этом доме живете? Что-то я вас не знаю

Н а т а ш а. А почему вы всех знать должны? Вы разве управдом?

Г а й д а р (смеясь). Не совсем...

Н а т а ш а (строго). Значит и знать не обязательно. Давайте мячик!

Г а й д а р. Ишь, какая сердитая! У тебя, наверно, мама учительница?

Н а т а ш а. Никакая не учительница! Если бы она учительницей была,— я бы давно из дому сбежала! Вон у Павлика дядя учитель. То ему не так, это не так!.. Павлик, в футбол не играй! Павлик, не купайся, простудишься! Как будто у него Павлик фикус какой-то!

П а в л и к. Наташа!..

Г а й д а р. Ты что, Павлик, с дядей живешь?

П а в л и к. Да.

Г а й д а р. А отец где?

П а в л и к. Папа умер... давно... Я еще тогда совсем маленьким был.

Г а й д а р. Так... (Вдруг.) Яблоки любите?

Н а т а ш а. Любим.

Г а й д а р. Ну, посидите. Сейчас я вас яблоками угощать буду. Хорошие яблоки! Настоящая антоновка. В дороге купил.

Н а т а ш а. А мячик?

Г а й д а р. И мячик заодно поищу. (Уходит в другую комнату.)

Н а т а ш а (негромко). Ничего дяденька... За стекло не ругается, яблоками угощает...

П а в л и к (так же). Хороший! (Осматривая комнату.) А почему у него вещи везде разложены?

Н а т а ш а. Не знаю. Приехал, наверно, недавно.

Смотри-ка, фотография какая! Это он сам, только молодой. Смотри, Павлик... шашка, револьвер, на папке красный бант!

Павлик. Ой, Наташа, это знаешь кто?

Наташа. Кто?

Павлик. Писатель Гайдар! Я этот портрет в книжке видел.

Наташа. Ну да?!

Павлик. Честное пионерское! И ребята во дворе говорили, что он в нашем доме живет, только уехал куда-то.

Наташа. Нашел кому стекла бить! Эх, ты!

Павлик. А сама-то: «Давайте мячик! Вы что, управдом?»...

Наташа. Тихо ты! *(После паузы, шопотом.)* Я недавно его книгу читала. «РВС» называется. Интересная! Как он там здорово про Жигана написал! Знаешь, Павлик, этот самый Жиган по поездкам ходил и песни пел... Вот так! *(Неожиданно громко.)*

Товарищи, товарищи,—
Сказал он им в ответ,—
Да здрав-сту-ит Ра-сия,
Да здрав-сту-ит Совет!..

Павлик. Ты что? Сдурела?!

В соседней комнате слышен хохот, потом появляется Г а й д а р.
У него в руках лукошко с яблоками.

Г а й д а р. Молодец, хорошо поешь! Выбирай себе за это самое большое яблоко! *(Ставит лукошко на стол.)* Бери, Павлик!

Павлик. Спасибо...

Наташа. А мяч не нашли?

Павлик. Наташа!

Наташа. Так он же чужой! Был бы мой, разве бы я приставала!

Г а й д а р *(доставая из-под дивана мяч)*. Вот он, ваш мячик, не волнуйтесь.

Наташа. А зачем вы его в той комнате искали?

Г а й д а р. Это я нарочно, чтобы послушать о чем вы тут говорите.

Н а т а ш а. Хитрый!

Г а й д а р. А как же! Каждый солдат должен быть хитрым. Военная хитрость в бою — первое дело.

Н а т а ш а. Вы разве солдат? Вы ведь писатель!

Г а й д а р. Ну и что же, книги писать — это тоже солдатский труд. Вот вы вырастете, тоже солдатами будете.

Н а т а ш а. Я капитаном дальнего плавания буду!

Г а й д а р. Не возражаю. Характер у тебя для этого подходящий. А скажите мне, други, часто вы в футбол играете?

П а в л и к. Каждый день.

Н а т а ш а. А что? Разве нельзя?

Г а й д а р. Почему же нельзя, футбол — вещь неплохая. Только не так часто. Что же у вас других игр нет?

Н а т а ш а. А какие? В лапту, что ли? Мы же не маленькие! И потом надоело... скучно!

Г а й д а р. Скучно, говорите? Так... Ну, ладно, что-нибудь придумаем. А сейчас будем стекло вставлять.

Н а т а ш а. И в комнатах приберем. Вы думаете, если я в брюках хожу и в футбол играю, так девчечных дел делать не умею? Я вам такой порядок наведу! Хотите?

Г а й д а р. Хочу. *(Вдруг.)* Товарищ капитан, разрешите свистать всех наверх?

Н а т а ш а. Это как?

Г а й д а р. Как на корабле. Ты — капитан, я — боцман, Павлик — матрос 1-й статьи. Смирно! Товарищ капитан, команда построена!

Н а т а ш а. Здравствуйте!

Г а й д а р и П а в л и к. Здравствуйте, товарищ капитан!

Н а т а ш а. Боцман!

Г а й д а р. Есть, боцман!

Н а т а ш а. Свистать всех наверх!

Г а й д а р. Есть, свистать всех наверх! Аврал!

Н а т а ш а. Павлик, тащи воды! Полы будем мыть!

П а в л и к. Есть воды! *(Убегает.)*

Наташа. Боцман, швабру! Вон на потолке паутины сколько.

Гайдар. Так точно! Есть паутина, год приборки не было!

Наташа. Безобразие!

Гайдар. Так точно, товарищ капитан, безобразие!

Павлик (вбегая). Вот вода!

Наташа (ставя стул на стол). Лезь!

Павлик. Слушаюсь!

Наташа. Боцман, держите тряпку! Пыль будете вытирать.

Гайдар. Есть, пыль вытирать, товарищ капитан!

Звонок у входной двери.

Слышу сигнал! Дверь не закрывали?

Павлик. Нет!

Гайдар (кричит). Входите!

В комнату входит человек в плаще и шляпе. В руках у него портфель. Близоруко щурясь сквозь стекла пенсне, он оглядывает комнату.

Человек в плаще. Простите, пожалуйста... я, кажется, не во-время?..

Гайдар. Ничего, ничего... Вы ко мне?

Человек в плаще. Я ищу своего племянника. Мальчики во дворе сказали, что он поднялся сюда.

Павлик (сверху). Я здесь, дядя Витя!

Человек в плаще (растерянно). Что ты там делаешь?

Павлик. Паутину снимаю!

Человек в плаще. Какую паутину? Слезай, пожалуйста. Пора обедать. (Гайдару.) Вы простите, но я не совсем понимаю, что здесь происходит?

Гайдар. Аврал!

Человек в плаще. Что?..

Гайдар. Генеральная приборка на корабле.

Человек в плаще. На каком корабле? Извините, не понимаю...

Павлик. Чего ж тут непонятного? Это наш корабль! Я — матрос, Наташа — капитан, а это, дядя

Витя, писатель Гайдар! Помните, я его книжку вам показывал?

Человек в плаще. Ах вот оно что! Очень рад... Карташев...

Гайдар (*пристально смотрит на него*). Карташев?... Виктор Карташев?!

Карташев (*после паузы*). Если не ошибаюсь... Голиков?..

Гайдар. Он самый!

Карташев. Вот это встреча!.. Как в романе!

Гайдар. Мне иначе нельзя: писатель!

Карташев. Сколько же лет мы не видались?

Гайдар. Пустяки! Всего... шестнадцать!

Карташев. Да, да, нынче у нас тридцать четвертый, а расстались мы...

Гайдар. В восемнадцатом!

Карташев. Подумать только: шестнадцать лет! Ну, здравствуйте, писатель Гайдар!

Гайдар. Здравствуйте, учитель Карташев!

Карташев. Все знает! Откуда?

Гайдар. Наташа рассказала.

Наташа. Ага, я!.. Я думала — вы незнакомые, а вы еще вон когда встречались! В восемнадцатом! Это когда гражданская война была, да?

Карташев. Наташа, вмешиваться в разговор старших невежливо!

Наташа. А если мне интересно?

Карташев. Потерпи до конца разговора и спроси. Понятно?

Наташа. Понятно, но скучно!

Карташев. Так не отвечают.

Гайдар. Я вижу, вы все такой же!

Карташев. Что ж делать? Меня воспитали в определенных правилах, которые я запомнил на всю жизнь. Идем, Павлик! До свиданья, Аркадий... Петрович, если не ошибаюсь?

Гайдар. Совершенно верно, Виктор... Григорьевич. Так?

Карташев. Абсолютно точно!

Г а й д а р. Надеюсь, теперь будем встречаться чаще?

К а р т а ш е в. Конечно. Я живу по соседней лестнице. До свиданья!

Г а й д а р. До свиданья!

Карташев и Павлик уходят.

Н а т а ш а. Оказывается, вы его знаете!

Г а й д а р. Оказывается, знаю, Наташа...

Т е м н о т а

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Пионерский лагерь под Москвой. На фоне синего летнего неба белеют палатки, четко вырисовывается высокая мачта, на конце которой трепещет от легкого ветра красный флаг. Уже зашло солнце, но еще не начинало темнеть. У одной из палаток, с палкой на плече, прохаживается П а в л и к. Вот он настороженно прислушивается, делает несколько шагов в сторону.

П а в л и к. Стой! Кто идет?

Из-за деревьев появляется Х о з е.

Х о з е. Отвага! Дружба!

П а в л и к. Честь! Победа!

Х о з е (медленно). Все... как это... спокойно?

П а в л и к. Спокойно, товарищ командир полка!

Х о з е. Хорошо.

Проходит в палатку. Павлик застывает у входа. Слышен мужской голос: «Павлик! Ты где?» Павлик собирается ответить, но вспомнив, что он на посту, сердито хмурит брови и продолжает молча прохаживаться вдоль палатки. Появляется К а р т а ш е в. Он в светлом костюме с какими-то свертками в руках.

П а в л и к. Стой! Кто идет?

К а р т а ш е в. Это я, Павлик. Почему ты не отзвешься?

П а в л и к (резко). Назад! Стрелять буду!

К а р т а ш е в. Что с тобой, Павлик? Это же я — дядя Витя!

П а в л и к. Назад!

К а р т а ш е в. Что за нелепые шутки? Сейчас же брось эту палку и иди сюда!

Павлик молча стоит, держа палку на изготовку, как ружье.

Павлик! Я с кем разговариваю?

Павлик молчит.

Очень мило! Я бросаю дела, приезжаю к родному племяннику в лагерь, а он разговаривать не желает. Хорошо! Я сейчас же сажусь в поезд и уезжаю в город. До свиданья, Павел!

П а в л и к (негромко). Дядя Витя, подождите с полчасика. Я скоро сменюсь...

К а р т а ш е в. Что, что?

П а в л и к. На посту разговаривать не полагается!

К а р т а ш е в. Ах, вот оно что! Ну, хорошо... Допустим, ты на посту. Ты часовой, партизан, герой и бог тебя знает кто. Но ведь это несерьезно. Это же игра! Бросай, пожалуйста, свою палку и идем куда-нибудь в тень. Мне жарко!

П а в л и к. Не могу, дядя Витя.

К а р т а ш е в. У меня всего полтора часа свободного времени! Я скоро уеду, и ты опять сможешь караулить свои склады или что там у тебя, не знаю. Идем, Павлик!

П а в л и к. Не могу!

К а р т а ш е в. Это чорт знает что такое! Прости, Павлик, ты этого не слышал! Кто выдумал эту нелепую игру? Я сейчас же разыщу Ирину Сергеевну и потребую прекратить эту никому не нужную муштру! А с тобой мы поговорим потом. (Уходит.)

Павлик тяжело вздыхает и, положив палку на плечо, продолжает шагать. Остановившись, прислушивается и осторожно крадется за палатку. С противоположной стороны, пригнувшись, выходят Г а й д а р и Н а т а ш а.

Н а т а ш а (негромко). Часовой за палаткой!

Г а й д а р (так же). Я отвлекаю часового, ты пробираешься в штаб противника!

Н а т а ш а. Есть! (Прячется.)

Из-за палатки выходит П а в л и к.

Павлик. Стой!

Гайдар быстро бежит в сторону.

Стой! Стрелять буду! (*Бежит за Гайдаром.*)

Наташа проскальзывает в палатку. Слышен ее голос: «Руки вверх! Выходи!» Из палатки с поднятыми руками выходит Хозе, за ним Наташа.

Наташа (*кричит*). Аркадий Петрович, все! Противник в плену, мы победили!

Появляются запыхавшиеся Гайдар и Павлик.

Гайдар. Молодец, Наташа! Признаешь, Павлик? Ваш командир в плену, полк разбит, мы победили!

Павлик. Признаю... Только ты, Наташа, не задавайся! Если бы не Аркадий Петрович, мы бы вам показали! Верно, Хозе?

Хозе. Я... как это сказать... не очень много тебя понял... Что мы должны были показать?

Павлик. Ну, наложили бы им по первое число! Понимаешь?

Хозе. Не понимаю...

Павлик. Победили! Мы бы победили! Понимаешь?

Хозе. Победили, понимаю!

Павлик. Ну вот... В следующий раз Аркадий Петрович на нашей стороне будет, тогда посмотрим! Верно, Аркадий Петрович?

Гайдар. Воевали вы хорошо, друзья. (*Бросается на траву.*) Отдыхайте, товарищи бойцы! Полк отошел на переформировку.

Наташа. Павлик, мы сейчас твоего дядю видели. Злющий, презлющий! Чего это он?

Павлик. Штатский человек, что с него взять! (*Вздыхая.*) Пойду...

Наташа. Если конфет привез, чур на всех!

Павлик. Ладно! (*Уходит.*)

Наташа. Жарко как!.. Аркадий Петрович, а вы настоящим полком командовали?

Г а й д а р. Командовал, Наташа... Семнадцать лет... Молод был очень... Командовал, конечно, не как Чапаев... Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хорошо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребяташками в лапту играть!

Смеются.

Н а т а ш а. Небо сегодня синее-синее... как в Крыму! Вы были в Крыму, Аркадий Петрович?

Г а й д а р. Был, Наташа. Там наш писательский дом отдыха есть...

Н а т а ш а. И здесь?

Г а й д а р. И здесь.

Н а т а ш а. А почему опять туда не поехали? Знаешь, Хозе, как там красиво: море, горы! Верно, Аркадий Петрович?

Г а й д а р. Красиво. Но скучаю я всегда по здешним местам. Где мой пруд? Где мой луг? Где вы, цветики мои простые? Ау! Нету... А море, конечно, это красиво... И горы тоже... Но на Альпах, скажем, мне, ей-богу, делать нечего! Залез, посмотрел, ахнул, преклонился и потянуло опять к себе! Родное, оно всегда дороже, Наташа!

Появляется П а в л и к.

Н а т а ш а. А где конфеты?

П а в л и к. Дядя Витя еще у Ирины Сергеевны...

Г а й д а р. Да что у вас тут произошло?

П а в л и к. Да ничего, Аркадий Петрович! Я на посту, а он со мной разговаривает...

Г а й д а р. А ты?

П а в л и к. А я молчу. Ну вот он и разозлился.

Гайдар смеется.

Н а т а ш а. Учитель называется! Устава не знает.

Г а й д а р (строго). Устав ему знать необязательно. Ладно, Павлик, не огорчайся, я с твоим дядей поговорю.

П а в л и к. А я не огорчаюсь.

Г а й д а р. О чем задумался, Хозе?

Хозе (вздвинув). А? Смотрю на небо. Очень синее сегодня. Как у нас в Испании...

Наташа и Павлик переглядываются.

Павлик (быстро). А знаешь, Хозе, Чкалов-то уже в Америке!

Хозе. Уже?

Павлик. Ага! В газете сейчас прочитал... Там и фотография есть. Самолет стоит, а у самолета Чкалов, Байдуков, Беляков и еще какие-то в шляпах.

Хозе. А разве газету принесли?

Павлик. Принесли.

Хозе. Я сейчас... (Убегает.)

Наташа. Эх ты!

Павлик. Что «эх ты»?

Наташа. Он сейчас телеграммы про Испанию прочтет, а фашисты на Бильбао наступают, а там у него сестра!

Павлик. Так я телеграммы не успел прочесть... То есть я читал про Гвадалахару, а про Бильбао не успел!

Наташа. Не успел! (Убегает.)

Павлик. Вы посмотрите, что делается, Аркадий Петрович! Советская экспедиция на Северном полюсе на льдине дрейфует! Чкалов из Москвы в Америку без посадки летит! В Испании война с фашистами идет! А я в лагере загораю и манную кашу ем. Разве не обидно?

Гайдар. Ничего, Павлик, успеешь...

Павлик. Я бы пробрался к самому генералу Франко, в самый главный фашистский штаб... Его бы в плен, все секретные бумаги с собой и айда!

Гайдар. А если схватят?

Павлик. Пусть хватают. Ничего не скажу, ни словечка! Как Мальчиш-Кибальчиш у вас в «Военной тайне». (Громко.) «...сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную муку, какая есть на свете, и выпытайте от него военную тайну. Ушли буржуины, а вернулись не скоро. Нет, — говорят они, — начальник наш, Главный

Буржуин. Бледный стоял он, но гордый, и не сказал он нам военной тайны, потому что такое уж у него твердое слово...» Вот!

Г а й д а р. Запомнил?

П а в л и к. Я это место раз сто читал! Очень мне нравится... А что вы сейчас сочиняете, Аркадий Петрович?

Г а й д а р. Сочиняю я, брат, повесть... Кончаю, вернее, сочинять.

П а в л и к. О войне?

Г а й д а р. Нет, не о войне. Но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война.

П а в л и к. Про кого же?

Г а й д а р. Про одного мальчика... Про то, как выбрали его барабанщиком в отряде, но так вышло, что остался он один, а что потом из этого получилось, узнаешь, когда книжка выйдет.

П а в л и к. А как называется?

Г а й д а р. Еще не знаю, Павлик. Вот все хожу и думаю, да ничего пока не придумывается...

П а в л и к. Что это Хозе с Наташей так долго? Я сбегая, Аркадий Петрович...

Г а й д а р. Беги, Павлик.

Павлик убегает. Гайдар, улыбаясь, смотрит ему вслед, потом вынимает из полевой сумки трубку, табак. Закуривает.

(Задумчиво). «Пробрался бы к самому генералу Франко, в самый главный фашистский штаб...» Эх, мальчишки мои, мальчишки!.. Как бы я не хотел, чтоб вам когда-нибудь пришлось пробираться во вражеские штабы, слышать свист пуль, видеть смерть товарищей. Но нужно быть готовыми ко всему... Нужно!

Слышен женский голос: «Аркадий Петрович, вы где?»

Здесь! У палаток!

Появляется Ирина Сергеевна.

Ирина Сергеевна. Вот вы куда забрались!

Г а й д а р. Ага. Я всегда куда-нибудь забираюсь...

Ирина Сергеевна. А почему вы один? Без ребят? Первый раз вижу такое чудо!

Гайдар. Товарищ старшая пионервожатая, она же молодой преподаватель истории, разрешите доложить: никакого чуда! Ребята сейчас придут.

Ирина Сергеевна. Тогда понятно. Как военная игра?

Гайдар. Мы победили!

Ирина Сергеевна. Поздравляю! А у меня сейчас был Виктор Григорьевич и требовал прекращения солдатской муштры.

Гайдар. Муштры? Он чудака-человек! Какая же муштра?

Ирина Сергеевна. Не знаю. Спрашивал, кто выдумал эту затею. Я сказала, что выдумали и вы, и начальник лагеря, я и все ребята. Не поверил!

Гайдар. Почему?

Ирина Сергеевна. Не знаю. Заявил, что это не метод воспитания волевых качеств у детей.

Гайдар. Ух ты! Слова-то какие! Где он?

Ирина Сергеевна. Наверно уже уехал. Когда я шла сюда, он прощался с Павликом.

Гайдар. Жаль. Неужели он не понимает, что дело не в военной игре? Не сна, так любая другая! Но чтоб интересно, таинственно, увлекательно, красиво!

Ирина Сергеевна. Романтик вы, Аркадий Петрович!

Гайдар. Романтики бывают разные, Ирина Сергеевна. Мечтать и бороться за свою мечту — вот моя романтика. Правильно?

Ирина Сергеевна. Абсолютно! Но Карташев, пожалуй, вас не поймет. Он хороший, опытный преподаватель, честный человек, но чуть суховат...

Гайдар. Поймет! Должен понять! Какие же мы будем товарищи, если не поможем ему разобраться в этом? Он же преподаватель, для него это вся жизнь!

Входят Павлик, Наташа и Хозе.

Н а т а ш а. Мы пришли, Аркадий Петрович!

Г а й д а р. Вижу...

П а в л и к. Ребята спрашивают, что завтра будет? Давайте еще одну военную игру проведем. Посмотрим тогда, кто кого!

Н а т а ш а. Давайте!

Г а й д а р. Нет, други, завтра мы с вами отправимся в поход.

Н а т а ш а. В поход?

Г а й д а р. Да. Видите вы вон тот лесок?

П а в л и к. Видим.

Н а т а ш а. А что?

Г а й д а р. Сдается мне, что за тем леском можно повидать много интересных вещей. И вот что, други... С завтрашнего дня мы с вами — отважные путешественники. Кто против?

И р и н а С е р г е е в н а. Я — за! Туристский поход — это очень хорошо!

Г а й д а р. Девиз прежний: Отвага.

П а в л и к. Дружба!

Н а т а ш а. Честь!

Х о з е. Победа!

Г а й д а р. Мы будем открывать новые, неизведанные места и наносить их на карту. Сколько людей мы встретим на пути! Мы будем помогать слабым и соперничать с сильными! Мы заступимся за обиженного и накажем обидчика! Нам ничего не страшно: мы вместе! Мы идем вперед, и все новые и новые чудеса раскрываются перед нами! Вот, видите, гора? Кто мне скажет, как она называется? Никто этого не знает. Мы открыли ее! Это — скала Отважных! Первый, кто заберется на нее, получит право зажечь наш костер в Ущелье Больших Огней.

И р и н а С е р г е е в н а. Ущелье Больших Огней... Где же оно?

Г а й д а р. А вот... там, где кончается тропинка... Мы будем собираться у этого костра и петь свои песни. Одну мы уже вчера сочинили. Помните?

Наташа. Помним. (*Запевает. Все подхватывают.*)

Пусть ветер бьет в лицо, бушует злая вьюга,
Пусть на твоем пути лихих преград не счесть,
Иди вперед смелей, плечом почувствуй друга
И знай, что победят Отвага! Дружба! Честь!

Вперед, всегда вперед! Как ни придется туго,
У смелых на земле друзья повсюду есть,
И если друг в беде, то выручим мы друга,
Порукою тому Отвага, Дружба, Честь!

Гайдар. Смелые путешественники! Два старых солдата и храбрая санитарка. Вот тебе моя сумка, надень ее через плечо. Завтра после утренней линейки мы отправимся в наше первое путешествие! Труден будет путь, много преград и неожиданностей ждет нас в дороге, но два бывалых солдата и храбрая санитарка не страшатся их! Так ли я говорю?

Наташа. }
Хозе. } Так!
Павлик. }

Гайдар. Смотрите, уже стемнело... Над лесом зажглись звезды. Сейчас протрубит горн к отбою. До свиданья, мои храбрецы, и помните: Отвага!

Павлик. Дружба!

Хозе. Честь!

Наташа. Победа!

Слышен сигнал горна.

Гайдар. Вперед, друзья! До завтра!

Наташа, Павлик и Хозе убегают. Ирина Сергеевна уходит за ними. В тишине слышна команда: «Барабанщики, вперед! На флаг, смирно!» Под дробь барабанов медленно спускается лагерьный флаг.

(*Задумчиво.*) Барабанщики, вперед... Барабанщики вперед... (*Вдруг.*) Судьба барабанщика! Есть название, Павлик!..

Темнота.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Комната в квартире Гайдара. Вечер. Ярко горит лампа под абажуром, освещая круглый стол, накрытый белой скатертью, письменный стол, на котором стоит украшенная игрушками небольшая елка. Разноцветные огоньки ее лампочек освещают листок календаря с надписью: «31 декабря 1940 года». Гайдар стоит у стола, задумчиво смотря вверх. На плечи его накинута защитного цвета френч с орденом «Знак Почета», в руке тетрадь.

Г а й д а р (негромко). «...Тише, Женя! Никто тебя не тронет... Я — Тимур!» (Подсаживается к столу, записывает что-то в тетрадь. Медленно читает, прислушиваясь к тому, как звучат слова.)

«...И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на которой была вышита красная звезда...» (Вдруг неожиданно, размахивая тетрадкой.)

«Ты Тимур?! Это ты укрыл меня ночью простыней? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт телеграмму? Но зачем?.. За что? Откуда ты меня...» (Так же неожиданно останавливается. Хватается за голову, на носках подходит к открытой двери во вторую темную комнату. Прислушивается.)

Спит... И чего это я вдруг раскричался?

Из соседней комнаты слышится звонкий мальчишеский смех, потом голос: «А я и не сплю!»

Это почему же?

Г о л о с. Слушаю, как ты сочиняешь! Ничего. Кричишь только очень.

Г а й д а р. Дорогой мой сын, хочешь получить добрый совет?

Г о л о с. Хочу.

Г а й д а р. Закрывай глаза и немедленно засыпай. Придет мама, увидит, что ты не спишь, и мы пропали! Будь человеком — спи...

Г о л о с. Не хочу, рано еще. Можно я встану?

Г а й д а р. Так. Тимур, во сколько завтра начало в цирке?

Г о л о с. В двенадцать. А что?

Г а й д а р. Кажется, у меня завтра в двенадцать совещание.

Г о л о с. Сплю!

Г а й д а р. То-то! (*Садится к столу. Пишет.*)

Г о л о с. Папа!

Г а й д а р. Знаешь что? Теперь я уже точно знаю: у меня завтра совещание!

Г о л о с. Да нет, пап,— я уже и вправду сплю. Я только спросить...

Г а й д а р. Что?

Г о л о с. Новый год еще не наступил?

Г а й д а р. Нет.

Г о л о с. Значит еще сороковой?

Г а й д а р. Сороковой. Спи!

Г о л о с. Сплю. (*После паузы.*) Папа, а когда наступит Новый год, вы меня разбудите?

Г а й д а р. Разбудим, разбудим. Придет мама, накроет на стол и тебя оденет. А пока спи. Договорились?

Г о л о с. Договорились.

Г а й д а р (*прикрыв дверь*). Сочиняю я, значит, ничего... Кричу только очень... (*Улыбаясь.*) Кричать не надо... (*Задумчиво.*) Кричать не надо... (*Вдруг.*) «...Тише, Женья! Кричать не надо! Никто тебя не тронет. Я — Тимур!» ...Правильно!... (*Пишет.*)

Звонок у входной двери. Гайдар выходит и возвращается с
К а р т а ш е в ы м.

К а р т а ш е в. Здравствуйте, Аркадий Петрович! Я не во-время?

Г а й д а р. Ну что вы, Виктор Григорьевич. Раздевайтесь.

К а р т а ш е в. Спасибо. Я ненадолго... Аркадий Петрович, мне необходимо с вами серьезно поговорить.

Г а й д а р. Опять?

К а р т а ш е в. Да, опять! Так больше продолжаться не может!

Г а й д а р. Совершенно верно, Виктор Григорьевич. И я буду рад, если вы поняли, что я прав.

К а р т а ш е в. Нет, Аркадий Петрович, не понял. Больше того! Я убежден, что вы совершаете преступление.

Г а й д а р. Преступление?

К а р т а ш е в. Да. Я — учитель... и, говорят, неплохой учитель. Всю свою сознательную жизнь я воспитываю детей. Хочу, чтобы они выросли хорошими врачами, преподавателями, инженерами... А кого хотите сделать из них вы? Солдат? К чему эти военные игры, походы, какие-то таинственные сигналы, задания? Я пробовал говорить с Ириной Сергеевной, с директором школы, я обращался, наконец, в комсомольскую организацию, но меня не хотят понять! Пытаются уговорить, что эта солдатчина кому-то нужна!

Г а й д а р. Солдатчина? Послушайте, Виктор Григорьевич, для меня нет дороже слова, чем слово — солдат. По-вашему, солдат — это налево, направо, смирно, в атаку марш, а для меня в этом слове все: честность, отвага, любовь к Родине! Я тоже хочу, чтоб наши ребята выросли умелыми, знающими людьми. Чтобы строили своими руками счастье нашей чудесной земли. Чтобы никогда в жизни не слышали страшное слово: война. Но откройте глаза, Виктор Григорьевич! Посмотрите, что делается в мире! Неужели вы думаете, что у нас нет врагов, что нам никто не завидует?

К а р т а ш е в. Вы преувеличиваете, Аркадий Петрович. Если война и будет, то мы достаточно сильны, чтобы обойтись без подростков!

Г а й д а р. И вы хотите, чтобы они встретили ее беспомощными, как слепые котята?

К а р т а ш е в. Я хочу только одного: чтобы вы оставили в покое моих учеников. Вы — писатель! Пишите ваши чудесные книги. Поверьте мне, что вы ошибаетесь!

Г а й д а р. Нет, Виктор Григорьевич, я не ошибаюсь. И я не только писатель. Я коммунист и советский человек!

К а р т а ш е в. Значит, эти ваши затеи будут продолжаться?

Г а й д а р. Да. Поймите, Виктор Григорьевич...

К а р т а ш е в. Не понимаю! И предупреждаю вас, Аркадий Петрович, что я буду жаловаться.

Г а й д а р. Жаловаться? На что? Неужели вам непонятно, что я... *(Внезапно останавливается. Медленно опускается на стул, крепко сжав рукой правую часть головы.)*

К а р т а ш е в. Аркадий Петрович, что с вами? Вам плохо?

Г а й д а р. Уйдите, Виктор Григорьевич...

К а р т а ш е в. Вот вода... выпейте...

Г а й д а р *(не поднимая головы)*. Я прошу вас... уйдите.

Карташев осторожно выходит. Звонок телефона. Гайдар неподвижно сидит у стола. Телефон звонит опять. Гайдар тяжело поднимается, берет трубку.

(Глухо.) Да... да, я. Здравствуйте Иван Степанович. Спасибо. Вас так же... Что? Нет, ничего... Здоров. Так, поволновался немного... Нет, с Карташевым... Да, опять... Не понимает! Не хочет, вернее, понять. И ведь неплохой, честный человек, а вот... Что? Я знаю, что прав, но не могу я спокойно говорить об этом. Хорошо. Спасибо, Иван Степанович. До свиданья! *(Вешает трубку. Некоторое время стоит неподвижно, потом идет к письменному столу. Пишет.)*

Звонок у входной двери. Гайдар выходит. Слышен мужской голос: «Простите, могу я видеть писателя Гайдара?» и ответ: «Это я. Заходите». В комнату входит невысокий полный человек с усами. В руках у него что-то, похожее на небольшой ящик, завернутый в газету.

Человек с усами. Разрешите снять пальто?

Г а й д а р. Пожалуйста.

Человек с усами. Не узнаете?

Г а й д а р. Простите, нет...

Человек с усами. Ай-ай, как не стыдно!

Пинь... пинь... тарарах... тиу!...

Г а й д а р. Штукин! Тимка?

Ш т у к и н. Тимофей Ильич! Ну, здравствуй, что ли! С наступающим тебя!

Г а й д а р. Спасибо, Тима, спасибо, дорогой! Тим-ка Штукин! Подумать только... С усами, толстый!

Ш т у к и н. Да и ты, брат, не худой!

Г а й д а р. Как же ты меня разыскал?

Ш т у к и н. Биографию твою у дочки в книге вычитал. Она все твердит: Гайдар, да Гайдар! Дай, думаю, почитаю, что еще за Гайдар? А это, оказывается, ты и есть!

Г а й д а р. Я самый... А у тебя уже дочка?

Ш т у к и н. А как же, пинь-пинь... тарарах! Двенадцать лет!

Г а й д а р. С ума сойти можно! Да садись ты! Что ты стоишь столбом?

Ш т у к и н. Подожди минуточку... Тут для тебя еще один сюрприз приготовлен! *(Открывает дверь, кричит: «Заходите, товарищ!»)*

В комнату входит человек в очках и мягкой фетровой шляпе.

Ч е л о в е к в о ч к а х. Здравствуй, Аркадий! Это самое... с Новым годом!

Г а й д а р. Семка?!

О л ь ш е в с к и й *(раскланиваясь)*. Семен Ефимович Ольшевский, будем... это самое, знакомы!

Г а й д а р. Ну, други... Ну, я вам скажу... это встреча!.. Садитесь, земляки! Садитесь, одноклассники! Вино пить будем!

О л ь ш е в с к и й. С удовольствием.

Ш т у к и н. Разрешите преподнести по случаю торжественной встречи! *(Разворачивает газету. Под ней клетка с птичкой.)*

Г а й д а р. Птичник! Сам поймал?

Ш т у к и н. Где уж! Живот мешает!

Смеются.

Г а й д а р *(разливая вино)*. За встречу! Рассказывайте, друзья... Ты где, Тима?

Ш т у к и н. На Урале директор завода. Сталь лью...

Г а й д а р. Ого! Молодец, Тимофей Ильич! Твое здоровье! А ты, Сема?

Ольшевский. В Киеве. Скромный научный работник. Пишу диссертацию и преподаю в институте.

Гайдар. Немецкий?

Ольшевский. Что ты! Историю...

Гайдар. А я думал немецкий. Помнишь? Ду хаст... эр хаст...

Ольшевский. А как же! Вир... это самое...

Штукин. Хастус!

Смеются.

Гайдар. Где же вы встретились?

Ольшевский. В гостинице. Поднимаюсь по лестнице, смотрю, идет толстый солидный человек с усами и дроздом разливается...

Гайдар. А у меня сейчас Карташев был.

Штукин. Карташев? Разве он в Москве?

Гайдар. В Москве. В этом же доме живет. Учитель.

Ольшевский. Чудеса!

Штукин. Какой он теперь, интересно?

Гайдар. Все такой же... А ты в командировку?

Штукин. В Наркомат вызвали. Завод перестраивать будем. Сам знаешь, что на земле творится.

Гайдар (задумчиво). Да... на земле тревожно.

Молчат.

Ольшевский. Ну, а ты? Над чем сейчас работаешь?

Гайдар. Кончаю новую повесть.

Штукин. О чем?

Гайдар. Так сразу и не скажешь. Понимаете, друзья... чувствую я, что приближается время жестоких испытаний. Всем своим существом чувствую... Проснусь ночью во время грозы и чудится мне, что не гром гремит, не молния сверкает в темном небе, а грохочут вдали тяжелые орудия и вспыхивают огни ракет... И хочется мне встать и крикнуть всем нашим замечательным мальчишкам и девчонкам: «Будьте готовы к борьбе! Сумейте в грозный час помочь

нашей Красной Армии! А я, старый солдат, попробую научить вас, как это сделать!» ... *(Помолчав.)* Вот и пишу об одном славном мальчугане Тимуре и его боевой команде...

Ольшевский. О команде?

Гайдар. Да... Представляете, други, ушел на войну солдат... Дома осталась мать-старуха, дочурка маленькая... А хлопот-забот по дому — не управиться! И дрова сложить, и огород прополоть, и с девчонкой поняньчиться!.. Как тут быть?.. Но происходят удивительные вещи! Просыпается утром старушка, выходит во двор. Батюшки! Дрова сложены. Идет в огород. Матушки! Огород прополот... Возвращается домой, — ничего не понимает: на столе цветы стоят, у девчонки в руках игрушка новая! Чудеса? Нет, други мои хорошие, чудес никаких! Есть такой мальчуган Тимур, есть его боевая команда. Спите спокойно, люди! Воюйте на фронте, бойцы, и не волнуйтесь за своих родных! У них есть защитники, есть кому помочь и позаботиться о ваших детях и матерях...

Штукин *(после паузы)*. Налей, Аркадий... *(Вставая.)* За твоего Тимура!

Гайдар. Спасибо... Только за какого? У меня их двое: один — в книге, а другой живой... *(Подходит к двери во вторую комнату. Распахивает ее.)* Вот, спит...

Штукин. Сын?

Гайдар. Сын. И сколько их, таких сыновей, спокойно спят сейчас в своих постелях! В степях, в тайге, в горах, у далекого синего моря... Спят и не видят, как ползут по небу черные тучи, не слышат, как гремит гром... А я хочу, чтобы они видели эти тучи! Хочу, чтоб знали, что делать, когда разразится гроза!

Ольшевский *(взволнованно)*. Ты... это самое... ты молодчина, Аркадий!

Гайдар. Я — солдат, Сема. Я только честно выполняю приказ!

Штукин. Чей?

Г а й д а р. Сталина. Просмотрите последние газеты, друзья. Статьи о формировании характера советских юношей и девушек... Речь Михаила Ивановича Калинина о коммунистическом воспитании... Закон правительства о трудовых резервах... Партия беспрестанно думает о воспитании юного поколения и призывает к этому нас! А я детский писатель, коммунист. Для меня это — приказ. И я должен вложить все — сердце, волю, разум, но с честью выполнить этот священный для меня приказ!

Штукин берет бокал с вином, подходит к Гайдари. Порывисто, по-мужски обнимает его.

Штукин. Я пью за тебя, Аркадий!

Г а й д а р (*поднимает бокал*). За то, чтобы оправдать свое существование перед людьми! Так, други?

Штукин. Так, расчудесный ты человечик, так!

За окном гудок автомобиля.

Это за мной. Надо ехать.

Г а й д а р (*разливая вино*). По последнему... У меня сегодня необыкновенный день! Встретился с вами, через час Новый год и еще... очень для меня дорогое! — меня опять берут на военный учет. Значит, я нужен Родине!

О л ь ш е в с к и й. За Родину!

Встают. Поднимают бокалы. За окном настойчивый гудок автомобиля.

Т е м н о т а.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

В музыке нарастает грозная военная тема. Переворачивается страница книги. Перед нами — Г а й д а р. Ремни походного снаряжения привычно лежат на его плечах. На петлицах неизменной гимнастерки — знаки различия полковника. Не видно лукавой усмешки в глазах, они смотрят пристально и сурово, в них — боль, ненависть и великий гнев.

Г а й д а р. Война... Вот и пришла гроза и гремит зловеющий гром: разрываются вражеские бомбы в

наших городах! Опять свистят пули, опять воют снаряды! И отцы ушли и братья ушли! Эй вы, мальчишки! Помните ли вы? Отвага! Дружба! Честь! Победа!

Т е м н о т а.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Перрон вокзала Москва-товарная. Слышатся гудки паровозов, далекая песня. Голос по радио: «... В течение двадцать восьмого августа шли упорные бои с противником на всех фронтах. После ожесточенных боев нашими войсками оставлен город Днепропетровск...» На перрон выходят Сухарев и Гайдар.

Сухарев. Не проси, Аркадий. В часть я тебя не возьму. Военные корреспонденты тоже на войне нужны! Знаешь, небось, не маленький...

Гайдар. Знаю, Иван Степанович. Но я хочу воевать сам, а не писать о том, как другие воюют!

Сухарев. Ты это врачам скажи. Они тебя в действующую не пускают!

Гайдар. Да что врачи! Выдумали все. Никаких у меня болезней нет!

Сухарев. Ну, я-то знаю... Успеешь навоеваться, Аркадий. В этой войне всем дела хватит!

Гайдар. Да, война будет тяжелой. Как-то мои мальчишки?...

Сухарев. Думаешь, не выдержат?

Гайдар. Нет, Иван Степанович, выдержат! Трудно придется, но выдержат!

Сухарев. Ну вот и я так думаю. Школа у них подходящая! У тебя когда отправка?

Гайдар. В шестнадцать тридцать.

Сухарев (взглянув на часы). Что ж так рано приехал?

Гайдар. Ребята сегодня отправляются... А отсюда ли и когда — узнать не удалось.

Сухарев. Военная тайна. Позвонил бы, может быть и узнали...

Гайдар. Поздно догадался, вы уже на вокзал выехали... Прямо в действующую ребята махнут!

Сухарев. Завидуешь?

Г а й д а р. Завидую.

С у х а р е в. И мне завидуешь?

Г а й д а р. И вам завидую, товарищ член Военного Совета!

С у х а р е в. Завидуйте, товарищ военный корреспондент! Это зависть хорошая. Письма писать будешь?

Г а й д а р. Буду, Иван Степанович.

С у х а р е в. Смотри...

К Сухареву подбегает молодой лейтенант.

Л е й т е н а н т. Товарищ член Военного Совета, разрешите доложить?

С у х а р е в. Докладывайте.

Л е й т е н а н т. Погрузка окончена, через десять минут отправление!

С у х а р е в. Хорошо. Можете идти.

Лейтенант козыряет, быстро уходит.

Пойдем, Аркадий, проводишь до вагона. Может своих ребят там встретишь. (Уходят.)

Песня приближается. Вот она звучит совсем громко, слышна команда: «Стой!» и песня обрывается. Голос: «Вольно! Можно разойтись!» На перрон выходят П а в л и к и Х о з е. Они в красноармейской форме, с винтовками за плечами.

Х о з е. У нас только полчаса времени. Вдруг она не успеет. Павлик?

П а в л и к. Успеет, Хозе. Не волнуйся.

Х о з е. Я не волнуюсь. А если она на другом вокзале?

П а в л и к. Что она тебе сказала?

Х о з е. Сказала, что их поезд стоит на товарной.

П а в л и к. Значит здесь. Посидим, подождем.

Х о з е. Посидим. (Садятся.) А может быть пойдем, поищем?

П а в л и к. Ну, пойдем, пойдем. Чего не сделаешь для друга? (Напевая.) И если друг в беде, то выручим мы друга, порукою тому...

Х о з е. Отвага! Дружба! Честь!..

Г а й д а р, который в это время появился на перроне, быстро поворачивается.

Г а й д а р. Отвага! Дружба!
П а в л и к. Честь! Победа! Аркадий Петрович!
Г а й д а р. Павлик! Хозе! Мальчишки мои дорогие! Здравствуйте!

Хозе и Павлик вытягиваются, прикладывают ладони к пилоткам.

Х о з е. } Здравствуйте, товарищ полковник!
П а в л и к. }

Г а й д а р. Уже не мальчишки. Солдаты! Два старых солдата и храбрая санитарка. Где же она?

П а в л и к. Должна придти, Аркадий Петрович!
Она ведь тоже...

Х о з е. Вот она! (Кричит.) Наташа! Сюда!

Вбегает запыхавшаяся Н а т а ш а. Она тоже в военной форме, через плечо надета сумка с красным крестом.

Н а т а ш а. Думала, не успею... Еле-еле отпросилась!

Г а й д а р. Здравствуй, Наташа!

Н а т а ш а. Ой, Аркадий Петрович! А я вас не узнала сразу. Думала, кто это стоит? Здравствуйте! Как я рада, что вас вижу!

Г а й д а р. И я рад, Наташа... Ну-ка, покажись! Самая настоящая, храбрая санитарка!

Н а т а ш а. Медсестра. А храбрая ли — еще не знаю.

Г а й д а р. Как не знаешь? А кто первый взобрался на Скалу Отважных? Кому доверили зажечь костер в Ущелье Больших огней? Должна быть храброй!

Н а т а ш а. Постараюсь. (Задумчиво.) Скала Отважных... Ущелье Больших Огней... Помните, Аркадий Петрович? (Негромко поет.)

Пусть ветер бьет в лицо, бушует злая вьюга,
Пусть на твоем пути лихих преград не счесть...

Г а й д а р. Помню, Наташа. Все помню! Ничего, мы еще увидим наши горы, соберемся на острове Настоящей Дружбы, споем песни у костра в Ущелье Больших Огней...

Х о з е. Конечно споем! Правда, Наташа?

Н а т а ш а (тихо). Обязательно, Хозе.

Г а й д а р. Все будет, друзья! Все, что не успели

теперь, доделаем после победы. И все ваши мечты сбудутся! Павлик будет замечательным конструктором самолетов, Хозе умчится на этом чудесном сверхскоростном самолете в голубое небо, а Наташа станет самым знаменитым капитаном дальнего плавания! Куда, други?

Павлик. Военная тайна.

Гайдар. Не скажешь?

Павлик. Нет!

Гайдар (*улыбаясь*). «Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него военную тайну».

Павлик. «Нет, начальник наш Главный Буржуйин. Бледный стоял он, но гордый и не сказал он нам военной тайны, потому что такое уж у него твердое слово!...»

Смеются.

Гайдар. А все-таки?...

Павлик (*серьезно*). Не знаю, Аркадий Петрович. Мы — комсомольцы и солдаты. Куда пошлют, там и будем воевать.

Гайдар. Правильно! (*Взглянув на Наташу и Хозе, которые стоят чуть в стороне, взявшись за руки.*) Знаешь, Павлик, мне что-то мороженого захотелось, сбегает?

Павлик (*понимаяще*). Конечно, Аркадий Петрович. У нас еще десять минут в запасе.

Уходят.

Наташа. Как ты думаешь, они нарочно ушли?

Хозе. Не знаю. Наташа!

Наташа. Что?

Хозе. Я напишу твоим родным и спрошу твой адрес. Ты ведь пришлешь номер полевой почты? Можно?

Наташа. Хорошо...

Хозе. А ты будешь мне отвечать?

Наташа. Зачем ты спрашиваешь? Ты ведь знаешь...

Хозе. Что?

Наташа. Ничего... Смотри, у тебя подворотничок отрывается...

Хозе (*помолчав*). Вот как все получилось. Я думал, мы вместе будем, а ты где-то на санитарном поезде...

Наташа. Ничего, Хозе... Я буду писать тебе, и потом мы можем встретиться... там, на фронте. Вот было бы хорошо! Правда?

Хозе. Да...

Входят Гайдар и Павлик.

Павлик. Прошу! Ешьте скорее, а то растает.

Наташа. Спасибо.

Гайдар. А почему так грустно? Уговора унывать не было.

Наташа (*отвернувшись*). Это я так... на секундочку. Аркадий Петрович, а вас Виктор Григорьевич искал.

Гайдар. Когда?

Наташа. И вчера, и позавчера. Все эти дни. Дома вас застать не мог.

Гайдар. Дома меня сейчас застать трудно.

Наташа. Какой-то он не такой стал...

Гайдар. А какой?

Наташа. Не знаю... Задумчивый какой-то.

Павлик. Верно. Он все со мной поговорить о чем-то важном хочет. Начнет и замолчит. Так и не сказал. Не знаю, что это с ним?

Гайдар. Один ведь остается. Тяжело ему... Он тебя любит, Павлик!

Павлик. Любит. По-своему, но любит.

Наташа. Вот он! (*Кричит.*) Виктор Григорьевич!

Появляется запыхавшийся Карташев. Он в штатском, но с противогазом через плечо.

Карташев. Наконец-то! Все вокзалы обегал! Здравствуйте, Аркадий Петрович!

Гайдар. Здравствуйте, Виктор Григорьевич!

Карташев (*протягивая Павлику сверток*). Вот,

Павлик, возьми. Тут сладкие пирожки и носки шерстяные.

Павлик. Зачем же мне носки, дядя Витя?

Карташев. Как зачем? На ноги. Скоро дожди, сырость...

Павлик. Что вы, дядя Витя! Не надо, я не возьму...

Карташев (*растерянно*). Очень хорошие носки! Теплые... И пирожки... Как же так?

Гайдар. Возьми, Павлик.

Павлик смотрит на Гайдара. Берет сверток.

Павлик. Спасибо, дядя Витя.

Карташев. Пожалуйста, Павлик. На здоровье! (*Помолчав.*) Аркадий Петрович, вы тоже на фронт?

Гайдар. Корреспондентом, Виктор Григорьевич. В действующую врачи не пускают.

Карташев. Вот и меня! Сердце... Был вчера в военкомате,— разговаривать не стали. Обидно! Хотя, конечно, вояка из меня неважный, но все-таки! Обидно! (*После паузы.*) Аркадий Петрович, мне бы хотелось сказать вам несколько слов.

Гайдар. Пожалуйста, Виктор Григорьевич... Пройдемся.

Карташев. Да, да... Идемте!

Отходят в сторону.

Мне немножко трудно... так сразу... Все это обрушилось так внезапно... Этот противогаз, бомбежки, мой Павлик в военной форме...

Гайдар (*негромко*). Внезапно, Виктор Григорьевич?

Карташев. Внезапно для меня! Вы думали об этом, а я... (*После паузы.*) Аркадий Петрович, я хочу вас поблагодарить... искренне... от всего сердца!...

Гайдар. За что, Виктор Григорьевич?

Карташев. За них! За Павлика, за Наташу, за Хозе. За всех моих и ваших учеников. Вы были правы, Аркадий Петрович! К сожалению, я слишком

поздно это понял... Они готовы к борьбе, и огромное вам за это спасибо!

Г а й д а р. Не мне спасибо, Виктор Григорьевич. Их воспитала Родина, перед ней они в долгу. И вот пришло время, когда они могут отдать ей этот долг сполна!

К а р т а ш е в. Да, да!.. Долг перед Родиной! (Помолчав.) Аркадий Петрович, у меня к вам большая просьба...

Г а й д а р. Слушаю вас, Виктор Григорьевич.

К а р т а ш е в. Я знаю, у вас большие связи среди высшего командного состава. Очень вас прошу, сделайте так, чтобы меня отправили на фронт. В любую часть, на любой участок! Солдатом, санитаром, сапером,— все равно!

Г а й д а р. Не могу, Виктор Григорьевич.

К а р т а ш е в. Аркадий Петрович, я — русский человек! Я люблю свою Родину... Я не могу быть сейчас в стороне, свидетелем... Поверьте мне!

Г а й д а р. Верю, Виктор Григорьевич! Но вы принесете больше пользы здесь. Вы — учитель. Опытный, хороший учитель. Вам растить и воспитывать будущих солдат! Это очень большое и нужное дело.

К а р т а ш е в. И вы доверяете его мне?

Г а й д а р. Теперь, вот такому, как вы сейчас,— доверяю, Виктор Григорьевич.

К а р т а ш е в. Спасибо! Я сделаю все... Я... Аркадий Петрович, разрешите пожать вам руку!

Г а й д а р. С удовольствием!

Слышна команда: «Становись!»

Это нашим!

К а р т а ш е в. Как, уже? (Бежит к Павлику.)

П а в л и к. До свиданья, дядя Витя! До свиданья, Аркадий Петрович! Наташа, до свиданья!

Х о з е. До встречи!

Г а й д а р. До встречи после победы! Дайте и я вас расцелую! Иногда целуются и солдаты.

Павлик и Хозе убегают. Карташев бежит за ними. На перроне строятся бойцы.

К о м а н д и р. По порядку номеров рассчитайсь!

За кулисами перекличка голосов. Счет доходит до Павлика, который замыкает шеренгу.

П а в л и к (звонко). Двадцать седьмой неполный!

К о м а н д и р. Отставить! Кто счет путает? Замыкающий двадцать шестой полный! По порядку номеров рассчитайсь!

Перекличка повторяется.

П а в л и к (растерянно). Двадцать седьмой неполный. . .

К о м а н д и р. Отставить! В чем дело? (*Вынимает из полевой сумки список.*) По списку двадцать шесть! Кто счет путает, я спрашиваю?

Х о з е. Разрешите сказать. Никто не путает. Тут еще один человек объявился. Вот стоит! (*Указывает на стоящего рядом с ним белобрысого паренька.*)

К о м а н д и р. Ты откуда взялся? Документы!

Гайдар тихо смеется.

Н а т а ш а. Что вы, Аркадий Петрович?

Г а й д а р. Ничего, Наташа. Это я так. . .

К о м а н д и р (*проверив документы.*) В порядке. Смирно! По вагонам шагом марш! . .

Правофланговые за кулисами запевают, все подхватывают:

Уходили, расставаясь,
Покидая тихий край,
Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай. . .

Н а т а ш а. И мне пора. . . Через десять минут отправление.

Г а й д а р (*взглянув на часы*). А у меня через двадцать. . . До свиданья, Наташа. . . До встречи в Ущелье Больших Огней!

Н а т а ш а. До встречи, Аркадий Петрович! (*Убегает.*)

Г а й д а р (*вслед*). Удачи тебе, Наташа!

Г о л о с Н а т а ш и. Спасибо! Пишите!

Г а й д а р. Куда?
Г о л о с Н а т а ш и. Не знаю!

Протяжный гудок паровоза, затихающая песня:

Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?
Все равно,—сказал он тихо,—
Напиши куда-нибудь...

Т е м н о т а.

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Землянка в партизанском стане. У стола, накинув на плечи ватник, сидит девушка-радистка и при свете фонаря налаживает что-то в приемнике. Вот она поднимает голову, прислушивается. В землянку входит А н д р е й к а — молодой партизан в ватнике, с автоматом на груди и гранатами у пояса.

А н д р е й к а. Радистам привет!

Г а л я. Ой, Андрейка! Наконец-то! А где Аркадий Петрович?

А н д р е й к а. К командиру пошел.

Г а л я. Там командира нет! Он с начальством по землянкам ходит.

А н д р е й к а. С каким начальством?

Г а л я. Из штаба армии прилетел... Большой, наверно, начальник! Знаков различия не видно: в пальто он кожаном. Но по всему видать — большой. Сам серьезный такой, а глаза смеются.

А н д р е й к а. Так уж и смеются? У тебя, Галя, только и есть, что смех на уме!

Г а л я. Да ей-богу же, смеются! Ну, может, не смеются, а улыбаются, это точно. Я же видела. Он со мной минут десять разговаривал.

А н д р е й к а. План наступления обсуждали?

Г а л я. Да ну тебя! Про Аркадия Петровича спрашивал!

А н д р е й к а. Про Аркадия Петровича?

Г а л я. Ага! Здоров ли, спрашивает, полковник Гайдар? Как он к вам попал, да когда?..

А н д р е й к а. Ишь ты... Интересуется, значит?

Г а л я. Интересуется.

А н д р е й к а. Немудрено! Нашего Аркадия Петровича, может, еще и не такие начальники знают!

Г а л я. А все-таки приятно. Вот бы мне так! Прилетает с Большой земли командующий или член Военного Совета и спрашивает у Горелова нашего: «Скажите, товарищ командир отряда, есть ли у вас партизанка Галина Тарасовна Петренко?» — «Как же, товарищ командующий, есть! Наша радистка». — «Ну, как ее здоровье? Как она себя чувствует?»

А н д р е й к а. Ничего, товарищ командующий, сегодня один котелок каши изволила выкушать!

Г а л я. Опять ты, Андрейка! И почему с тобой серьезно поговорить никогда нельзя?

А н д р е й к а. А ты не обижайся. С шуткой оно как-то воевать веселей! Вот мы сегодня с Аркадием Петровичем у дороги под дождем лежим и шутим, что на мокрых кур похожи, а курицами-то мы не оказались! Язычка-то приволокли!..

Г а л я. Ну да?! Вот молодцы!

А н д р е й к а. Офицера! Аркадий Петрович как резанет по машине из пулемета! Солдаты — кто полег, кто врассыпную, а офицер прямо в нашу сторону бежит! Ну, мы его, голубчика, и скрутили! Здорово Аркадий Петрович из пулемета бьет! Писатель, а пулеметчика такого поискать!

Г а л я. Я, когда в десятилетке училась, книжки его читала. Все думала, посмотреть бы, какой он! А тут в одном отряде воюем, каждый день встречаемся и ничего. Как будто так и надо!

А н д р е й к а. Веселой души человек! И храбрость-то у него какая-то веселая. И чего ты смотришь, Галя? Был бы я дивчиной, влюбился бы, ей-богу!

Г а л я. Андрейка! Ну, держись! Сейчас я тебе покажу! *(Гонится за Андрейкой по землянке.)*

А н д р е й к а. Сдаюсь!

Входит Г а й д а р. Он тоже в ватнике. У пояса — пистолет, через плечо — ремень неизменной полевой сумки.

Г а й д а р. Противник бежит! Давай, Галя, наступай на пятки.

Г а л я. Здравствуйте, Аркадий Петрович!

Г а й д а р. Здравствуй, Галочка! Сводку приняла?

Г а л я. Нет, Аркадий Петрович. Лампы перегорели. Только что наладила.

Г а й д а р. Ну, вечерние известия поймал. Что нового?

Г а л я. С Большой земли начальник прилетел.

А н д р е й к а. Вас спрашивал.

Г а й д а р. Меня?

Г а л я. Ага! Так прямо и говорит: где тут у вас полковник Гайдар? Он с Гореловым по землянкам ходит, с ребятами разговаривает.

Г а й д а р. Интересно, кто бы это? Пойду...

Направляется к дверям и сталкивается с входящим в землянку
С у х а р е в ы м.

Смирно!

С у х а р е в. Вольно! Здравствуй, полковник! Ну, что ты, как столб, стоишь? Не узнал?

Г а й д а р. Иван Степанович!.. Здравствуйте, товарищ член Военного Совета!

С у х а р е в. Я же «вольно» скомандовал, что же ты по всей форме обращаешься?

Г а й д а р. Как положено, товарищ член Военного Совета.

С у х а р е в. Ой, хитришь, Аркадий! Чувствуешь, наверно, что разнос тебе будет, вот и дисциплину свою показываешь. Так, что ли?

Г а й д а р. Точно, Иван Степанович! Психолог из вас великолепный!

С у х а р е в. Не подлизывайся! (Гале.) Тебя как зовут, радист?

Г а л я. Петренко, Галина Тарасовна, товарищ член Военного Совета!

С у х а р е в. Ишь ты! Ну вот что, Галина... Дождь прошел, звезд на небе тьма тьмущая! Забери с собой этого молодого орла... (Андрейке.) Тебя как величать?

А н д р е й к а. Андрей Хвыля, товарищ член Военного Совета.

Су х а р е в. Так вот. Забирай этого самого Хвылю и идите погуляйте, что ли, а мы тут с полковником потолкуем.

Га л я. Есть идти погулять, товарищ член Военного Совета!

Галя и Андрейка уходят.

Су х а р е в. Ну, рассказывай.

Га й д а р. Что рассказывать-то, Иван Степанович?

Су х а р е в. Все рассказывай! Почему к партизанам забрался? Кто тебе разрешил газету бросать? Почему родных и друзей беспокоиться заставляешь? Что ж молчишь?

Га й д а р. Иван Степанович, так ведь я...

Су х а р е в. С армией в окружение попал?

Га й д а р. Да.

Су х а р е в. А место в самолете тебе, как корреспонденту и писателю, предлагали?

Га й д а р. Предлагали.

Су х а р е в. А ты?

Га й д а р. А я не полетел...

Су х а р е в. Почему? Геройство свое показываешь?

Га й д а р. Какое же геройство, Иван Степанович! Все воюют, а я что... Хуже других, что ли?

Су х а р е в. Ты мне на всех не кивай. И не прикидывайся: отлично все понимаешь, не маленький. Ты — писатель! И, не сейчас тебе это говорить, — хороший писатель. А что сказал товарищ Сталин Чкалову, ты помнишь?

Га й д а р. Помню...

Су х а р е в. Что?

Га й д а р. Люди нам дороже всего.

Су х а р е в. Так что же, по-твоему, Иосиф Виссарионович об одном Чкалове думал, когда говорил эти слова? А как нашим командирам за лишние людские потери влетает, ты знаешь?

Га й д а р. Знаю.

Су х а р е в. Плохо знаешь! Из полковников в рядовые за это попадали. И правильно! В общем раз-

говаривать мне с тобой долго некогда. Собирайся, полетишь со мной!

Г а й д а р. Не полечу, Иван Степанович.

С у х а р е в. Что?!

Г а й д а р. Не полечу. Не могу я сейчас лететь!

С у х а р е в. Это почему же?

Г а й д а р. Не могу! Было бы на фронте полегче, — полетел бы. Не могу я сидеть в тылу, когда моя земля кровью обливается! Иван Степанович, даю честное слово большевика, как начнется наступление, — вернусь в газету! А сейчас не могу! Что хотите со мной делайте, — не полечу!

С у х а р е в. Так...

Входит А н д р е й к а.

А н д р е й к а. Товарищ член Военного Совета, разрешите обратиться?

С у х а р е в. Обращайтесь.

А н д р е й к а. Командир приказал передать, что пилот просит вылетать. Туман сильный надвигается.

С у х а р е в. Хорошо. Передайте, что сейчас буду.

А н д р е й к а. Разрешите идти?

С у х а р е в. Идите.

Андрейка выходит.

Значит, не полетишь?

Г а й д а р. Не полечу, Иван Степанович.

С у х а р е в. Что родным передать?

Г а й д а р. Передайте, что жив, здоров... Что скажу очень. Сына поцелуйте...

С у х а р е в. Хорошо. (У дверей.) До свиданья!

Г а й д а р. До свиданья, Иван Степанович! Вы не сердитесь.

С у х а р е в. Нужен ты мне, еще сердиться... Да иди ты сюда!.. Что ты там встал, как статуя? Давай руку!

Г а й д а р. Иван Степанович!..

С у х а р е в. Ну что, Иван Степанович? Иван Степанович из-за тебя теперь неделю спать не сможет! И в кого ты такой безрассудный уродился?

Г а й д а р. В вас, Иван Степанович! Честное слово, в вас!

С у х а р е в. Не ври, я — человек солидный! Слушай, Аркадий... я не умею всякие такие слова говорить, но прошу тебя... Ты не очень, понимаешь?.. Не того... Не зарывайся... Если что случится, то я... Ну, в общем, чего там... Будь здоров! Не надо, не провожай! *(Быстро выходит.)*

Г а й д а р. Иван Степанович! *(Бежит за Сухаревым. В дверях останавливается, смотрит вслед ушедшему, потом медленно идет к столу. Садится.)*

Входят Г а л я и А н д р е й к а.

Г а л я. Аркадий Петрович, что это с членом Военного Совета?

Г а й д а р. А что?

Г а л я. Да он идет, бормочет что-то и лицо от всех отворачивает. Рассердился он на вас здорово, да?

Г а й д а р. Наверно рассердился, Галя.

Г а л я. За что же?

Г а й д а р. Он мне на Большую землю лететь приказывал, а я не послушал...

А н д р е й к а. Зря! Дома бы побыли, с родными повидались.

Г а й д а р. Дома я, Андрейка, после войны побуду. И вас в гости позову. Посидим, поговорим, отряд наш вспомним... *(Негромко поет.)*

Вспомним, как бывало, песни пели мы,
Сидя у походного костра...

Г а л я	}	Как ночами мерзли под шинелями, Чтобы в жаркий бой идти с утра...
А н д р е й к а		

Слышен гул самолета.

А н д р е й к а. Полетели!..

Г а л я. До самой Москвы! Посмотреть бы хоть одним глазочком, какая она... Все собиралась съездить, да война помешала. Красивая, наверно...

Г а й д а р *(негромко)*. Красивая, Галя... Очень красивая! Сейчас осень. Моросит дождь... В мокром

асфальте отражаются огни затемненных фар... И мой, уже совсем взрослый, сын Тимур, уходя по утрам в школу, наверно долго стучит в прихожей ногами, забивая их в тесные галоши... (Помолчав.) Настрой приемник, Галя: скоро сводка.

Г а л я. Настроила, Аркадий Петрович. А вы скажите еще чего-нибудь...

Г а й д а р. Что же тебе рассказать?

Г а л я. Про Москву. Какое там самое красивое место?

Г а й д а р. Самое красивое? Красная площадь! Самое красивое и самое дорогое! Там Кремль. Там живет и работает Сталин! Сейчас окна Кремлевского дворца закрыты маскировочными шторами и не сверкают на башнях рубиновые звезды, но мы все равно видим этот свет даже отсюда! И не мы одни. Его видят все люди на нашей земле и во всем мире! Такой уж это свет, друзья мои! И все люди мира с надеждой слушают каждый день слова...

Слышатся позывные Москвы. Голос диктора: «Внимание! Говорит Москва!»

Т е м н о т а.

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

Полотно железной дороги. Верстовой столб с надписью: «Канев — Золотоноша». За высокой насыпью, покрытой сухими желтыми листьями, чернеют голые ветви одного дерева. Слышен отдаленный лай собак. Из-за насыпи показывается голова в кожаном шлеме, потом и сам человек в синем комбинезоне с автоматом в руках. Это П а в л и к. Он оглядывается по сторонам и бережно втаскивает на насыпь раненого Х о з е. Лай приближается.

П а в л и к. Осторожнее ногу, Хозе... Сейчас спустимся... Вот так... Ну, теперь они нас живыми не возьмут!

Х о з е. Павлик, уходи! Оставь мне запасной диск и уходи! Слышишь?

П а в л и к. Никуда я не пойду!

Х о з е. Нет, пойдешь!

Павлик. Замолчи! Их там человек двенадцать, не больше... Отобьемся!

Хозе. Их больше, Павлик... Зачем ты говоришь неправду!

Павлик. Ну, пускай больше... Все равно отобьемся! А нет — так умрем вместе!

Хозе. Незачем! Уходи, Павлик...

Павлик. Если ты еще раз скажешь это, я тебя ударю. Честное слово!

Лай удаляется.

Слышишь, Хозе! Собаки сбились со следа!

Хозе. Найдут...

Павлик. Не найдут! Ползем в тот лесок! Ну, обхвати меня рукой... Так... Поехали!

Ползут в сторону насыпи, но через несколько секунд останавливаются.

А, чорт!

Хозе. Видел?

Павлик. Видел... Неужели обошли? Приготовь гранаты! Почему же их только двое?

Хозе. Сейчас остальные подойдут!

Павлик. Стрелять по моей команде!

Хозе. Есть!

Павлик. Ну, идите, идите... Готов, Хозе?

Хозе. Готов.

Павлик. Еще секундочку... Подожди, Хозе! Это, кажется, наши! Видишь, в ватниках?

Хозе. Это еще ничего не значит.

Павлик. Сейчас проверим... (Кричит.) Стой! Руки вверх!

Хозе. Залегли...

Павлик. Зря окликнул... Сюда ползут! Двое на двое! Ну, посмотрим кто кого! Бери левого, Хозе...

Хозе. Есть!

Павлик. Так (Вдруг.) Не стреляй, Хозе! Звездочка на шапке! Видишь, вон у правого...

Хозе. Вижу! Неужели наши?

Павлик. Остановились... Что же делать? Руки поднимать не будем?

Хозе. Ни за что!

Павлик. Как же им дать знать, что мы свои? Споем, Хозе!

Хозе. Что?

Павлик. Споем! Они поймут.

Хозе. Давай!

Павлик. Нашу! *(Негромко запекает, Хозе подхватывает.)*

Пусть ветер бьет в лицо, бушует злая выюга,
Пусть на твоём пути лихих преград не счесть,
Иди вперед смелей...

Бежит сюда! Второй за ним! Приготовь гранату на всякий случай... Ой, Хозе! Что это? Брось гранату! Ура!!

Хозе. Что с тобой?

Павлик. Смотри!

Вбегает Гайдар, за ним Андрейка.

Гайдар. Кто пел?

Павлик. Мы, Аркадий Петрович!

Хозе. Это мы!

Гайдар. Павлик? Хозе! Мальчишки мои!.. Это что же такое? Как же это?.. Мы же вас чуть не подстрелили!

Павлик. Нет, это мы вас чуть не подстрелили!

Гайдар. Ах вы, мои дорогие! Как же вы здесь?

Павлик. Десантники! Нас к партизанам сбросили! А вы как, Аркадий Петрович?

Гайдар. Так я и есть партизан! Вас ко мне сбросили! К нам!..

Хозе. Как к вам? Вы же корреспондентом были?

Гайдар. Был, Хозе, был, дорогой! А теперь партизан.

Павлик. Ничего не понимаю!

Гайдар. И понимать нечего, Павлик. Все просто. Попал в окружение с армией. Кто через фронт пробивался, кто к партизанам ушел. Ясно? Ну, пойдемте, родные! Мы из разведки возвращаемся. Пойдемте в отряд. Там потолкуем. Вставай, Хозе!

Хозе. Сейчас. *(Подымается с трудом.)*

Г а й д а р. Что с тобой?

Х о з е. Ранен... немного...

П а в л и к. Нас обнаружили при спуске. Еле отбились! С собаками гнались!

Г а й д а р. Так это за вами погоня была?

П а в л и к. За нами.

Г а й д а р. Так... Мы тебя снесем, Хозе. Давай, Андрейка!

П а в л и к. Что вы, Аркадий Петрович! Я его сам!

Г а й д а р. С тебя хватит! Пошли!

Отдаленный лай собак.

П а в л и к. Слышите?

Г а й д а р. Слышу.

П а в л и к. Опять на след напали!

Лай приближается.

А н д р е й к а. Вот гонят!

Г а й д а р. Скорей, други! Через насыпь махнем и оврагами! Вперед!

Лай громче.

Г а й д а р. Андрейка, на насыпь! Посмотри!

А н д р е й к а. Есть! (*Лезет на насыпь и тут же скатывается вниз.*)

А н д р е й к а. Рядом!

Г а й д а р. Назад!

Бегут. Пулеметная очередь.

Ложись!.. Засада! Пулемет в леске...

Громкий лай собак. Над насыпью показывается фигура немецкого солдата. Гайдар стреляет. Солдат падает. Голос: «Зих эргобен!»

Х о з е. Что это он?

Г а й д а р. Сдаваться предлагает! Ну вот что, други, лежать нам тут нечего! Назад нельзя — там пулемет. Значит, вперед!

П а в л и к.

А н д р е й к а

Х о з е.

} Вперед!

Г а й д а р. Хозе последний! Павлик с ним!.. За мной! (*Подняв автомат, взбегает на насыпь. Пулеметная очередь. Гайдар медленно оседает на землю.*)

Павлик. Аркадий Петрович!
Гайдар. Вперед, друзья! За Родину!.. Вперед!..
(Падает.)

Темнота.

Музыка. Она звучит все громче и шире и из тревожно-скорбной перерастает в сильную и торжественную.

ЭПИЛОГ

Окруженный молодыми зелеными деревьями светлый двухэтажный дом. Над дверью вывеска: «23-я мужская средняя школа имени Аркадия Гайдара». У крыльца — Карташев, рядом с ним Павлик, Хозе, Наташа. Павлик в темном костюме с Золотой звездой Героя Советского Союза; Хозе в форме летчика с орденой планкой на груди; Наташа в кителе и фуражке штурмана дальнего плавания. В руках у нее букет цветов.

Карташев. Вот мы и встретились, друзья мои! Как плавалось, Наташа?

Наташа. Спасибо, Виктор Григорьевич, хорошо!

Хозе. Ей-то хорошо, вы спросите — каково мне?

Карташев. Скучаешь?

Хозе. Конечно! Я дома, она в море. Она возвращается, я улетаю. Разве это жизнь?

Наташа. Жизнь, Хозе! И еще какая!

Павлик. Да, это жизнь! Мы опять вместе, и все мечты сбылись. Эх, если бы Аркадий Петрович был с нами!

Карташев. Он с нами, друзья!

Слышится песня.

Наташа. Что это?

Хозе. Наша песня!

Появляется группа школьников. Они в красных галстуках со звездочками на груди.

1-й школьник. Виктор Григорьевич, разрешите рапортовать?

Карташев. Рапортуйте.

1-й школьник. Задания выполнены, обязан-

ности на завтра люди знают, наш знак появился еще в пяти пунктах.

К а р т а ш е в. Хорошо! Можете быть свободны!

1-й школьник. Есть быть свободными! Становись!

Школьники строятся.

По порядку номеров рассчитайсь!

Переключка голосов.

З а м ы к а ю щ и й. Одиннадцатый!

1-й школьник. Отставить! Почему одиннадцать? Кто счет путает?

З а м ы к а ю щ и й. Никто не путает! Тут еще один человек объявился. Вот стоит!

(Указывает на стоящего рядом с ним маленького черноволосого мальчугана.)

1-й школьник. Ты откуда взялся?

Мальчуган молчит.

Ну, что молчишь? Ты кто такой?

М а л ь ч у г а н. Я — тимуровец!

1-й школьник. Тимуровец? Да какой ты тимуровец! Ты же еще второклассник!

М а л ь ч у г а н. Нет, тимуровец! Я десять килограммов лому сдал!

1-й школьник. Какого такого лому?

М а л ь ч у г а н. Железного! Какого!? Вот справка!

1-й школьник (проверив справку). В порядке. Отвага? Дружба?

М а л ь ч у г а н (звонко). Честь! Победа!

1-й школьник. Правильно! Смирно! Тимуровская команда, шагом марш! (Запевает.)

Все подхватывают:

Пусть ветер бьет в лицо, бушует злая вьюга,
Пусть на твоём пути лихих преград не счесть,
Иди вперед смелей, плечом почувствуй друга
И знай, что победят Отвага! Дружба! Честь!

Т е м н о т а.

У Т Р О М

Рассказ

Мы сидим возле моста: Алексей — на бревне, а я — на ящике своего теодолита. Мне нужна попутная машина, и я не свожу глаз с дороги.

Пятый час утра. Уже рассвело, небо над березовой рощей порозовело, но солнце еще не показывается.

Птицы спят. В деревне, растянувшейся вдоль оврага, в крайней избе затопили печь, и тонкий, волокнистый дымок покойно тянется вверх.

Изредка доносятся тупые звуки взрывов: возле плотины рвут лед. Явственно слышно, как тараторят колеса поезда, словно железная дорога совсем рядом, за ближним пригорком. А на самом деле поезд идет далеко-далеко, и не за пригорком, а в противоположной стороне, возле рощи, там, где виднеются прозрачные мачты высоковольтной передачи и новая труба кирпичного завода.

Стучит поезд, на откосах журчат ручьи, ухают вдали взрывы, и, несмотря на это, все вокруг, от земли до самого неба, наполнено спокойной утренней тишиной.

Она царит над рекой, над полями и крышами деревни, над рощей, надо мной, над Алексеем, и никакой шум не может спугнуть эту особенную неподвижную тишину, торжественную тишину ожидания солнца.

Алексей, парень лет двадцати трех, сероглазый и светловолосый, с широкими округлыми плечами и

гладким, блестящим лицом, словно только что умытым студеной водой из проруби, неторопливо насаживает пешню на шест и косится на снежную поверхность реки, покрытую темными пятнами. Ему поручено следить за мостом. За ночь он разобрал перила и перетаскал брусья и стойки метров за пятьсот, на горку, чтобы их не снесло в половодье. Вода в этом году будет высокая. Лед может пойти выше настила.

Делать Алексею пока что нечего, и он медленно, стараясь протянуть работу, остругивает топором шест пешни, и колечки стружки висят на его брюках. На нем кепка, надетая наискосок, и стеганый ватник нараспашку.

— А машины все нет...— говорю я, с беспокойством поглядывая на реку.

— Нету,— равнодушно соглашается Алексей.

— Лед пойдет, тогда ведь не проехать?..

— Конечно, не проехать.

— А вдруг лед пойдет раньше, чем машины будут. Тогда мне здесь двое суток загорать.

— Двое, а то и трое.

— Ну вот...

— А ты не беспокойся. Две машины пойдут. Васька из «Первой пятилетки» на своем драндулете за суперфосфатом поедет. Они всегда в последний день хватятся. И директор МТС машину за соляркой pošлет. Этот директор человек крепкий,— если надо, так он не посмотрит, ледоход там или не ледоход. Прикажет привезти солярку — и больше ничего.

Говорит Алексей тихо, как будто нехотя, и между каждым его словом я слышу тишину апрельского утра. Сыро и прохладно. Солнца все еще нет. В сером небе виден тающий месяц.

— Идет,— неожиданно произносит Алексей и перестает строгать.

— Кто?

— Моя. Кто же еще в такую рань вскочит.

Я прислушался. Поезд давно прошел. Взрывы кончились. И только ручьи, наперегонки сбегая в реку, попережнему позванивают на откосах.

— Ишь, как торопится,— Алексей ласково усмехнулся.

— Это тебе показалось.

— погоди. Сейчас и тебе покажется. Ясно, Дуська идет.

И правда, вскоре из-за пригорка появилась торопливо шагающая женщина в белом полушубке, сшитом в талию, и в валенках с красными калошами. В руке у нее — узелок. Видно, что Алексею приятно и то, что она встала так рано, и то, что торопится к нему с завтраком, но он старается скрыть это от меня и делает хмурое лицо.

— Я думал свежие, а это все те же,— говорит он жене.

Дуся ничуть не обижается.

— Простынешь. Застегни хоть ворот-то.

— Не простыну. Талый воздух самый сытный. Силы наглотаюсь и больше ничего,— отвечает Алексей, но все-таки застегивает воротник.— Чего принесла?

— Чего велел, то и принесла. Двинься-ка.

— Ничего. Ноги молодые. Постоишь,— говорит Алексей и двигается.

Дуся садится рядом, разворачивает узелок и достает из кармана соль, завернутую в бумагу так, как в аптеке заворачивают порошки.

Лицо ее закутано в полушалок, и видны только серые, по-ребячьи любопытные глаза и вздернутый нос.

— Вот гляди,— она достает крынку и свертки,— здесь молоко, здесь хлеб, яички. Скорлупу, гляди, не выбрасывай, домой снеси...

— Ну вот еще. Буду я скорлупу собирать.

— Да и сам поскорей приходи.

— Ага. Соскучилась!

— Больно надо по тебе скучать. Хорошо хоть в избе не курено.

— Ну и ладно,— с трудом сохраняя серьезный вид, говорит Алексей.— Мне, видать, придется еще суток двое тут сидеть.

— Это почему? — пугается Дуся.

Испуг ее так искренен и неожидан, что Алексей не может удержаться от смеха.

— Да ну тебя к шутам, — Дуся машет рукой, поняв, что он шутит. — Ишь ты, какой зубоскал. Не думай, не напугалась. Живи здесь хоть неделю, мне-то что... Хоть бы угостил землемера-то. Тоже, наверно, сидит не евши.

Она хочет переменить разговор, а Алексей все смеется. Становится смешно и мне.

— А ну вас... — говорит Дуся, смущаясь. — Конечно, отвыкла одна в избе ночью... Боязно... Ну, я пошла.

Попрощавшись со мной, она отправляется домой, и скоро шаги ее затихают за пригорком.

— Вот уже порядочно живем вместе, скоро год, а она без меня часу побыть не может...

Я вижу, что Алексей хочет добавить еще что-то, думает, колеблется и не решается. Я вытаскиваю свои сплюснутые бутерброды, и мы начинаем завтракать.

Из-за рощи поднимается большое красное солнце. Не видно ни трубы кирпичного завода, ни мачты высоковольтной передачи, — все расплавилось в розовом восходе.

Откуда-то появился жаворонок. Громко вереща, он суматошно летает в разные стороны над самой пашней, изредка подпрыгивая в воздухе, словно обжигаясь о землю.

— Она у меня герой... — вдруг говорит Алексей.

— Я вижу, — отвечаю я, не поняв сначала, в чем дело.

— Да нет. Не то, что сорви-голова или, там, бойкая девка. Настоящий герой. Герой Социалистического Труда. Вот они, ее звезда и орден.

Он достал бумажник, опоясанный резинкой и вынул из него Золотую Звезду.

— У меня тут надежнее. А то Дуська каждый день прячет, в одно место, в другое, а когда надо, не знает, где искать. Один раз она эту звезду в коробку из-под конфет положила, коробку — в испорченный

патефон, а патефон — в сундук, на самое дно. А потом, как на комсомольское совещание ехать, так и не найти было. Она всю избу на дыбы поставила. Велела теперь мне сохранять.

— За что ее наградили?

— За гречку. Гречневую-то кашу едал? Вот эта самая и есть — гречка. Она у нас самая привередливая культура. Эта культура ни холода, ни тепла не переносит. В холодное лето — померзнет, в жаркое — от солнышка сгорит. Маялись мы с ней, сеяли ее в три срока: сперва сеяли сразу, как только снег сойдет, потом еще раз, а потом чуть не летом. И, смотря по погоде, то ранняя выживает, то поздняя. А в позапрошлом году спустили нам план на гречку в пять раз больше, чем всегда. Мы — все правление — сильно призадумались. Одна Дуська смеется. Тогда я мимо Дуськи безо всякого внимания проходил. Так, вижу, бегают туда-сюда девчонка маленькая, вот этакая, да на комсомольских собраниях стрекочет без перерыва, и больше ничего. А эта Дуська бегала-бегала и надумала такую гречку, которая солнышка не боится. Надумала она ветвистую гречку. Как бы это объяснить лучше... Знаешь дерево — тополь? Есть такая открытка под названием «Украинская ночь», на ней нарисован тополь. Так вот — нормальная гречка вроде тополя, а Дуськина, ветвистая, вроде дуба. У нее сверху листики ровно зонтик, а под этим зонтиком, в тени — зерно.

— Это что, другой сорт, что ли?

— Нет, зачем другой сорт. От тех же семян. На поле мы ее тесно сеяли, все равно как рожь там или пшеницу. Ей простору не было. А если ее посадить рядками, через полметра рядок от рядка — станет тогда она ветвистая. Такую гречку три раза сеять не надо, ее солнышко не спалит. Вот когда мы на колхозном собрании обсуждали свои дела, Дуська встала и просит, чтобы разрешили ей с девчатами сеять гречку один раз, в поздний срок, и обещается собрать пятнадцать центнеров с гектара.

— Ты, конечно, поддержал ее?

— Да, видишь, тут какое дело... Я тогда про ее опыты с гречкой ничего не знал. Ну, а так, на слово, я не верю. Как только она выговорилась и села в президиуме, я встал и начал ее стыдить. Мы ориентируем народ, чтобы сев кончить как можно раньше, а она, глядите-ка, просит, чтобы ей сеять попозже. А всем известно, что гречиху пожжет солнце, сади ее хоть через полметра, хоть через метр. Сегодня Дуська какую-то неведомую ветвистую гречку придумала, а завтра шестиногую козу выдумает,— а мы должны потакать?...

Смотрю — народ смеется. Тут я, дурной, начинаю еще сильнее высказываться... Я всегда, когда говорю на людях, так руку закладываю за пиджак, чтобы она у меня воздух не рубала, а тут и про руку забыл, машу направо и налево, и больше ничего. Дескать, не может быть никакой ветвистой гречихи.

Вижу — наши еще сильнее смеются. Тут я понял, — что-то не то. Уж не надо мной ли? Осмотрелся. Все у меня в порядке. А они все смеются. Дедушку Степана так завело — уже и дышать не может.

Я совсем спутался, стою, молчу, ничего не понимаю. А Дуська, оказывається, у себя на огороде для опыта посадила несколько кустиков рядками через полметра, и выросла у нее ветвистая гречка. И пока я говорил, она достала кустик своей гречки, пересаженный в горшок, и поставила за моей спиной на стол президиума. Я распинаясь, что такой гречки быть не может, а гречка стоит, и все кроме меня ее видят. Так и молчу, не понимаю, с чего смеются. Наконец догадался оглянуться назад и язык-то закусил.

А председатель колхоза, у нас такой Иван Никифорович, гогочет на всю горницу, стучит карандашом и приговаривает: «Высказывайся, Леша, высказывайся, не обращай внимания».

Конечно, надо мне было за такие насмешки на Дуську озлиться, но уж сам не знаю, почему получилось наоборот. С того самого вечера обратил я на нее внимание... Да тебе, наверное, слушать скучно? Ведь это все сельскохозяйственная техника...

Я попросил рассказывать дальше.

— Ну ладно. Раньше видел ее каждый день, глядел, как она «Семеновну» танцует, глядел, как бахчевод Павлушка ее на велосипеде катает, и больше ничего. А здесь вот, с того самого вечера, — сбился. Конечно, первое время вида не подавал.

Стали сеять по ее способу. Я, сколько мог, помогал ей: то скажу, чтобы получше коней выделили, то в МТС договорюсь, чтобы культивацию им провели в первую очередь. Танцевать научился. Вечером соберемся, песни играем, я с ней потанцую немного, доведу до избы, как полагается, а виду не подаю. Шут ее знает, как она догадалась, но вижу, что догадалась. Как вдвоем с ней останемся, — насторожится и молчит. Неловко ей со мной. Ну, раз догадалась, так уж нечего тут. Я и сказал ей все честно, по-комсомольски. А она сказала: «Боюсь я тебя, Лешка. Больно у тебя много характеру. А я тоже нипочем не уступаю. Не пара мы с тобой». И ушла. А в воскресенье снова Павлушка катал ее на велосипеде.

Я тогда решил — все. Раз не хочет, — значит, все. На танцы ходить перестал. Сижу вечерами дома и читаю, читаю беспрерывно, а все кажется Дуська вот тут рядом сидит и в эту же книжку смотрит. Я тогда даже поглупел малость. Поверишь ли: в зеркало стал глядеться. Век не гляделся, а тут подойду к зеркалу и гляжу, гляжу, на нос погляжу, на глаза, на губы и думаю: «Да, только у тебя, Лешка, и есть, что характеру много, а больше и нет ничего». Мать — и та заметила. Спрашивает: «Что это ты, Лексей, все в зеркало глядишь. Или прыщи у тебя повыскакивали...» Галстук в сельпо купил. Не люблю я этих галстуков — шею душат. А вот купил. Ходил к учителю за консультацией, как его, чорта, привязывать. Привязал, — опять в зеркало гляжу и не пойму — лучше или хуже стало. В город, помню, на комсомольский актив поехал. Сижу в полуторке, гляжу на дорогу. И как попадетсЯ кто-нибудь на велосипеде, так у меня зубы скрипят. Не мог я видеть велосипедов, и больше ничего. Вот она как меня довела.

Пришло лето. Дни стояли жаркие. Бывало, проснешься утром, распахнешь окно, высунешь руку на волю, словно в теплую воду окунешь. Гречка у Дуськи росла с каждым часом. На комсомольском поле — как будто кругом молоко разлито — белый цвет гречки. Даже глазам больно. Бабочки мелькают. Сердце радовалось глядеть на это поле.

Однажды я пришел туда, когда Дуська и все ее девчата пололи.

— Чего это ты каждый день к нам повадился? — спросила Дуська.

Встала она против меня, рукава засучены, в руках по кусту пырея, и глядит мне на галстук, и глазами усмехается. «Ишь ты, думаю, какая. Один на один молчишь, робеешь, а на людях так смеешься. Ладно, сейчас я тебе и при людях покажу, зачем каждый день на поле бываю. Как будто я людей испугался». В общем сгреб я ее в охапку да и поцеловал. Она бьется, отворачивается, да от меня и мужику нелегко отбиться.

Девчата визжат, смеются, а я целую и больше ничего. Вижу — сейчас заревет, — выпустил. Стоит она красная, трепаная, косынка на спину сбилась. «Вот гляди, сколько гречки стоптал, сколько вреда наделал!» — сказала она. Я отвечаю, что, мол, ничего, пользы больше принес. Ведь помогал им. «Помогал! Как увидел, что гречка рекордная растет, так и начал про свою помощь звонить. А ты вспомнил, что на собрании городил?» Я начал было отвечать, а она и говорить не дает: «Нужна нам твоя помощь, как пятое колесо. И без твоей помощи обойдемся. А то как увидел гречку, так и начал подмазываться к чужому делу». Хотела она меня обидеть или так, сгоряча сказала, не знаю, но меня ее слова сильно ударили. «Ты, говорю, смотри, не заговаривайся, Дуська. А то ни разу больше не подойду». «А я тебя и сама на свой участок не пушу. Знаю — чужими руками хочешь почет заработать». Еще сильнее ударили меня ее слова, и, чтобы не сказать чего-нибудь дурного, я в кровь закусил губу, но поднял гре-

бень, сунул его Дуське в руку и только тогда ушел. «Ну все, думаю, пускай сами работают».

И в тот же день, как нарочно, хватились девчата, что пчел нехватает для опыления этой гречки. Стали ездить в колхоз «Победа», вон туда, за реку, просить, чтобы пасеку переставили на наши поля. А в «Победе» не дают! И председатель ездил, и Павлушка на своем велосипеде, и сама Дуська — не дают. Вижу — дело плохо. Председатель ругается. Дуська ревет. А мне ехать в «Победу» никак нельзя. Дуська подумает — подмазываюсь. Но на другой день решился. Взял вечером нашу полуторку и поехал в «Победу», у меня там дядя двоюродный живет, Федор Никитич, у него пасека на двенадцать ульев. Сидел я у него часов до одиннадцати, объяснил, что ему же самому будет польза. Ведь гречишный мед — самый сладкий. Дядя то соглашался, то нет. А его жена, Пелагея Степановна, вовсе не соглашалась. Наконец она ушла спать, а одного-то Федора Никитича я уговорил быстро. Погрузили мы с шофером колоды, привезли ночью, и тут же, за ночь, поставили их на гречишных полях. Я попросил шофера не говорить никому, а особенно Дуське, о том, что это я привез, и пошел в избу. Устал я тогда сильно, вошел в горницу и сразу, не раздеваясь, кинулся спать. Немного поспал, слышу, будят. Встряхнулся. В избе светло. Мамы нет. А около постели стоит Дуська и глядит на меня так, как еще никогда не глядела.

— Леша, — говорит она, — кто ульи привез?

— Не знаю, — отвечаю я и поворачиваюсь на другой бок.

— Ты только не сердись, Леша, — сказала она. — Пелагея Степановна приехала.

— Зачем?

— Ульи обратно забрать. Ругается.

— А ты не давай! Федор Никитич хозяин...

— И Федор Никитич с ней здесь, на поле.

— Ну и что?..

— Что же. Он грузит, а она командует.

— Эти улы, кажется, Василий Иванович — шофер привез. Сходи к нему, пусть он разберется.

— И Василий Иванович там. Ничего не помогает.

Я хотел было вскочить, но Дуська нагнулась и прислонила к моей щеке свою холодную щеку. Потом сказала на ухо: «Хороший ты, Леша, красивый ты, да разве можно так-то, при всех...» и выбегла на улицу, чуть маму в дверях с ног не сбила.

Я сел на кровати. Сижу. «Наконец-то, думаю, ей моя физиономия приглянулась». Мама вошла с подойником, поглядела на меня и встала, как вкопанная. «Что это с тобой, Алексей?» — сказала она. «А что?» «Посмотри-ка в зеркало»... Я глянул и ахнул. Вся рожка перекошена. Пчелы ночью перекусали. Губа вздулась, под глазом вот такая шишка голубая, ровно чернилами вымазан... Дуська, увидев такую морду, сразу, конечно, догадалась, кто пчел привез, а ничего не сказала. Хитрая. Ну, умылся, пошел на поле. Федор Никитич со своими пчелами уже уехал. Девчата стоят, руками разводят. Но скоро вышли из положения. Надумали они искусственно опылять гречку — веревками. Навешали на веревку тряпок, взялись за концы и тянут тряпки по цвету. Опыление получается не хуже, чем от пчел... Да тебе слушать неинтересно про эту нашу сельскохозяйственную технику...

Алексей умолкает и начинает аккуратно собирать яичную скорлупу в бумагу. Солнце уже высоко, и снова видно трубу кирпичного завода, розовую, как очищенная морковка, и словно вычерченную на небе мачту высоковольтной передачи. Река вздувается...

— Вот она, и машина идет, Васька из «Первой пятилетки» едет, — говорит Алексей. Я еще ничего не слышу, но радостно начинаю собираться. Вскоре действительно подходит машина. В кабине, к сожалению, два человека. Я грузу рейки, треногу, теодолит и, попрощавшись с Алексеем, забираюсь в кузов. Мы едем весенними полями и рощами, и я долго думаю о новой красоте человеческой...

ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДА

Рассказ

Я люблю ездить на дальних поездах.

Особенно хороши первые часы пути, когда, разложив вещи, пассажиры усаживаются, наконец, внизу и начинают рассказывать, кто куда едет, по каким делам, начинают знакомиться и приятно поражаться, случайно удостоверившись в том, что имеют общих друзей, или в том, что сражались на одном фронте.

А в это время приходит усатый проводник, который на посадке со строгим, каменным лицом проверял билеты, проверял до того долго и сердито, что так и казалось — сейчас скажет, что нехватает какого-нибудь талончика, да и не посадит. Постилая постели, журит он виновато притихших пассажиров за небрежно брошенный рядом с пепельницей окурок, журит незлобиво, добродушно, словно балованных детей своих.

А за окнами, на фоне безоблачного, гладкого неба, плавно, медленно сдвигаются и раздвигаются провода, и от этого кажется, что поезд идет тихо. Но вот со страшной быстротой мелькает телеграфный столб, и бывалый командированный, знающий все, вплоть до цены моченых яблок в Чернигове, сообщает, что идем под уклон со скоростью шестидесяти километров в час.

Незаметно наступает недолгий вагонный вечер. Командированный разбирает постель, ворочаясь на второй полке, как шахтер в забое. В сумеречной глубине дальнего купе тихо-тихо наигрывают на баяне «Катюшу», разговоры догорают, все реже и реже хлопает дверь, ведущая в тамбур, и только взлохмаченный человек с университетским ромбиком в лацкане пиджака уже третий раз проходит по вагону, безнадежно разыскивая преферансистов.

Ночью, на аспидно-черных толстых стеклах появляются косые многоточия дождевых капель. Мерцая, проплывает огонек одинокой, затерянной в лесу, сто-

рожки путевого обходчика. Проплывают леса, пашни, города. А пассажиры спят. Спят хозяева этих лесов, этих городов и пашен.

Вот и сейчас напротив, на боковой полке, спит курносый парень с рассыпчатыми русыми волосами.

Прошло два часа с тех пор, как мы выехали из Ленинграда. Уже глубокая ночь. А я смотрю на курносого парня, на его лицо, сердитое во сне, и все больше и больше убеждаюсь в том, что где-то я его видел.

Я смотрю на него десять минут, пятнадцать, перебирая в памяти свои поездки и встречи, но ничего не могу вспомнить. Видимо пути наши пересеклись давно и ненадолго.

Парень сладко чмокает и поворачивается на другой бок. На его красивой мускулистой руке, в том месте, где прививают оспу, виден длинный кривой шрам.

«Да ведь это тот самый Шура, который провожал Ивана Афанасьевича на юг!» — мелькает в моем уме.

И я внезапно вспоминаю и этого парня, и Ивана Афанасьевича, вспоминаю связанную с ним историю, конец которой мне так и остался неизвестным.

Начало истории такое: летом прошлого года мне пришлось ехать на черноморское побережье для уточнения изыскательских данных по проектированию подпорных стенок.

Задолго до отхода поезда я сидел в вагоне со своими рейками и теодолитом. Вагон постепенно наполнялся. В наш отсек вошли: девушка-студентка, работник пулковской обсерватории и дородная украинка, гостившая у сына-инженера. А за четверть часа до отхода поезда вошел запыхавшийся старичок.

Он появился окруженный шумной толпой ребят, видимо недавно окончивших ремесленное училище. Ребята провожали его. Среди них был и этот Шура. Ребята несли вещи старичка: чемодан, запертый на висячий замок, и перину, туго стянутую ремнями. Очевидно дедушка давно не ездил по железной дороге.

Вагон сразу наполнился говором и суетой. Особенно шумно командовал и хлопотал Шура. Однако

порядка он навести не успел. Вошел проводник и выгнал ребят из вагона.

Толкаясь и перебивая друг друга, они столпились на перроне у закрытого окна. Позади них я увидел женщину лет пятидесяти в платке и макинтоше. Она смотрела в окно и плакала. Старичок, придерживая одной рукой чемодан, другой раздраженно махал ей, чтобы уходила домой. Наконец поезд тронулся.

Старичок сидел, уставившись в окно и подперев кулачком подбородок так, что белая борода его топорщилась. Судя по его пальцам — он работал металлистом. Моя догадка подтвердилась и тем, что, лазая в карман брюк за папиросами, старичок делал такое движение, словно поднимал край длинной, ниже колен, блузы, хотя на нем был надет узкий пиджак.

Я попробовал заговорить с ним. Он делал вид, что не слышит или отвечал с явной неохотой. Я предложил ему свою нижнюю полку. Он согласился, не поблагодарив. Потеряв всякую надежду на знакомство, я пошел в соседний отсек играть в домино и рано улегся спать.

Проснулся я ночью. В вагоне было темно, и, лежа на верхней полке, я едва различал фигуру старичка. Облокотившись о столик, он неподвижно сидел в углу и попрежнему упрямо смотрел в окно, хотя ничего не мог видеть в кромешной тьме ночи. Поезд замедлил ход, за окном проплыл электрический фонарь, через все купе словно перевернулась большая яркая страница, и на секунду стало видно грустное лицо старичка. А потом опять потемнело, колеса затараторили чаще, и огни за окном исчезли.

— Вы куда едете? — тихо спросил я.

— В отпуск, — ответил он, не поворачивая головы. — Путевку дали.

— В дом отдыха?

— В дом отдыха. Цихидзири какой-то...

— Вот как! Я тоже буду в Цихис-дзири!

На это старичок ничего не ответил. — «Цихис-дзири, так Цихис-дзири. Много там будет полуночни-

ков, вроде тебя, в этом Цихис-дзири», — так и читал я в его сгорбленной фигуре.

Чем больше я смотрел на его ноги, обутые в ботинки и калоши, на петельку вешалки, смешно торчащую из-за ворота его пиджака, тем более одиноким казался мне этот, отправившийся в дальний путь, человек. Я решил не навязываться и отвернулся.

— Не пожар ли? — через несколько минут беспокойно спросил старичок.

Я посмотрел в окно. У горизонта виднелось широкое алое зарево. Чем ближе мы подъезжали, тем шире разливалось оно в черном бесприсветном небе.

— Ай-яй-яй, неужели пожар? — снова сказал старичок.

Поезд подходил к станции.

На фоне зарева выделялись столбы переходного мостика, здание депо, водокачка. Однако никакого беспокойства не чувствовалось. Сцепщик с фонарем спокойно прошел между путями, где-то постукивали молотком по скатам колес...

— Чего же это они... — сказал старичок и попытался открыть окно.

Я соскочил с полки и помог ему.

В стороне от железной дороги возвышались клепаные металлические башни. По башням тянулись длинные стальные трубы, балконы, лестницы. Над всем этим сооружением колыхалось пламя, такое тугое и плотное, что ветер не мог прорвать в нем ни одной дыры. Оно изгибалось, собиралось складками, как знамя, и только верхний край его курчавился под ветром. Далеко вокруг все было освещено алым светом: виднелась насыпь, поросшая бронзовой травой, и полосы рельс — словно раскаленные. По насыпи шагали два розовых человека в распахнутых брезентовых куртках. Над башнями, над насыпью, над пламенем неподвижно висел розовый дым. Это был металлургический завод.

— Вон что! Плавку дают, — сказал старичок одобрительно. — Ночь, а работают!

И тут мы разговорились.

Старичка звали Иваном Афанасьевичем, работал он на одном из самых больших заводов Ленинграда разметчиком, работал пятьдесят лет. Я собирался уже спросить Ивана Афанасьевича о причине его плохого настроения, но он, словно вспомнив что-то, снова замолчал. Однако во взгляде его уже не было прежней недоброжелательности.

На другой день вечером мы проезжали Донбасс. Кое-где по пути валялись куски угля, сверкавшие жирным блеском. Трава на откосах, выемках и листья снегозащитных акаций были чумазыми от угольной пыли. На широких равнинах виднелись поселки, состоящие из аккуратных стандартных домиков, терриконы, похожие на египетские пирамиды, красные звезды на вышках шахт, перевыполнивших нормы. По широкой дороге — грейдеру шли закончившие смену шахтеры в черных, словно кожаных, спецовках. У некоторых из них на фуражках блестели электрические фонарики.

Ивану Афанасьевичу что-то попало в глаз. Наша спутница-украинка вызвалась помочь ему. Зажав седую голову Ивана Афанасьевича у себя подмышкой, она нацелилась уголком носового платка и закричала: «А ну, гляньте на меня!.. А ну, гляньте в ноги!.. Да не пугайтесь, не закрывайте вы очи. Осподи боже ж мой! Как дитя малое!.. Ось, не пугайтесь, все... Ось, гляньте, какая кроха...»

Иван Афанасьевич, всклокоченный и помятый, снова уселся на свое место.

— Гляньте-ка, уже Туголовская балка, — сказала наша спутница-украинка. — Вон она, родимая. Скоро мне вставать.

Она высунулась в окно и замерла, глядя на теплое заходящее солнце, на хаты, окруженные тополями и вербами, на беленые маленькие печки, стоявшие во дворах, на тесный строй яркожелтых подсолнухов, все как один повернувшихся лицом к солнцу, на бледно-лиловые метелки кукурузы...

Село, протянувшееся на десяток километров, нако-

нец кончилось, и открылась бескрайняя, до самого солнца, золотистая пожня. По пожне цепочкой ходили ребята.

— Колоски ищут,— заговорила женщина.— Здесь жнейкой убрали. А вон там — комбайном. В Ленинград ехала — жито зеленое было, а сейчас — все чисто. Хорошо, а?

— Хорошо,— сказал Иван Афанасьевич.

— А вон там, гляньте, за ветряком, тоже комбайн убирал. Только этот механик похуже того. Молодой. Вон они — кривули какие.

— Кривули,— сказал Иван Афанасьевич.

— Что это у вас на душе моторошно... или горе какое? — спросила вдруг женщина, посмотрев на него в упор.

— Какое там у меня может быть горе...

— Да, что там. Я вижу... Вы не глядите, что женщина простая. Бывает — расскажешь — и легче станет.

И она пошла увязывать вещи.

Иван Афанасьевич долго косился в ее сторону, но молчал, и только в ту минуту, когда она стала прощаться, виновато улыбнулся и проговорил:

— А у нас на заводе статор для днепровской плотины делают.— Видно было, что он сам стыдится своего упрямого молчания.

На следующий день я проснулся рано, но Иван Афанасьевич уже сидел на своем месте, опершись о столик.

За окном виднелось Азовское море. В полкилометре от берега, по колено в воде, неподвижно стояли задумчивые коровы. А совсем далеко белели, как рафинад, сотни парусов мелких рыбацких лодок.

— Рыбку ловят,— сказал мне Иван Афанасьевич.— Сколько на всякие дела людей надо! А вода-то мутная, словно прачки белье полоскали...

Иван Афанасьевич внезапно встрепенулся, хитро прищурился и спросил:

— А ну-ка: мужик в три пуда ерша выудил — так может быть?

Я знал этот каламбур, чем немного огорчил Ивана Афанасьевича.

— А вот Шура, профорг цеха, не сразу догадался,— сказал он.— Но и он все загадки разгадывает. Девятнадцать лет, а смысленный парень. Сначала, когда пришел в цех из ремесленного училища, никакого сладу с ним не было. Подо все станки лез. Чуть руку не испортил. А теперь настоящий металлист. Веселый. Надо на вокзал ехать, а он с ребятами потащил меня в кладовку, на весы. Свешали. Вернись — снова вешать станут. Надо прибавить в этом «Цихис-дзири» килограмм или два. А то неудобно перед ними... Да я, сказать по секрету, пока тут в окошко глядел, на килограмм поправился... Сколько времени до Ленинграда телеграмма пойдет?

— Час или два.

— Не больше?

— Не больше.

Иван Афанасьевич снова встрепенулся, словно петух, готовый запеть, и спросил:

— А ну-ка: арбуз весит килограмм и еще пол-арбуза. Сколько весит арбуз?

Так прошли еще сутки.

Днем в вагоне потемнело, и зажглись слабые лампочки. Поезд въехал в туннель. Грохот колес стал отдаваться в ушах так оглушительно, как будто мы двигались по громадной кузнице. Отчетливо слышалось фыркание паровоза, словно его прицепили к нашему вагону. Через несколько минут постепенно стало светлеть, пыхтение паровоза отдалилось, грохот колес ослаб, и мы выехали в бесцветный дневной свет.

Вплотную под окнами торчали слоистые серые отвесные скалы. На одной из них, косо уцепившись за камни, росло корявое дерево. Иногда скала расступалась и становилось видно, как медленно и важно выдвигались одна из-за другой горы, покрытые ослепительно зеленой травой. Горы приближались вплотную к окнам, отступали, сменялись, и только одна, самая дальняя и самая высокая, с лиловым утесом на вершине, неотступно следовала за нами, поворачиваясь к

поезду то одним, то другим боком. Время шло. Горы громоздились все выше и выше. Казалось, поезд блуждал в тесном глубоком ущелье. Из-за частого чередования света и темноты туннелей читать было невозможно. Я задремал. Голос девушки-студентки разбудил меня.

— Дельфин, дельфин! — кричала она.

Я вскочил и высунулся в окно. Гор не было. Был огромный воздушный простор.

Море было совсем рядом, у самых вагонов.

Сквозь прозрачную воду виднелось булыжное дно, водоросли, похожие на цветную капусту, солнечные змейки и тень нашего поезда. И тут я в первый раз увидел, что Иван Афанасьевич улыбается. Что его радовало? Море ли, огромное искристое море, посредине которого стоял разноцветный двухтрубный лайнер, или голубое чистое небо, или белые, как бумага, мартыны, перелетающие с камня на камень.

— Смотрите-ка, и тут работают, — сказал Иван Афанасьевич, улыбаясь во весь рот. Улыбка его была так светла, что и я улыбнулся, глядя на него.

Вдоль берега стояли бетономешалки и транспортеры. Тысячи голых по пояс загорелых людей строили в то лето подпорную стенку.

Через несколько часов поезд бесцеремонно въехал прямо на Тбилисскую улицу города Батуми и пошел мимо ларьков с надписью «пиво — воды», мимо парикмахерских и фотографий, мимо домиков с балконами и разноцветных скверов. Было жарко. На улице виднелись впечатанные в асфальт листья деревьев. Собаки лежали в тени, словно сдохшие. На вокзале Иван Афанасьевич дал какую-то длинную телеграмму, и мы с ним расстались.

Через несколько дней я случайно встретил Ивана Афанасьевича в Батуми. Он искал металлические муфты. Оказывается, в его доме отдыха проводили водопровод и работа стояла вторые сутки, потому что не хватило муфт на пять осьмих дюйма. Иван Афанасьевич был весел, как и в последний день нашей поездки, непрерывно загадывал мне загадки и по-детски радо-

вался, если я не мог отгадать их. Узнав о том, что я возвращаюсь в Ленинград самолетом, он попросил свезти его жене персики.

Мария Сергеевна, жена его, та самая женщина в макинтоше, которая плакала на перроне, увидев мою загорелую физиономию, сразу догадалась, откуда я приехал, и, еще в коридоре, засыпала меня вопросами о муже.

Я мог рассказать ей только о поисках Иваном Афанасьевичем муфт на пять осьмых дюйма и о трех днях, проведенных вместе с ним в поезде. Я рассказал Марии Сергеевне, что Иван Афанасьевич сначала был сильно не в духе, но к концу пути заметно повеселел и даже сыграл два раза в домино.

— А ведь это чудеса, что он так быстро отошел,— сказала Мария Сергеевна,— сильно обидели человека...

Хотя прошло больше года с тех пор, как я разговаривал с Марией Сергеевной, до мельчайшей подробности вспоминается мне строгое лицо этой женщины с редкими, как у мужчины, морщинами, ясный взгляд ее голубых глаз, серые, кое-где серебристые волосы,— видно начала когда-то она седеть, да раздумала.

Мерно постукивают колеса поезда, свистит за окнами метель, я лежу, глядя на выкрашенный масляной краской потолок вагона, и как будто снова слышу голос Марии Сергеевны.

«Всегда, как новый заказ на заводе начинали,— говорила она,— Иван Афанасьевич сердитый становился такой, неприступный. Придет домой поздно и ворчит: «не дают на старости лет покоя». Да это все так, для вида. На самом деле приятно ему, что без него не обходятся, что техники приезжают к нему, а директор, бывает, свою машину присылает, когда нужно вызвать на совещание какое-нибудь. Ворчать ворчит, а едет, да еще в усы улыбается, когда никто не видит. Шестьдесят семь лет, а словно ребенок.

Вот дали нам новый заказ — лопасти какие-то.

Разговору об этих лопастях хватило на целый месяц. У нас в квартире три семьи живут, и все мужчины на одном заводе работают. Соберутся на кухне курить — и начинают спорить, как ее размечать, да как обрабатывать. Петька соседский во второй класс ходит, а тоже ему интересно: пристал к Ивану Афанасьевичу, чтобы сводил его на завод и показал эти лопасти. Иван Афанасьевич обещал сводить, если Петька станет приносить пятерки.

Моему Ивану Афанасьевичу исполнялось тогда пятьдесят лет работы на заводе. И для своего юбилея решил исполнить этот заказ особенно хорошо. До ночи с чертежами сидел. Прибор для пространственной разметки придумал. И вот наступил первый день работы над лопастью. Иван Афанасьевич надел выходной костюм и поехал на завод. А для меня тоже — словно праздник. Сготовила обед хороший. Накрыла на стол. Сижу — жду. В шесть часов слышу — отпирают дверь в коридоре, слышу — Петька кричит: «Дядя Ваня, а у меня пятерка по арифметике!», а мой Иван Афанасьевич, добрая душа, на него, на Петьку, как зашумит! Что случилось? Звоню в цех. А Шурка, профорг, смеется: «Покупайте мастеру трусы, поедет нырять в Черное море. Вырвал для него путевку на двадцать четыре дня». Такой шалопут этот Шурка. Как зайдет посидеть, так после него целый день посуда в буфете звенит».

Вспомнив эти слова Марии Сергеевны, я снова перевожу глаза на парня с рассыпчатыми волосами, спящего на боковой полке. Лицо у него сердитое, такое сердитое, как будто ему очень не нравится то, что он видит во сне. Интересно все-таки, как это ему удалось уговорить Ивана Афанасьевича ехать на юг. Завтра надо расспросить — решаю я.

Поезд идет. Равномерно, тихо постукивают на стыках колеса, и снова в ушах моих звучит рассказ Марии Сергеевны:

«Подала обед. Молчу. С ним лучше молчать, когда сердится. Он ни суп не доел, ни второе. Сидел, сидел и говорит: «Это директор не знает. Вот вече-

ром приедет на завод директор, узнает, отменит отпуск — и все. Позвонит мне — и все».

Долго не ложился спать Иван Афанасьевич — все сидел и ждал звонка. Как позвонит телефон — так он в коридор. А там все соседскую Лиду подруги вызывают. Ночь наступила, радио перестало говорить, а он все сидит. И я сижу. Опять звонит телефон. Иван Афанасьевич меня послал. Слушаю — директор говорит. Узнал мой голос и говорит: «Передайте мастеру, чтобы отдыхал, поправлялся, передайте пожелание счастливого пути».

Вернулась я в комнату, посмотрела на Ивана Афанасьевича, и так мне его жалко стало, что язык не повернулся передать ему слова директора. Сказала что-то про Лиду и легла.

Было время — ни в одном большом деле без Ивана Афанасьевича на заводе не обходились, а тут, видите, и обошлись...»

Только в поездах бывает так: посмотришь на фонари ночных станций, прислушаешься к далекому гудку паровоза и слетит на сердце светлая безотчетная грусть, такая же легкая, как и тихая радость. Вот и теперь, когда вспоминаю я комнату Марии Сергеевны и представляю, как сидит всю ночь обиженный Иван Афанасьевич, дожидаясь звонка директора, мне становится немного грустно...

Утром я познакомился с Шурой, и мы сели играть в домино. Оглушительно стуча костяшками по чемодану, Шура досказал мне историю поездки Ивана Афанасьевича.

— Вижу — пятьдесят лет работает человек на заводе, а ни разу культурно не отдыхал, — говорит Шура. — Когда меня выбрали профоргом, я подумал: разобьюсь в лепешку, а отправлю мастера на курорт. Попросту он путевку не возьмет — это мне ясно. Тогда я решил сыграть на характере. Выступаю на цеховом собрании, перечисляю стахановцев, премированных путевками. А про мастера молчу. Кончили собрание. Подходит мастер. «Ты что это про меня забыл?» Думаю — порядок. «Дядя Ваня, говорю, вы все равно

не поедете». «Не твое дело, говорит, поеду или нет. А предложить должен. Всегда предлагали, а теперь что я, хуже стал?» «Так ведь не поедете!» «Откуда ты знаешь? Может поеду!..» Думаю — порядок. «Да не поедете», — говорю. «Нет поеду». Тут я его и поймал. Через два дня — хлоп приказ. Отпуск мастеру. Подхожу к нему, даю путевку. «Только для вас, дядя Ваня, по вашей просьбе, у Лешки отобрал. (У нас такой есть ремесленник, мы с ним сговорились.) Езжайте». А мастер забыл про наш разговор. Смотрит на меня — не смеюсь ли. Потом вспомнил, отвернулся и путевку не берет. «Что же вы, дядя Ваня, делаете?» — говорю я ему, — из-за вас, выходит, и Леша не поехал, и путевка пропадает». Положил путевку на плиту и отошел. Вижу — кладет мастер путевку в карман. Порядок. А в обеденный перерыв — целый митинг. У нас в цехе ребята — все его ученики. Узнали, что мастер в отпуск едет, шум подняли. Повели его в кладовку на весы, свешали. Тут ему уже совсем задний ход давать некуда. Смотрю, к вечеру пошел мастер в кладовку, инструмент прячет. Он придумал для разметки сложных деталей комбинированный циркуль, так вот этот циркуль и прячет, чтобы я не взял. Ясно. Он думает, что без него не обойдемся и из отпуска вызовем. Только что-то у него в мыслях переменилось. Три дня прошло — получаю телеграмму с объяснением, где циркуль. Отгулял мастер свой срок — приезжает. Тут у нас опять целый митинг. Повели ребята мастера в кладовку на весы. Свешали. На три килограмма поправился. Стали ребята его качать. А у него из карманов болты сыпятся. Свешали болты — три килограмма. После он мне признался: совестно было ему перед ребятами. Вот и наложил в карманы болтов...

Шура сразмаху стучит костяшкой по чемодану и говорит: «считайте рыбу».

Поезд идет белыми снежными полями.

И мне снова вспоминается мастер с седой бородкой, дородная украинка, читающая землю, как книгу, вспоминаются белые паруса рыбацких лодок, пламя

в ночном небе, двухтрубный пароход, золотые пожни Украины, блестящие горы каменного угля, стены лесов и деревья, словно играющие в третий лишний, вспомнилась молодая, работающая моя Родина.

Наверное тогда-то и понял старый разметчик, какое великое множество умелых людей появилось на нашей земле, понял, что не беда, а счастье в том, что перестал он быть на своем заводе исключительным человеком.

ФУТБОЛ

Рассказ

У насыпи, возле семафора, Николка, Петя и остроносая девочка Люся, коротая время, играли в чижика...

Петя был самым старшим. Ему было не больше тринадцати лет, но сильная воля уже проглядывала в его узких серых глазах. Ребята его слушались и заметно побаивались. Играл он от скуки, небрежно забрасывая заостренную с двух концов палочку толстыми, успевшими огрубеть от работы пальцами в квадрат, начерченный на земле, бил, почти не глядя, но все у него получалось ловко и точно.

Люся — левша — играла не хуже мальчиков. Когда подходила ее очередь бежать за чижиком и кричать:

Чижик — палка
черна галка,
набивалка
на кули-и-и...

кричать непременно до тех пор, пока не добежишь до чижика, она прерывала голос на полпути, но делала это не для того, чтобы отдышаться, а ради любопытства: заметят или нет. Люся умела драться и лазить через забор не хуже мальчишек. Ноги ее были поцарапаны, и на обоих коленях виднелись болячки,

похожие на изюмины. Впрочем, она старалась казаться кокеткой: из-под полосатого платка ее высовывалась, как у взрослой, плойка, а на ногах были надеты новые калоши, в которых уже не было никакой нужды.

Николка играл с полной серьезностью и дотошно следил за правилами. Он стоял, настороженно приоткрыв рот, и все время выкрикивал: «Люська, чего ты три шага шагаешь! Петро, гляди, она камушек подкладывает! Ага, промахнулась; второй раз нельзя!»

Немного подальше лохматый парнишка пытался развязать зубами затянутый узлом шнурок своего левого ботинка. Он давно был погружен в это занятие и ни с кем не разговаривал. А еще дальше на откосе насыпи, почти до самой станции, виднелись группы мальчиков и девочек, собравшихся по три, по четыре человека, так же как и Николка, Петя и Люся,— все они первый раз в эту весну вывели на пастьбу коз.

Несколько дней тому назад сошел снег. Маленькие полянки яркой, новорожденной травки, нетронутые еще ни пылью, ни суховеями, блестели на рыжей сырой земле. Козлята с розовыми копытами радостно прыгали вверх и вниз по откосу.

Тяжелые облака, сгрудившись, неподвижно висели над горизонтом, заслоняли солнце, и, хотя до вечера было еще далеко,— над плоской пустой равниной, над извилистой проселочной дорогой, над крышами деревни, над кирпичным зданием стыли серые, туманные сумерки. Все стало расплывчатым и неясным, как в непогоду: возле станции смутно чернело дерево, у горизонта едва виднелась лиловая покатая горюшка, за поворотом проселка желтело что-то, похожее на кучи песка.

— Глядите-ка, уже домой пора, а Помидор только еще пасти ведет,— сказала Люся, замахиваясь набивалкой.

К насыпи направлялся толстый коротконогий мальчик лет шести в большой железнодорожной

фуражке. Полные щеки его были до того красны, будто он целый день просидел у открытой печки. Мальчик пятился к насыпи и с трудом тянул козу. Коза мотала головой и, приседая, упиралась.

— Уматывай, Помидор, отсюда,— закричала Люся.— Здесь наши, колхозные пасут. Ваша эмтеэс вон там пасет!

— Эта земля не ваша,— пыхтя отвечал Помидор.— Это земля железнодорожная. Вот пойду на станцию, дяде скажу, он вас всех отсюда...

— Смотри, не уйдешь, как пульну...— и Люся, неумело закинув руку за шею, замахнулась палочкой.

— Попробуй пульни только, попробуй...— торопливо заговорил Помидор и попятился.— Я тебе так пульну, что ты... что ты не захочешь...— и он неожиданно заревел.

— Иди, не бойся,— крикнул ему Петя,— паси, где хочешь. А ты, Люська, его не задевай. Всем травы хватит...

— Сегодня папа приеде-ет,— сказал Помидор, растягивая слова,— машину на поезде привезе-ет. Теперь в нашем эмтеэсе много машин будет, а у вас в «Светлом пути» — две только, а в «Заре» так и вовсе одна...

— Слышь-ка, Петро,— начал Николка таинственным голосом.— Вечор я надумал такую машину, которой ни бензина, ни автола, ничего не надо. И мотора не надо: сама будет бегать.

— И не побежит без мотора машина никакая,— заметил Ефим, сняв, наконец, ботинок и вытряхивая из него песок.

— Побежит. Был бы у меня магнит, я бы ее сам сделал. Вот, слушай. Видел я картинку: сидит верхом на осле турок и держит впереди себя удилище, а на конце лёски привязана морковка. Морковка болтается у осла под носом. Он хочет морковку достать и идет вперед. А морковка едет вместе с туркой.

— Называется — надумал машину...— сказал Ефим.

— Постой. Вот если взять большенный магнит да приладить спереди к железной машине. Машина-то станет к нему притягиваться, покатится, а магнит вместе с ней вперед поедет. А?

— Ничего не получится,— равнодушно сказал Ефим.

— Почему?

— Потому что твою машину не остановить...

— Ты это брось,— прервал Ефима Петя.— Как это так не остановить. Тут все дело в магните. Если есть такие громадные магниты, так знаешь, какая от этой машины польза будет? .. Надо тебе, Николка, письмо составить, да в район, товарищу Гусеву. Он это дело сразу в ход пустит...

За спинами ребят стала звенеть и содрогаться проволока, укрепленная на маленьких столбиках. Крыло семафора поднялось.

— Товарняку путь дали...— сказал Помидор.— Сейчас папа на этом товарняке машину для нашего эмтеэса привезет...

— Давай письмо составлять,— продолжал Петя.— Бумага есть?

Николка похлопал по карманам и достал блокнот.

— Чего писать-то,— спросил он, нацеливая карандашом.

— Пиши: «Уважающий товарищ Гусев».

— Чего это такое — «уважающий»?

— Пиши. Всегда так пишут. Да скорее. Поезд придет — машинисту передадим, он в районе отдаст начальнику станции. А начальник — товарищу Гусеву.

— Не передаст машинист Гусеву,— сказал Ефим.

— Передаст. Наш председатель сколько раз так письма пересылал.

Облака разошлись, и на землю хлынули лучи вечернего солнца. Сразу стало видно далеко вокруг. Все засияло, потеплело, осветилось чистым закатным светом.

Стало видно, что возле станции не одно, а два дерева, одно метрах в двадцати позади другого, две осины с прошлогодними гнездами на голых сучьях,

похожими на черные кубанки. То, что несколько минут назад представлялось лиловой покатою горушкой, оказалось прозрачной рощицей, еще не одетой листовой, а вдали, у проселка, желтели не кучи песка, а неглубокие ямы-карьеры, вырытые дорожниками.

— Глядите-ка, Механик идет... мячик несет... — сказал вдруг Ефим и, сгорбившись, начал торопливо натягивать ботинки. Зашнуровать их у него нехватило терпенья и, крикнув Люсе, чтобы караулила пальто, он бросился вниз по откосу, и за ним, журча, посыпались камушки.

По проселочной дороге шел длинноногий парень лет четырнадцати, в косоворотке и отглаженных брюках. Он нес небольшой черный мячик.

— Петро... гляди-ка... Механик футбол несет, — сказал Помидор, заикаясь от волнения. — Сейчас мы будем... — и, не договорив, помчался вниз вслед за Ефимом. Ребята с криком и свистом неслись навстречу пареньку в отглаженных брюках.

— Ну, скорее... чего дальше писать, — торопил Петя.

Но Николка уже не сводил глаз с мяча.

— Пиши: подцепить магнит к машине, и точка... Пиши сам, я играть побег...

— Что я один что ли буду!...

Возле коз остались только девочки. Люся завистливо глядела на ребят, столпившихся на ровной поляне, но не трогалась с места. Футбол — дело мужское.

— А я буду ворота мерить, — упрашивал Помидор, протискиваясь к Механику. — Ладно? Меня примете?

— Разойдись! Глядите, козы разбегутся!

— Я буду ворота мерить...

— Давайте сговаривайтесь! — сказал Механик, не слушая Помидора. — Я и Петро — капитаны.

Обнявшись по-двое, ребята стали расходиться в стороны и шептаться. Помидор, с которым никто не хотел сговариваться, начал отмерять ворота. Он размахивал руками и делал такие широкие шаги, что чуть не падал. Помидора сильно пугало то, что его могут

не принять, и он сам с великим старанием расчерчивал поле, втыкал палочки на границах ворот и таскал к палочкам одежду — чтобы виднее было куда бить. А в это время ребята попарно подходили к капитанам.

Подошел Ефим в обнимку с маленьким мальчиком. У мальчика болел зуб, и щеки его были туго повязаны платком.

— Грача или ворону? — загадал Ефим, нажимая на слово «грач», так что сразу было ясно, что «грач» — Ефим, а «ворона» — мальчик с больным зубом.

— Грача, — быстро сказал Механик.

— Ну нет, я так не стану играть, — Петя махнул рукой. — Чего же это ты всех игроков побрал, у тебя и Ефим, и Николка, а у меня одна плотва.

— Так ведь я не выбираю! — воскликнул хитрый Механик. — Я же отгадываю...

— А я ворота сделал... — робко заговорил Помидор. — Ох, и хорошие ворота... Больши-ие... С кем сговариваться?

— Иди из-под ног, — сказал Механик.

— Прими, а-а... — заревел Помидор, давно почувствовавший, что так случится. — Я ворота делал...

— Уйди с поля, тебе говорят.

— Я ведь пинать не прошу. Я вратарь буду. Прими, а-а... Шурку так приняли...

— Хочешь — судьей? Вон иди, на камень садись, суди...

— Ну да, судьей. Всегда судьей, да судьей. Шурку так приняли, а я ворота делал...

Но его уже никто не слушал. Капитаны спорили. Петя наотрез отказывался играть с малышами, а Механик расхваливал его команду и хаял своих, однако ни одного человека поменять не соглашался. Наконец было решено составить команды заново без всяких отгадываний: Механик должен взять всех из своего колхоза «Светлый путь», а Петя из своего — из «Зари». Но и так получилось нехорошо. У Механика оказалось четырнадцать человек, а у Пети — девять.

— Ладно, — сказал Петя. — Помидор, становись

в ворота. Только гляди, на пузо принимай мяч, понял? Одними руками не цапай, пузом накидывайся, понял? Шурка, будешь на защите...

Мяч взвился, медленно поворачиваясь в воздухе. Все — и защитники, и нападающие бросились за ним. Игра началась.

Медлительного Ефима, который сидел с полуоткрытым, как во сне, ртом и снимал ботинки, теперь трудно было узнать. Глаза его светились: Лицо стало напряженным и настороженным. Он метался по полю от одного края к другому, рвался к мячу, падал, вскакивал, и шнурки его ботинок со свистом хлестали траву и камушки.

Механик повел мяч по левому краю к тому месту, где между куч одежды, растопырив руки, стоял Помидор. Ефим бросился было наперерез, но Механик точно пасанул Николке, выбежал на штрафную площадку, отобрал у Николки мяч и снова погнал его к воротам. Николка, припрыгивая, бежал рядом, хлопая в ладоши, и кричал рыдающим голосом: «Пас сюда! Чего ты у своих-то из-под ног мячик отбираешь! Пас сюда!» Но Механик ничего не слышал. Отталкивая локтями и своих, и противников, он добежал до самых ворот и, легко обманув Помидора, забил гол. Девчата завизжали. Счет был открыт.

Петя подошел к Помидору, дал ему подзатыльник, выгнал с поля и сам стал в воротах. Помидор надулся, но не заплакал. Он понимал, что вину его не искупить и сотней подзатыльников. Потеряв всякую надежду на то, что его снова примут, он отошел к каменной отсыпке, где сидела Люся и человек шесть судей.

— Что, или надоело? — прищурившись, спросила Люся.

— А тебя и вовсе не принимают, — сердито сказал Помидор.

— Ну и что же! Ничего интересного нет.

— Конечно, ничего интересного...

— Только крик один.

— И еще дерутся.

— Пошли лучше в камушки играть...

— Айдайте... — сказал Помидор, с грустной завистью следя за мячом и не трогаясь с места.

— Ой, опять забили! — закричала Люся, вскакивая. — Петро, чего же ты... Опять нашим забили!

Петя бросился в гущу схватки. Видимо он потерял терпение и решил во что бы то ни стало отыграться. Отпихивая плечами противников, он погнался за мячом, выбежал за пределы поля, и хотя все судьи кричали «аут, аут!», игра развернулась у шлагбаума. Мяч погнался к проселочной дороге, и ворота остались в тылу команд. В самый разгар игры на дороге появилась высокая женщина в комбинезоне.

— Михаил, как тебе не совестно! — закричала она Механику. — Ребенок сидит один дома, плачет, а ты у него мячик отымаешь... Батюшки, а брюки-то, брюки-то вывозил! — продолжала женщина. — Больше никогда гладить не стану. Ведь уже жених скоро...

Между тем мяч подогнали к воротам команды Механика с тыльной стороны и Петя забил гол. Счет стал два — один в пользу колхоза «Светлый путь». Игра развернулась с новым азартом. Механик сильно подал мяч на центр, Петя снова было завладел им, но Николка самоотверженно бросился ему под ноги, и мяч снова оказался у Механика. Механик подал мальчику с больным зубом, мальчик с самой штрафной площадки точно пасанул головой Механику. Шагов пять до ворот. Надо бить. Удар!..

Но гола забить не удалось, потому что мать Механика вела по штрафной площадке козу. Мяч ударил козе в бок и укатился в аут. Через несколько минут счет сравнялся.

— Плотва! кто хочет играть, становись на защиту! — крикнул подбегавший Петя. Помидор и все шесть судей ринулись на поле.

На этот раз Помидор играл хорошо. Он ловко принял трудный мяч, обошел Николку, выбежал на пустой левый край, но кто-то из «Светлого пути» подставил ему ножку, и, больно ударившись колен-

кой, Помидор упал. Игра приостановилась. Помидора подняли. Хромая и заливаясь слезами, он пошел к воротам.

— За это штрафной полагается,— хмуро сказал Петя.

— А чего он под ногами путается,— оправдывался Механик.

— Видят, что маленький, и валят! — кричала Люся.— Штрафной им надо! У них весь «Светлый путь» такой. Ихний бригадир у нашего председателя семена тимофеевки кланчить приходил,— а у самих семена были... Штрафной!

— Какой штрафной?! А вы у нас полуторку не брали известь возить? Тоже «Заря» называется — полуторку купить не могут.

— Можем, да не хотим. Штрафной!

— Ладно, бейте. Вот попросите еще полуторку!

Механик стал в воротах. Отмерили одиннадцать шагов и положили мяч. Помидор нацеливался бить.

Но в это время раздался гудок, и бесконечный, тяжелый товарный поезд, грохоча на стыках, пошел по насыпи, и косые длинные тени вагонов, изгибаясь, поползли по откосу. Испуганные козы бросились вниз, и валявшиеся на насыпи бумажки начали кувыркаться вслед составу.

Поезд замедлил ход. Под колесами, как примус, шумели тормоза. В просветах между вагонами мелькало красное закатное солнце, и Помидор становился то розовым, то темным. Проехали крытые вагоны с пломбами на задвижках, проехала цистерна, выпачканная мазутом, проехали две платформы с мачтовым лесом, и, наконец, в самом конце состава Помидор увидел шесть платформ, на которых стояли красивые шестиколесные автомобили, ровно выкрашенные в светлозеленый цвет, автомобили с серебряными медведями на радиаторах. Машин было девять. У одной из них стоял человек с заросшим лицом и махал Помидору кепкой.

Изгибаясь как лента, поезд прошел на третий путь.

— Это чего же, все в нашу эмтеэс? — спросил Николка.

— Ну да, в нашу, — ответил Ефим. — Это на весь район привезли. Дадут тебе в эмтеэс в одну... машин девять штук. Больно жирно.

— Обе оси ведущие, — сказал Механик. — Техника на большой!

— Обе ведущие... — повторил Помидор, не понимая, что это значит.

Между тем поезд остановился, борта платформы откинули, и первая машина осторожно, словно боясь поломать что-нибудь, съехала на грузовую платформу. Паровоз загудел.

— Ну вот и все, — сказал Ефим. — Я говорил — одну дадут.

Поезд тронулся, и ребята увидели, что платформы, груженные машинами, остались на месте.

— Отцепили! — закричал Николка. — Все нам — все машины нам?

— Чем зевать-то, побегли лучше на станцию, — сказал Петя. — Может помочь чего-нибудь надо... Люська, гляди за козами...

— А я тоже с вами...

И через минуту на опустевшем футбольном поле одиноко лежал черный мячик, дожидаясь штрафного удара, и лобастый козленок удивленно обнюхивал его.

КУЗНЕЦЫ

Рассказ

Первый раз я очутился в Марьино в конце 1945 года. Стояла суровая зима. Березы, молоденькие елочки были одеты в морозный иней. Над домами, упираясь в бледное холодное небо, подымались белесые столбы дыма. Стояла удивительная тишина, какая бывает только в морозные дни.

И вдруг тишина рухнула. С конца деревни, где была колхозная кузница, донесся певучий перезвон железа. Звуки были какие-то необычно веселые, чистые...

Такой мне запомнилась деревушка Марьино, когда я был в ней первый раз. Колхоз в этой деревне назывался «Перелом». По заданию газеты мне надо было написать большой очерк о кузнецах этого колхоза. Я жил там долго, переговаривал со многими, подружился, да так, что теперь бываю там каждый год.

«Перелом» славился кузнецами, и мне нужно было найти истоки этой кузнечной славы, найти людей, которые положили доброе начало ее.

* * *

В декабре 1942 года Александра Григорьевна проводила на фронт мужа. Теперь из мужчин в «Переломе» остались только старики. На всех участках работали женщины. И сколько работы свалилось сразу: надо готовить семена, надо отремонтировать инвентарь, вывозить на поля навоз, мастерить парни-

ковые рамы. Но из всего этого самым тяжелым оказался ремонт инвентаря: в колхозе не было кузнецов. Секретарь райкома обещал прислать их из МТС.

Кузницу занесло снегом. Надо было ее откопать. Григорьевна назначила на эту работу Анастасию Семушкину, крепкую женщину мужского склада.

Придя к вечеру в кузницу, Александра Григорьевна уже издали увидела, что сквозь высокую снежную гору был прорыт узкий проход. Значит, Семушкина выполнила задание. Из кузницы доносились два голоса: ворчливый — Анастасии и хныкающий — ребячий. Голоса мешались со звоном железа и тяжелыми свистящими вздохами кузнечного меха.

— Ну и бестолковый! Горюшко ты мое... А еще в пятый класс ходишь, и чему только учат вас?!

— При чем тут класс? Ведь там нас не учат меха качать!

— Ладно, ладно... Бери вон тот молот.

Раздался тяжелый удар увесистой кувалды, потом drobные, прыгающие удары легкого молота, а через минуту опять тяжело, со свистом, как простуженные, задышали меха.

Григорьевна вошла в кузницу.

Рослая Анастасия Семушкина в кожаном блестящем переднике стояла вполоборота к широким дверям. Одной рукой она качала меха, а другой оперлась о бедро. От красноватых отблесков углей лицо ее казалось необыкновенно сердитым. Сын морщился, шмыгал носом и вытирал грязными руками пот. Его курносое лицо блестело, как лакированное.

Семушкина совсем и не удивилась приходу председателя. Она как будто давным-давно ждала его.

— Вот ты посмотри только, Григорьевна, только посмотри на этого мужика-помощника. Ноет: каникулы у него!

Сын зашмыгал носом:

— Вон Мишка Авдеев целый день на лыжах катается, а я чем хуже?

— Не хуже, а лучше! Вытри нос. А по Мишке не равняйся. Ну, ладно, иди, побегай.

Мальчуган стремительно выскочил из кузницы.

Григорьевна укоризненно сказала:

— А зря ты его в кузницу берешь. Бегал бы. Все-таки каникулы у парнишки.

— Ничего. На часок только взяла: попробовать это самое кузнечное дело. Не заставляла ты меня, а небось заставишь ковать-то. Из района что-то долго не едут к нам кузнецы.

— Ну разве у них только мы одни? Может и ждать не будем...

— Значит, придется ковать. Вот я и попробовала заранее, как оно получается.

— Ну и как?

— А никак не получается. Сердилась, и Кольку чуть не прибила.

— Плохо, плохо...

— Добьемся. А поплакать придется. Трудно это. Не бабье дело.

Семушкина еще сама не знала, как будет добиваться. Она знала одно, что добиться обязательно надо. Неизвестно, чем бы кончилась эта попытка, кабы не дед Захар, сторож конного двора.

Вышел как-то дед Захар из конюшни и видит: шагает по заснеженной улице старик с седой жиденькой бородкой. Шагает, тяжело опираясь на толстую суковатую палку. По всему видно, что порядочно отмахал этот прохожий.

Захар Афанасьевич приложил руку к свесившемуся козырьку шапки, откашлялся и спросил старика:

— Куда путь держишь, почтенный?

Тот устало остановился, поднял свою бородавку вверх и сердито ответил:

— На кудыкину гору! Не люблю, когда кудыкают.

Слово за слово — и завязался разговор. Потом они оказались в теплой, уютной избе Захара Афанасьевича, сидели и по-стариковски неторопливо пили чай.

Степан Лаврентьевич — так звали прохожего деда — резко вскидывал вверх свою бородавку, как

будто хотел ею проткнуть Захара Афанасьевича, и сердито спрашивал:

— Ну вот и скажи ты мне: хорошо это или нет на старости лет тащиться в район?

— Судьба... — сочувственно вздыхал Захар Афанасьевич.

— Какая там судьба! — взмахивал рукой Степан Лаврентьевич. — Фашистские еропланы сожгли колхоз. Вот она, какая судьба! Старуху похоронил, сын на фронте без вести пропал. А я один, как перст, остался...

— Да-а... — сочувственно говорил Захар Афанасьевич. — Многие погибли. Эта чаша и наш дом не миновала...

— Нарушили мое гнездо. Начну в районе заново жизнь устраивать. А сила где? Нет ее!

На это Захар Афанасьевич опять сказал: «Да-а...»

Он незаметно поглядывал на собеседника и размышлял: «Лицо белое, чистое... В достатке жил человек. По лицу смотреть — какая-нибудь интеллигенция этот старый...»

— И тебе найдется место. Специальность-то какая?

Степан Лаврентьевич осторожно опростал блюдечко, осторожно поставил его на стол и только тогда ответил:

— При моей специальности головой надо работать. Вот какая у меня специальность! Работа меня везде караулит, да руки износились. — Он поглядел на свои увитые жилистыми узлами руки и сердито спросил Захара Афанасьевича: — смогу я в семьдесят лет кувалдой орудовать?

Выцветшие глаза Захара Афанасьевича засветились. Чему он обрадовался, — Степан Лаврентьевич не понял. Захар засуетился, стал звать внучку:

— Таня! Где ты? Куда ты запропастилась?

— Да тут я. Чего стряслось-то?

— Подымись-ка на лавку. Да не сюда. Вон, к божнице. Посмотри там получше, — за богородицей «жулик» стоит.

«Жуликом» оказалась запыленная бутылка водки. Степан Лаврентьевич ворчливо проговорил:

— После чаю — и такое дело... Эх, голова ты садовая! Кто же после чаю водку пьет?

Поворчал, поворчал, но... придвинул к себе налитую стопку.

Захар Афанасьевич начал оправдываться:

— Ну совсем забыл про нее. Господи, пыли-то сколько! Один и наперстка не выпью. Обязательно компания нужна. А тут все бабы. Когда дождешься мужскую компанию!

Выпили, блаженно крикнули, и дед Захар сказал:

— Ишь, элая! Так и согревает душу!

И у них начался задушевный разговор.

Тем временем в кузнице шли свои дела. Кузнецов из МТС ждать долго, и женщины решили сами учиться кузнечному делу.

В помощь Семушкиной председатель колхоза назначила доярку Фросю, такую же крепкую, такую же ладную, как Анастасия.

Но кузнечное дело бывшей доярке было не по душе. От дыма покраснели глаза, а от стука и грохота в ушах стоял непрерывный звон. И потом, очень уж крутой характер у Анастасии Семушкиной. Ни за что выругает, столько шуму подымет, будто нивесть что натворила Фрося.

Они поссорились. Фрося отвернулась к потухающим углям и уныло тянула:

— Каторга и каторга, а не работа!

— Ну, ладно, ладно. Перестань сердиться-то, глупая! — утешала ее Анастасия басовитым голосом.

— И не перестану, и отстань ты от меня. Уйду, вот и все! То тебе не так ударила, то тебе не так дунула. Уйду!

— Успокойся, Фросенька, ведь не со зла. Скоро весна, а нам пахать и боронить не на чем, а у меня ничего не получается. Леший его знает, как его этот самый лемех выделывать? Ты уж не обижайся. Когда я буду ругаться, так ты думай: это она сама себя ругает, а не меня.

— Да-а... Как тут подумаешь, если ты за рукав дергаешь?

— Эх, бабы, бабы! — раздался в дверях мужской голос.

Женщины даже вздрогнули от неожиданности: в дверях стоял Захар Афанасьевич и еще какой-то старик. Оба улыбались. Видимо, стояли тут давно и все видели и слышали.

Анастасия недовольно спросила:

— Чего смеетесь? Бабьих слез не видели? Давай, Фрося, берись за дело, нам на них не глядеть!

Фрося размахнулась кувалдой.

Захар Афанасьевич хотел прислониться к столбу, но просчитался, непослушные ноги понесли его к наковальне, и он чуть не угодил под увесистый удар молота.

— Будто столбик тут был, и нету...

— Столбик! Был бы тебе столбик, кабы попал под кувалду. Вон где столбик!

— Ишь ты, под кувалду! Что я, пьяный что ли? — дед отошел от наковальни на почтительное расстояние и уже издали осведомился: — Куете?

— Пляшем! — сердито ответила Анастасия. — Фрося, чего ты засмотрелась? Сроду пьяных не видывала? Качай!

— Эт-то к-кто пьяный? Я или Степан Лаврентьевич? — заплетающимся языком спросил Захар Афанасьевич.

— Оба хороши.

— Ну, п-пойдем, к-коли так, — упавшим голосом произнес Захар Афанасьевич, обращаясь к своему спутнику.

Степан Лаврентьевич упрямо выставил вперед бородку и уверенно пошел к наковальне.

— Не пойду! Я еще посмотрю, что тут такое творится.

Анастасия угрюмо пробасила:

— Картинок нету. Чего тут смотреть? Если бы смыслил что...

— Смыслил?.. Ишь какая приткая на слова-то! А ну, бери кувалду. Чего смотришь? Бери! А ты, Захар Афанасьевич, в сторону подайся, еще качнешься — под кувалду угодишь.

Степан Лаврентьевич сразу нашел передник, как будто вчера только повесил его на это место. Он в одну минуту помолодел, цепко и уверенно держался на ногах.

И уже по тому, как взял щипцы, как небрежным с виду, но точным движением мастера перекинул их в своих больших руках, было件нятно, что он умеет не только командовать.

— Становись сюда, — указал он щипцами на противоположную от горна сторону наковальни. — Язык кузнечный понимаешь?

— Какой язык? — уже робко спросила Анастасия.

— Обыкновенный. Кузнечный. Стукну вот этим молоточком по железине — ты туда кувалдой ударяй, стукну по наковальне, ты еще раз по тому же месту. Стукну два раза — бросай кувалду, бери вот этот молот, который полегче. Ну, поняла? И не спи у меня, поворачивайся живее. Поняла?

Дед быстрым, неуловимым движением вырвал из рокошущего пламени светящуюся пластину, по-молодому выкрикнул:

— Ну, начали! Р-раз!

И легонько ударил молоточком по светящейся пластине. Вслед за этим ударом по наковальне тяжело ухнул увесистый молот Анастасии. Но не успел он еще взлететь вверх, уже раздался нетерпеливый мелодичный удар маленького молоточка.

— Быстро! Быстро! — торопливо выкрикивал дед.

А его певучий молоточек так и прыгал, так и прыгал по наковальне, как веселый, неугомонный плясун, азартно отхватывающий зазорного камаринского.

— Быстро! Быстро! Железо не ждет, железо стынет!

Анастасия еще не догадывалась, что получится из этой, некогда неприглядной ржавой пластины. Да, по правде сказать, и думать об этом было некогда: дед

все время беспокойно поторапливал. Вдруг он ударил по острому концу наковальни. Что это за сигнал? Анастасия задержала молот на взмахе. Степан Лаврентьевич быстро кинул пластину обратно в уголь. На его разгоряченном лице засветилась улыбка.

— Шабаш, Анастасия свет-Ивановна! Ну, как? Это тебе не чай пить и не ругаться! Так-то вот.

Улыбка у него была добрая, светлая,— совсем нельзя подумать, что только минуту назад этот же самый дед сердито и нетерпеливо покрикивал на Анастасию.

— А я люблю так,— сказала Анастасия, утирая рукавом обильный пот со лба.

Фрося, еще недавно плакавшая и проклиная кузнечное дело, даже чуть приоткрыла рот,— так удивила ее ловкая работа старого мастера. Ей не терпелось, и она спросила:

— Ну, а что же выкуем?

— Конфетку откуем, черноносая! — усмехнулся дед.

На наковальне снова появилось раскаленное железо, снова заплясал камаринского требовательный, беспокойный маленький молоточек старика.

— Не слышишь? Бери молот полегче!

Маленький молоточек имел великую силу! Он создавал такой ритм, когда легко работать и когда совсем не замечаешь, что кувалда весит полпуда.

После молота в руках Анастасии появился гладильник. Степан Лаврентьевич ловко крутил щипцами, подставляя под удар Анастасии то грань пластины, то ребро. Захар Афанасьевич, не мигая, смотрел на умелые руки мастера, как будто гипнотизировал их. Через несколько минут все увидели настоящую подкову. Когда Степан Лаврентьевич вынул ее из ведра с водой, Анастасия бережно взяла ее в руки.

— Подкова!.. Фрося, смотри — подкова!

Анастасия восхищенно причмокивала губами, Фрося улыбалась.

— Подкова — это к счастью.

Лицо Степана Лаврентьевича подернулось веселыми морщинками. Они бежали во все стороны от его глаз.

— А ты говорила... Вот видишь — немного и смыслю...

— Невзначай сказалось. Уж ты извини меня, дедушка.

— Ладно, ладно...

Захар Афанасьевич весело улыбался:

— Ну, удружил ты мне, Степан Лаврентьевич, удружил. Люблю мастеров! Пойдем-ка в избу...

— Спойть хочешь? Все равно не останусь в вашей деревне!

По улице Степан Лаврентьевич шел вяло, опустив обессилевшие вдруг руки. И не верилось, что эти же руки совсем недавно быстро крутили шипцы, так задорно выбивали дробь молотком. Захар Афанасьевич, наоборот, был возбужден и все время забежал вперед, преграждая дорогу Степану Лаврентьевичу.

— И куда ты торопишься, куда ты спешишь? Вот человек, минуты не постоит! Ну, послушай, ведь это такое дело... Ну, послушай!..

— И не буду, и не приставай! Тебе надо на конюшню торопиться, а мне — в район, пенсию хлопотать.

— Кобылы не заплачут без меня! А тебе в район совсем не надо. Какая тебе пенсия нужна? Ты можешь пять таких заработать!

Степан Лаврентьевич остановился.

— Освободи дорогу! Подпоил, вот и согласился на день остаться. А теперь не останусь.

— Выпили-то с куриную слезу... Сейчас мы это дело повторим!

— Я тебе двадцать раз говорю... Опять забежал на дорогу! Ничего не выйдет.

Как ни мешал дед Захар, они все же добрались до дома.

Тани не было. Она оставила на столе крынку молока и записку на газетном клочке: «Пошла на парники. Ешьте и спите».

Вот посоветовала! Как раз только и спать, когда Степан Лаврентьевич уже собрал свою котомку. Он постучал об пол суковатой палкой, как будто пробовал: выдержит ли она длинную дорогу.

А Захар Афанасьевич сидел на лавке напротив него, разглядывал поднятые носки своих разбитых валенок и уныло тянул:

— Лучше бы не показывал...

— А чего таить? Надо, чтобы и ты увидел: есть на свете мастера! А то сидишь тут и ничего, кроме своей бороды да лошадиных хвостов, не видишь.

— Ну на один денек останься! Чего тебе стоит, а? Научи нашу Анастасию, ну самой малости — кузнечному языку. Ведь нам пахать совсем не на чем. Останься, а?

— Останься, останься! Научи, научи!.. Кузнечным-то языком и гвоздя не скуешь. Уметь надо, а этого за день не достигнешь, вот что. Пристал, как банный лист!

Захар Афанасьевич выдержал и это обидное сравнение. Степан Лаврентьевич перестал возиться со своей котомкой и вдруг накинудся на Захара Афанасьевича, постукивая своей увесистой палкой об пол. Еще чего доброго — ударит!

— Старый, а не понимаешь пустяковины! Я только молоточком помахал, а видишь — рука не поднимается.

— Ну, а ты сиди на пороге и, как оно называется... инструктируй, — уныло советовал Захар Афанасьевич.

— Эх, голова садовая! Легко сказать — инструктируй. Ты вон даже на этом слове и то запнулся. Да какой же мастер может усидеть на месте, когда видит не дело? Какой, я спрашиваю? Да тут не только молоточком — кувалдой будешь махать! А через минуту смертушка за тобой придет! Какой же мне расчет умирать, а? Мне еще надо поглядеть, как Гитлер в гроб сыграет!

И неизвестно, чем бы кончился этот разговор, если бы в избу не вошли Александра Григорьевна и Анастасия.

— Вот это и есть тот самый мастер, Александра Григорьевна,— сказала со счастливой улыбкой Анастасия Семушкина.

Григорьевна подала руку старому мастеру. Другую держала за спиной.

— Здравствуйте, Степан Лаврентьевич!

«Ишь ты, и отчество узнала!» — с удовольствием отметил про себя кузнец.

— Пришла спасибо вам сказать.

— Пока не за что.

— Ну, как же не за что? Вот показал нашему кузнецу, как по-настоящему молоток держать. А за такую подкову — вдвойне спасибо!

В руке Александры Григорьевны была подкова. Она слабо поблескивала седыми краями на ладони председателя. Степану Лаврентьевичу собственное изделие в чужих руках показалось очень хорошим, но вслух сказал:

— Что тут такого? На свете, может, и лучше есть. Кто его знает!

Анастасия замахала руками:

— И слушать не будем такое! Лучше не может быть!

Он ожидал, что женщины долго и утомительно будут просить его остаться в деревне. Но этого не случилось. Александра Григорьевна вздохнула и сказала:

— Вижу, в путь-дорогу собираетесь?

— Да надо бы...

— Может подвезти вас?

Степан Лаврентьевич посмотрел на вытянувшееся в ожидании его ответа лицо Захара Афанасьевича, на Анастасию, глядевшую умоляющим взглядом, на председателя... Потом перевел глаза к окну и сказал:

— Да нет... Сегодня не надо... Ночку переночую.

... На ночку, потом на другую, а потом на неделю остался Степан Лаврентьевич в «Переломе».

Ведь и не уговаривала его Александра Григорьевна, а он остался. Как будто каким ключиком открыла душу старого мастера.

Подъезжая к «Перелому», секретарь райкома Бороздин знал, что при встрече с ним Александра Григорьевна в первую очередь спросит насчет обещанных кузнецов. Кузнецы есть, но послать в «Перелом» он их не сможет, надо будет взять инвентарь в МТС. Предстоял, очевидно, неприятный разговор, и Бороздин был к нему готов.

Вот и деревня. Анатолий Александрович услышал перезвон в кузнице. Что бы это значило? Удивленный, он остановил лошадь и отправил ее с первым подвернувшимся мальчишкой на конюшню. Подойдя к кузнице, Бороздин увидел забавную картину. В дверях кузницы, спиной к дороге, на деревянном чурбаке сидел незнакомый седобородый старичок. Он размахивал обеими руками и по сердитому лицу было видно, что ругался. Старик так увлекся этим, что не заметил подошедшего Анатолия Александровича.

— Ну скажи ты мне, Фрося, скажи, пожалуйста, и кто это родил тебя такую? Сто раз говорю: бей со скользом!

Из кузницы доносился обиженный девичий голос:

— Ну с каким же скользом! Я бью так, как вы вчера учили.

— Бестолочь, и все тут! — старик безнадежно махнул рукой. — Так надо бить, когда грубая работа. А тут отделка. А ты, Настасья, чего рот-то открыла? Учи девуку!

— Я сама не понимаю.

— Учу, учу... — горячился старик. — Эх вы, мастера. Всю кровь мне перепортили. Опять показывать надо?

Послышался голос Анастасии Семушкиной:

— Не показывайте, Степан Лаврентьевич. А то покажете — и опять целую неделю будете с руками мучаться. Себя-то жалейте.

Старик успокоился, пристроился поудобнее на чурке и ворчливо, но уже примирительно сказал:

— Ну, ладно, ладно... Раскудахтались... Чего смотрите на меня?

И тут старый кузнец заметил улыбающегося незнакомого человека в потертой шинели. У Степана Лаврентьевича глаз был наметан: он сразу понял, что перед ним стояло начальство, районное, а может быть даже и областное начальство. Незнакомый посмеивался, потирая переносицу:

— Ну и шумишь ты, дед!

— В работе всякое бывает... Здравствуйте! За шумишь тут, когда второй день одну борону чиним.

Разговорились. Хотя Анастасия и Фрося были черные, как негры на картинках, но Анатолий Александрович узнал их. Он кивнул головой в сторону деда, все еще продолжая улыбаться и потирать переносицу:

— Крутой характер у деда, не плачете?

— Плачем,— призналась Фрося,— плачем, да что поделаешь? Ковать-то ведь все равно надо.

— Надо, надо...

Секретарь райкома сел рядом со старым мастером.

— Ну, как они, ваши подмастерья?

— Подмастерья ничего. Оно, конечно, поругиваю. Да как без этого? Анастасия Ивановна, можно сказать, скоро мастером будет.

— Уже мастером?

— Не сейчас, конечно, а годов этак через пять.

— Ничего себе, обрадовал! Да за такое время инженером можно стать!

Но последних слов Степан Лаврентьевич, видимо, не расслышал, а удивление секретаря понял так, что он не верит в мастерство Анастасии.

— Не верите? А вот посмотрите!

Старик поднялся, широким жестом пригласил секретаря и повел его в глубину кузницы. Там поблескивали сизым блеском семь плугов.

— Это, можно сказать, ее работа.

Анастасия сконфузилась:

— Да ведь это же не я, а вы, Степан Лаврентьевич.

Анатолий Александрович потрогал каждый плуг,

потом начал медленно считать, как будто впервые разучивал счет:

— Семь!.. А откуда же семь? Раньше было шесть.

— А седьмой из старья собрали, лом был всякий.

— Вон что! И не отличишь. А это чьи в стороне стоят?

— А это от наших соседей, с которыми соревнуемся. Три штуки отремонтировали.

— Вот это спасибо, вот это хорошо!

Секретарь наклонился, рассматривая плуги, и вдруг быстро и решительно поднялся.

— Вот что. Вы, Анастасия Ивановна и Фрося, останетесь здесь, а мы пойдем, потолкуем. Попрошу вас, Степан Лаврентьевич, со мной.

И он ушел с дедом.

Долго сидели женщины. Уже и отдыхать надоело. Похрустывая пальцами, поднялась Фрося:

— Что же мы сидим-то, Ивановна?

— И верно, хоть зубья начнем ковать. Ворчит наш дед из-за этих борон.

Задышали меха, из горна полетели искры.

Когда на чурбаке сидел Степан Лаврентьевич и сварливо поругивал начинающих кузнецов, все казалось понятным. А вот как остались одни,— и щипцы и маленький молоточек перестали слушаться Анастасию. И Фрося все время ударяла не туда. Зуб получился длинный, уродливый, и возились с этим зубом больше часу, устали обе. А деда Степана все не было. Анастасия не выдержала:

— Побудь-ка одна, Фрося. Сбегаю, узнаю.

Прибежала она в правление и видит: Степан Лаврентьевич сидит на лавке, рядом с ним — узелок, все его имущество, с которым он когда-то остановился в деревне. Анатолий Александрович пальцами барабанит по коленке и выжидающе смотрит на Александру Григорьевну. Заметив Семушкину, секретарь спросил:

— Скажи, Ивановна, прямо: можете вы с Фросей вдвоем в кузнице справиться?

Она замаялась:

— Я что? Я ничего не знаю... Мастер пусть скажет.

Старик с минуту теребил тощую бороденку.

— Оно, конечно, туговато будет. Но справятся.

Анастасия Ивановна покраснела, ее смутила похвала.

— А зачем вы берете от нас Степана Лаврентьевича? — спросила она.

— А мы его инструктором кузнечного ремесла сделаем. По району будет ездить. — Лицо секретаря светилось радостью. — Теперь мы живем! Соберет Степан Лаврентьевич подходящих людей и привезет в ваш колхоз на выучку.

Поднялся.

— Ну, ладно. Не обижайтесь, не ворчите. Теперь с вашей помощью, Александра Григорьевна, мы хорошее дело начнем. А через неделю вернем вам Лаврентьевича.

Мужчины пошли к дверям. И только тут Григорьевна спохватилась: а что же будет есть в дороге старый мастер? Побежала.

— Куда ты? Куда?

— Подождите, сейчас вернусь!

И скоро вернулась, держа в руках аккуратный узелок.

— Это в дорогу тебе, Степан Лаврентьевич. Ватрушки.

Растрогали Степана Лаврентьевича ватрушки. Это было случайное совпадение: не знала Григорьевна, что, провожая в дорогу Степана Лаврентьевича, покойная жена клала в его котомку такие же ватрушки. У Степана Лаврентьевича глаза стали влажными.

— Да не надо бы... Ну, спасибо. Скоро, стало быть, вернусь.

— Будем ждать!

Анатолий Александрович рассмеялся:

— Эх, председатель, будто на век расстаетесь. Жди гостей, да не бойся: они со своим хлебом приедут.

Кошовка сорвалась с места. За нею поднялось снежное облако, и скоро она скрылась за поворотом.

А женщины еще долго стояли, держа ладони козырьком над глазами, и глядели вдаль, глядели так, как глядят, когда провожают самого близкого, родного человека.

— Уехал наш мастер, — вздохнула Анастасия Семушкина. — Ой, как Фрося расстроится!

— Уехал... — и задумчиво и гордо сказала Григорьевна. — Уехал с почетом.

Три дня прошло с того времени, как уехал Степан Лаврентьевич. Кузнечные дела у Анастасии и Фроси шли неважно: отремонтировали только полбороны. А соседи уже приехали за инвентарем. Соседи — это две бойкие, краснощекие женщины, укутанные в полушубки и огромные шали. На широких розвальнях они подъехали прямо к кузнице.

— Эй, мастера! Здравствуйте!

Видимо солидный мужской бас готовились услышать они, потому что очень уж удивились обе, когда из кузницы в блестящем кожаном переднике вышла измазанная угольной пылью Анастасия Ивановна.

— Кто тут приехал? Здравствуйте!

Женщины удивленно захлопали седыми от инея ресницами.

— Здравствуйте! — еще раз сказали они.

Они хорошо знали Семушкину много лет и никак не думали, что это она и есть кузнечный мастер.

— Ну что рты-то открыли? Языки поморозите! — засмеялась Анастасия.

Ошеломленные неожиданностью, женщины говорили мало. Оглядели кузницу, погрузили в розвальни плуги. И тогда одна из них сказала:

— Стало быть, это дело и нашему брату под силу. У нас тут еще один плуг остался. Вот что, — а если я учеником буду?

Она вопросительно посмотрела на Анастасию.

— Поговори с председателем.

Дело кончилось тем, что одна из женщин осталась; провожая подругу, она говорила ей:

— Ты езжай, Катя, да толком расскажи председателю, что видела. А я останусь здесь, подсоблю. Пусть там мама провизии дней на пять пришлет.

И она осталась.

А дня через три произошло вот какое событие. В деревню, в первый раз за эту зиму, входила грузовая автомашина. В кузове, спиной к ветру, сидели женщины, закутанные в шали и тулупы. Из-за заднего борта виднелись поручни плугов. За машиной бежали на коньках деревенские ребятишки. Из окон выглядывали любопытные: ради чего это прикатила в «Перелом» грузовая машина с народом и плугами? Она остановилась у правления. В кузове зашевелились. Послышался простуженный голос:

— Чтоб эту дороженьку нелегкая взяла!

— Вот и приехали, голубушки! — бойко ответил старик, по-молодому выскочивший из кабины.

Это был Степан Лаврентьевич. Он сразмаху гулко застучал варежкой о варежку.

— Вылезай, народ! Хватит мерзнуть!

Женщины, закутанные в теплое, неуклюже переваливались через борт и, вскрикнув, падали в мягкий снег. Пока они подымались, да пока отряхивались, подоспела Александра Григорьевна. Увидев Степана Лаврентьевича, она радостно охнула:

— Приехал!

Степан Лаврентьевич с нарочитой серьезностью сдвинул седые брови, из-под которых весело поблескивали сощуренные глаза, шутливо погрозил огромной варежкой:

— А вы уж крест поставили? Я вам!.. Ну, здравствуй, председатель, здравствуй!.. Вот гвардию привез.

Приехавшие двинулись с узлами за спинами в дом правления, а Степан Лаврентьевич забрался обратно в кабину.

— Куда ты, дед? — всполошилась Григорьевна.

— Испугалась? — весело спросил старик. — Не бойся. В кузницу я, эти самые учебные пособия выгружать.

Учебными пособиями оказались множество сломанных плугов и борон. Их надо было не ремонтировать, а делать заново.

Семушкина, черная от угольной пыли и пота, как увидела деда, так и кинулась навстречу.

— Насовсем?

— Насовсем, насовсем, Настасьюшка!

Она обняла его и поцеловала в щеку, оставив на ней черные следы.

— Учеников полный кузов привез. Видела?

— А я думала — комиссия.

— Академию откроем! — задорно сказал старик.

Фрося тоже поздоровалась. От этого чистенькая рука старика стала такой, как будто он вычищал сажу из дымохода.

Мало жил он здесь, а вот как родного встречают его люди. Он и сам бы мог рассказать, как тосковал по ним эту неделю. Тут дед заметил еще одну женщину в черном кузнечном одеянии.

— Да я вижу вы тут не дремлете, тоже учениками обзавелись. Ну, сгружайте!

Женщины быстро опорожнили кузов.

Дед заставил своих подручных рассказывать новости. Обрадовался, что и для соседей инвентарь отремонтировали.

— А как Захар Афанасьевич жив-здоров?

— Бегаёт.

— Ну, пока будьте здоровы! Чаю попою, а потом учеников с нашей академией познакомлю. А завтра с утра — за молоточки, за работу. Только две недели отпустил им Анатолий Александрович. Потом другие придут. Вон как дела-то повернулись! — гордо закончил дед.

* * *

... Сейчас ранняя весна — конец марта. И уже не по заданию, а просто так — повидать старых знакомых пришел я в «Перелом». Еще издали услышал знакомые звуки — веселый перезвон железа в кузнице.

Вот и кузница. На месте старой деревянной кузни с прокопченными стенами стояло просторное помещение, сложенное из кирпичей. В двух станках боязливо перебирали ушами лошади, около них сустились молодые парни в кожаных передниках.

И тут я увидел своих старых знакомых дедов — Захара Афанасьевича и Степана Лаврентьевича. Они сидели на толстом бревне и грелись на солнце. Дед Захар был в своей неизменной клочковатой шапчонке с бессильно опустившимися ушами, в коротком тулупчике. Тулуп он снимал только в мае.

Степан Лаврентьевич предложил мне свой кисет и стал расспрашивать про ленинградские новости. Он постарел, но был все таким же любознательным.

Степан Лаврентьевич теперь не работал. Он разыскал сына и вместе с семьей перетянул его в «Перелом». Сидеть бы старому дома, забавлять внучат. Но не сиделось.

— Я еще, братец ты мой, не такой старый, чтобы валяться на печи, да пенсию проедать. Я еще того... Я вот сюда захоживаю. Кузнецы-то молодые... Нет, да и посоветуешь...

— А где же Анастасия Ивановна? — спросил я.

— Настасья-то? А она в кузнице. Теперь она вроде директора. Не шути — четверо теперь у нее мастеров. И мой сын тут же. А Фрося учиться уехала. На механика.

— Одним словом, ничего на месте не стоит, — вмешался в разговор дед Захар. Он поднялся. — Пойдем-ка, мужики, побалуемся чайком.

И весело подмигнул. Степан Лаврентьевич пригрозил пальцем:

— Знаю я твой чаек!

И мы идем по деревне. Весело полощутся в лужах воробы. Около скворешен озабоченно суетятся скворцы. Это уже настоящая весна...

НА БЕРЕГУ

Рассказ

Где-то вдали пели девушки. В прозрачном вечернем воздухе голоса звучали чисто и мягко. Море напозало на песчаную косу и вторило песне глубокими, мерными вздохами. К самой воде опускалась черемуха и все же не могла отразиться в ней — вода была беспокойная, смутная. Северная весна нежно цвела вокруг.

Минер с «морского охотника» комсомолец Яша Кирсанов сошел со скользкой и шаткой палубы на берег. Вот уже целый месяц «охотник» нырял в пронумерованных квадратах Балтийского моря, проводя одно учение за другим. Яша всей душой любил мглистую штормовую Балтику, ее влажные ветры и суровые просторы. Но сегодня, когда катер пришвартовался у пирса базы и берег встретил Яшу цветением весны, он понял, как сильно соскучился по твердой родной земле.

Сойдя с катера, Яша медленно пошел вдоль берега, крепко, по-моряцки, ставя ноги и весело глядя по сторонам. Песня приближалась к нему, становясь слышнее и шире.

Яша остановился, поняв, что, сам того не замечая, шел на песню, в сторону рыболовецкого колхоза.

«А что! — радостно подумал Кирсанов. — Пойдука в их колхозный клуб. Посмотрю кино, а то и с девушками потанцую... Добрó».

Он прошел уже половину пути, когда на берегу одной обширной бухты увидел группу рыбаков. Их

тяжелые дощатые карбасы были приткнуты к отмени, а рыбаки, широко жестикулируя, о чем-то громко спорили. Яша подошел ближе, поздоровался. Сын мурманского помора, он любил людей этой трудной и смелой профессии.

Эстонцы в блестящих от рыбьей чешуи зюйдвестках с минуту помолчали, разглядывая матроса, потом снова заговорили на своем языке. Вглядываясь в их обветренные, коричневые лица, сляясь понять незнакомую взволнованную речь, Яша уловил только одно часто повторяемое слово — мина.

Он зорко оглядел бухту. О какой мине говорят рыбаки? Если о плавающей, то ее не видно. Неужели о подводной?

К Яше подошел высокий костлявый старик с растрепанной ветром бородой.

— Я сам председатель колхоза, — сказал он, старательно выговаривая русские слова. — Вот в этой бухте рыбы-то много, очень много. Надо ловить, а в бухте — мина. Не дай бог, зацепишь сетями или карбасом. Ведь людьми рисковать не станешь, а и рыбу упускать не хочется. Богатый улов... А тут вот мина!..

— А как же вы ее заметили, если она под водой? — спросил Яша.

— Штиль был, — ответил старик, — а у Татрика глаза молодые...

— Это я Татрик! — раздался звонкий голос, и белоловый юноша вскочил на высокий валун. — Было дело так. Сажу я в шлюпку и смотрю в воду. И вдруг вижу — под водой шар, а из него рога торчат...

— А где стоит мина? Далеко? — перебил его Яша.

— А вон, видите, — ответил председатель, — на волнах поплавок от сетей качается. Это мы заметили место, чтобы не потерять.

Прищурив острые серые глаза, Яша уже вглядывался в даль. На море, рассыпая белесую пену, ходила крупная тяжелая зыбь. Вот гребень волны вынес

на поверхность точку, зеленым огоньком блеснувшую в лучах вечернего солнца...

— Есть! Вижу поплавок! — крикнул Яша. И хотя до мины было еще далеко, сердце минера уже наполнилось знакомым азартом, похожим на вдохновение.

«Увольнительная до полночи... Так. Можно сбегать на «охотник» и позвать товарищей... Нет, это долго...»

— Без подрывников ничего не сделать, — задумчиво проговорил председатель колхоза. — Придется машину гнать за ними в город...

Яша повернулся к рыбакам, неохотно отрывая взгляд от поплавка.

— Я минер, — сказал он не без гордости. — Я сам уничтожу мину.

Эстонцы, как по команде, выбили из трубок пепел и заговорили все сразу. Яша не понимал их языка, но чувствовал, что они беспокоятся за его судьбу. Тогда он, улыбаясь, расправил рукав форменки. Рыбаки столпились вокруг Яши, рассматривая нарукавный знак минера — рогатое изображение мины.

— Мне нужны, — сказал Яша, — большие ножницы, подрывной патрон и бикфордов шнур.

* * *

...Через полчаса от берега отвалила шлюпка. В ней сидели Яша, председатель колхоза и Татрик.

Яша, ритмично погружая в воду короткие весла, думал: «Сейчас еще только девять. К четырем склянкам надо быть на «охотнике». Ничего, трех часов хватит... Держись, фашистское наследие!»

А с берега несло опьяняющим запахом цветущей земли. Море примешивало свои острые, настоенные на соли запахи. Было светло и ясно. Вода, перламутровая и розовая, отражала нежные закатные огни. Где-то очень далеко еще звучали девичьи голоса, и песня, слабая и дрожа, казалось, таяла над простором моря.

Почему-то Яша вспомнил, что в кармане лежит увольнительная, что он собирался потанцевать с

девушками в веселом рыбацком клубе... И вспомнив это, он заторопился, всем телом наваливаясь на весла.

— Осторожней! — крикнул с кормы Татрик. — Она где-то здесь...

Поплавок из зеленого стекла уже был совсем рядом. Карбас долго крутился на одном месте. Все трое упорно вглядывались в воду. Наконец из глуби показалось темное круглое пятно. Яша рывком потабанил веслами, отодвинув шлюпку назад. Теперь они стояли вблизи от мины.

Яша энергично сбросил с себя на днище одежду и, оставшись в одних трусах, распорядился:

— Когда я нырну, вы отплывите подальше.

Потом тонким шкертом привязал к плечу большие кровельные ножницы и взял их в правую руку. Набрав полную грудь воздуха, он сразмаху, головою вперед, ушел под воду. Морская глубина не была такой черной, как это казалось сверху; сияние белой ночи проникало сюда косыми лучами, и зеленоватый сумеречный свет призрачно бродил вокруг.

Яша нырнул глубже, и мина закачалась перед самими его глазами. Она держалась на якоре, соединенная с ним тонким стальным тросиком — минрепом. Яша уцепился было за него, но уже не хватало воздуха, и он, изогнув тело, чтобы не задеть мину, всплыл на поверхность.

Отплевывая морскую горечь, Яша доплыл до шлюпки и, уцепившись за борт, с минуту отдыхал на воде.

— Ну, что? — почему-то шопотом спросил Татрик. — Какая она, мина?

— Самая настоящая. Фашистского образца.

И Яша снова нырнул под воду. Две пары глаз провожали его на глубину: одни глаза — по-отечески серьезные, наполненные тревогой, а другие — глядящие с восхищением и с завистью.

А Яша уже резал минреп. Стальной тросик был свит плотно и поддавался тупым ножницам с трудом. Яша медленно выдыхал воздух и пошел наверх, когда горло уже сдавили судороги. На этот раз он всплыл долго, почти задышался, в глазах стало темно, но

пленка зыби, наконец, прорвалась над его головой, и Яша задышал полной грудью.

— Полторы минуты,— сказал Татрик, протягивая ему руку,— а я только сорок секунд могу продержаться в воде.

Ничего не отвечая, Яша с трудом перевалился через борт и рухнул на днище, обмякнув всем телом.

Но прошло несколько минут, и он снова был под водой. На ощупь отыскав место начатого пореза, Яша уцепился ногами за минреп и стал резать его двумя руками сразу. Так было рискованнее, но зато вернее.

«Не вылезу, пока не кончу»,— упрямо решил Яша и с силой надавил на рычаги ножниц. Тросик хрустнул, и два его конца разошлись — один утонул, а другой вместе с миной медленно пошел на поверхность.

Вынырнув, Яша проплыл вокруг мины два раза и осмотрел ее со всех сторон. Его внимательный глаз успел заметить все: «Мина поставлена с самолета... против мелких кораблей и катеров... Ну, ладно, сделано самое трудное, осталось самое опасное — взорвать...»

Старик-председатель и Татрик помогли ему выбраться из воды. Яша сел на кормовую банку и устало прислонился спиной к мачте. К мине подошли еще рыбаки, но сама мина, казалось, привлекала их меньше, чем Яша. Они подводили свои шлюпки к карбасу председателя и с молчаливым восхищением рассматривали коренастую фигуру русского матроса: «Ну и парень!»

Поднявшись на банку во весь рост над целой флотилией рыбацких лодок, Яша обратился к эстонцам:

— Вот что, товарищи! Давайте мне шлюпку, которая полегче, два крепких весла, а сами отходите и ждите меня на берегу. Я выведу мину в открытое море, а там... это уж мое дело.

Татрик обиженно заморгал белыми ресницами.

— А меня? Мне можно?.. Я первый ее заметил...

Яша помолчал: помощника, конечно, не мешало бы, но такие мины, как эта,— «старушка, оставшаяся

в невестах», — имеют капризный характер: они любят взрываться, когда их об этом не просят...

— Нет, — ответил Яша, — нам вдвоем тесно будет.

Он передал председателю колхоза часы, бумажник и одежду. Потом взял подрывной патрон, коробку папирос «Звездочка» и легко вскочил в поданный ему маленький, верткий «тузик».

Обождав, пока грузные карбасы не отойдут к берегу, Яша осторожно приблизился к мине. Она была всего в десяти футах от «тузика», когда он перестал грести и повернулся к ней. Качнувшись на волне, мина, казалось, погрозила ему острыми свинцовыми рожками. Яша знал — дотронься грубо до этих рожек и они сплющатся, внутри них треснут стеклянные пробирки, разольется электролит, ударит гремучая ртуть, мина сначала вздрогнет...

Но этого не случится. Яша будет осторожен и точен, как ювелир.

Попрежнему не сводя глаз с мины, Яша убирает весла и тихо гребет — гребет руками. Наконец ладони вытянутых рук упираются прямо в липкий вонючий бок мины. Яша плавно вертит ее на воде, отдирая с ее пояса скользкие водоросли и похрустывающую ракушу. Находит залепленное илом висячее кольцо и ввязывает в него надежный пеньковый трос. Проследив, чтобы трос случайно не зацепил за рожок, Яша мягко отталкивает мину от кормы и быстро гребет в открытое море.

Мина нехотя тащится позади. Она то скрывается под волной, то снова выпрыгивает на гребень.

Выведя «тузик» в открытое море, Яша аккуратно сложил весла и взял в руки пачку папирос. Он долго выбирал папиросу, туго набитую табаком. Потом закурил, но она стал гореть наискось, и Яша сразу выбросил ее за борт. Достал другую. Эта раскурилась ровно.

Удовлетворенно сделав две затяжки, Яша подтянул мину к корме и ловким движением отвязал трос от кольца. Точно почувствовав свой близкий конец, мина запрыгала на обрывистых волнах, вырываясь из рук.

С побледневшим от напряжения лицом, Яша осторожно повесил на один из рожков подрывной патрон и мгновенно опутал мину бикфордовым шнуром. Огляделся. Все ли сделал? Да. Все. Можно начинать.

Теперь он удерживал мину одной рукой, а другая медленно вынула из рта папиросу.

Широко раскрыв глаза, Яша поднес горящую папиросу к шнуру и на мгновение задержал руку. Наступал самый опасный момент. Одинокaя чайка закружилась над головой, тревожно крича и хлопая крыльями. Решительным жестом Яша плотно прижал к концу шнура огонек папиросы.

— На! Кури! — громко сказал он.

Шнур начал тлеть сизым дымком. Не мигая, смотрел Яша, как огонек быстро обегает мину, неумолимо приближаясь к патрону, потом изo всех сил оттолкнул мину от себя и бешено навалился на весла.

Когда пройдут две минуты, надо лечь на днище «тузика» и лежать, прижавшись к доскам.

Вот уже прошла минута, полторы... Нос шлюпки с шумом разрезает волны, весла скрипят от усилий.

Все! Срок истек!

Но Яша все гребет.

Одна секунда... две... три! — и он падает вниз лицом. В уши сразу забивается плотная вата взрыва, громадный столб воды, наподобие сталагмита, стоит неподвижно, потом с грохотом и звоном рушится в море. Яша поднимается на ноги, смотрит. На том месте, где раньше была мина, бурлит и клокочет воронка. Отряхивая с гребней мыльную пену, высокие волны расходятся громадными кругами во все стороны.

Яша чувствует под ногами холод. Вода бьет из пазов обшивки тонкими упругими струями, быстро затопляя «тузик», — подводный удар оказался сильным. Но это уже совсем не страшно. Навстречу Яше идет рыбацкий карбас. Десятки рук подхватывают его из воды и поднимают на борт.

— Ну, спасибо, друг, выручил, — говорит старик, и голос его дрожит. — Смелый ты человек, дай бог тебе здоровья... Настоящий ты человек — советский!..

Эстонцы хлопали Яшу по голой спине грубыми просмоленными ладонями, звали в гости и, дружно смеясь, наперебой предлагали покурить из своих трубок. Яша оделся быстро, как по боевой тревоге, улыбался в ответ и, чтобы никого не обидеть, курил из всех трубок подряд.

Карбас подошел к берегу, и здесь Яша увидел группу эстонских девушек-рыбачек. Рослые, светлоглазые, они смотрели на него, не скрывая любопытства и восхищения.

Времени оставалось мало. Попрощавшись со всеми за руку, Яша поспешил на катер.

Он быстро прошел длинный путь от рыбацкого колхоза до морской базы. Поднялся на высокий холм, заросший перепутанным можжевельником, и перед ним, как на ладони, открылась Голубиная гавань. Яша увидел у пирса свой катер, и на душе у него стало легко и радостно. Завтра он снова уйдет на «охотнике» в штормовые просторы Балтики, и пустынный квадрат моря опять огласится четкими командами офицеров, звонкими ударами латунных гильз и рокотом моторов под палубой.

...Белая ночь опустилась на весеннюю землю и притихшее доброе море. Песня давно погасла вдали, и только сонная волна глубоко и мерно вздыхала у берега.

ЖЕНЬ-ШЕНЬ

Рассказ

В самой глухой тайге, в непроходимых сумрачных балках, где широкая лиственница переплетает свои могучие корни с голубохвойным корейским кедром, растет невзрачный цветок — жень-шень.

Точно скрываясь от всего живого, он прячется под дикой виноградной лозой, и три его сморщенные

ягоды совсем незаметны в зарослях пестрого маньчжурского перца.

Но люди — идущие по тайге, едущие верхом, плывущие в лодках — ищут не цветок и не ягоды. Грубый корень шень-шень, глубоко уходящий в землю, ищут беспокойные люди.

Жень — по-китайски человек. Шень — по-китайски корень.

И корень, вырытый из земли, действительно, похож на старого человека. Он сгибает усталую спину, молитвенно прикладывает к груди корявые натруженные руки и пугливо поджимает под себя длинные ножки.

Природа наделила жень-шень великим даром — делать человека здоровым и жизнь его — долгой. Жень-шень разгоняет по жилам остывающую с годами кровь, старики начинают смотреть по-молодому и к пожилым возвращается сила и ловкость молодости.

Век человеческий короток, не успеть докончить начатое в юности. Каждый хочет быть молодым, каждый хочет быть здоровым, каждый хочет иметь волшебный корень жень-шень!

И вот, засунув за пояс костяную лопатку, уходят в тайгу упрямые жизнелюбцы. Они блуждают по темным балкам, минуя звериные тропы, и каждый раз с замиранием сердца раздвигают колючий кедровник, — когда же, наконец, глянет на них невзрачный цветок жень-шень.

* * *

За окном медленно струится теплый осенний дождь. Его принес горячий ветер с далеких хребтов Хингана. Сквозь шорох деревьев море доносит тихие вздохи прибоя. Ночные желтые мотыльки влетают в распахнутое окно фанзы и, стуча крылышками, бьются о толстое стекло горячей лампы.

Ло Со Иен макает в тушь тонкую кисточку и быстро выводит пестрые паучки иероглифов. Они бегут по рисовой бумаге, страстно описывая человеческие страдания и горести. Когда страница кончается, Ло

Со Иен спокойно поправляет фитиль лампы и берет бамбуковый веер. Он долго машет им над рукописью, пока не высохнет густая китайская тушь.

Ло Со Иен стар. Глубокие морщины избородили его сухое лицо, глаза смотрят устало. Вот уже пять лет корейский писатель живет в этой таежной фанзе, окруженной морем, горами и зелеными дебрями. Вот уже пять лет его ищут японские фашисты, чтобы заглушить свободный голос Ло Со Иена.

Но корейский народ любит своего неподкупного друга. Он укрыл его от японских ищеек, спрятал в самую глубь страны, чтобы Ло Со Иен мог попрежнему говорить свободно.

Каждую неделю к заброшенной фанзе спускается по неприметной тропинке девочка-горянка и приносит Ло Со Иену рис, кунжутное масло и золотистую хурму. Ло Со Иен передает ей свои новые рукописи. И плотно сложенные листки рисовой бумаги переходят из рук в руки, читаются в глухих партизанских ущельях, проникают через решетки застенков, доходят до самых далеких селений и всюду говорят правду, поднимая народ на борьбу за свободу.

И пока над Кореей стоит черная ночь оккупации, в далекой фанзе тихо светит одинокая лампа; положив на колени письменную дощечку, сидит, склонившись над нею, старый, седой человек.

Медленно струится дождь. Медленно вздыхают морские волны. И все медленнее пишет Ло Со Иен: в слезящихся от старости глазах расплываются столбики иероглифов.

Осторожно сдувая с рукописи обгоревших мотыльков, Ло Со Иен пишет:

«...старый Фын был краскотером. Согнувшись над чаном, Фын четырнадцать часов в день перетирал твердые комки пигментов. Хозяин мастерской — японец Никасима — не разрешал выпрямлять спину. И старый Фын половину жизни прожил согнувшись, с мешалкой в руках, задыхаясь в ядовитом тумане разноцветной пыли. И за эту свою работу он получал гроши, которых нехватало даже на бобо-

вую похлебку. Старый Фын месяцами питался морской капустой, собирая ее по ночам на берегу пролива. Собирал, прячась за камни, потому что капуста — дар океана — тоже была японской. Фын давно облысел, руки его тряслись, а спина сгорбилась, как у старого корня жень-шень...»

Тут Ло Со Иен отложил кисточку в сторону и впервые за эту ночь встал. В углу фанзы он разрыл земляной пол и, вынув маленький сверток, подошел к лампе. На темной старческой ладони Ло Со Иена лежал корень, сгорбленный, как спина старого Фына.

Морщины на лице Ло Со Иена постепенно разгладились, и он улыбнулся, вспомнив, как на прошлой неделе к нему пришла девочка-горянка. Она принесла старому писателю вот этот корень жень-шень — дар партизан и сообщила великую радость: партизаны велели передать, что день освобождения близок. Красная Армия, победив германских фашистов, теперь идет на помощь корейцам.

Ло Со Иен погладил коричневого человечка пальцем. Хороший подарок прислал ему народ. Когда станет трудно ходить и пальцы не смогут держать кисточку, Ло Со Иен выпьет целебный настой этого корня, и он возвратит ему утраченные силы...

Со стороны моря вдруг крикнула чем-то встревоженная чайка. Тайга сразу отозвалась на ее крик сотнями голосов. Ло Со Иен быстро собрал рукописи и спрятал корень.

«Кто это разбудил птиц?! Кто это ходит по тайге в такое время? Уж не бегут ли японцы от русских?»

Откинув циновку, заменявшую дверь, Ло Со Иен вышел из фанзы и, крадучись, спустился к берегу моря. Всмотревшись в ночные сумерки, он увидел на песчаной отмели человека, выброшенного прибоем. Волны с глухим шорохом набегали на берег, бережно вынося на сушу его бессильное тело; птицы с криками носились над ним, точно звали кого-то на помощь.

Ло Со Иен раздвинул ветви деревьев и, осторожно приблизившись к воде, перевернул человека на спину.

Это был моряк, одетый в парусиновую рубаху, заскорузлую от морской соли. Открыв глаза и разглядев склонившегося над ним старика-корейца, матрос сказал, еле разжимая губы:

— Товарищ...

Ло Со Иен не умел говорить по-русски, но хорошо помнил это слово — «товарищ» и знал ему верную цену. Он ухватил матроса за плечи и, с трудом оторвав от земли его грузное размякшее тело, дотащил до своей фанзы. Расстелив на полу мягкую цыновку, сплетенную из сухих камышовых листьев, он уложил на нее раненого матроса. Потом ловким движением, вошедшим за пять лет одиночества в привычку, Ло Со Иен поправил обгоревший фитиль лампы и, подняв ее над головой, всмотрелся в лицо русского. Цыновка быстро намокала кровью, дыхание матроса становилось коротким, прерывистым. И в этот момент Ло Со Иен понял: он не даст умереть человеку, что пришел на помощь его народу, человеку из той большой страны, о которой он так часто писал, называя ее Страной Правды и Мира.

Ло Со Иен принес прозрачной родниковой воды и осторожно промыл и перевязал раны матроса. Развел в очаге огонь и поставил на него медную чашу, наполненную водою. Потом, достав корень жень-шень, Ло Со Иен бросил его на дно чаши, прихлопнув сверху тяжелой деревянной крышкой.

Мохнатые мотыльки мелькали в сумерках, ветер шелестел страницами рукописи...

«...старый Фын понял — японец Никасима говорил неправду. Придет день, и труд Фына станет радостью для Кореи. Краски, чистые и яркие, как день победы, будет делать старый мастер для своего народа. Синюю — как свободное корейское небо, желтую — цвет ненависти к врагу, красную — как знамя борьбы за мир!..»

В широкой медной чаше закипала вода. По фанзе распространялся влажный пар, пахнувший разогретой землей. Снадобье становилось густым, коричневым, крепким.

Приветствуя восход солнца, в сопках воинственно протрубили изюбри, утка-мандаринка печально крикнула в зарослях кустарника, и проснувшийся лес огласился клекотом, щебетанием, пересвистом.

Матрос медленно открыл глаза. Вместо обычного ряда заклепок на потолке катерного кубрика, он увидел над головой редкий бамбуковый настил, из щелей которого свешивались длинные, высохшие перья папоротника.

Артем с трудом повернул голову и удивленно осмотрел убогое ветхое жилище. На земляном полу, поджав под себя ноги, сидела корейская девочка, уронив на колени голову с двумя тоненькими косичками. В прорехах ее рваного платья виднелось смуглое худенькое тело. Девочка спала. Рядом с циновкой стояла пустая медная чаша, облизанная черными языками копоти. . .

Почувствовав в своей руке что-то острое и твердое, Артем поднял руку и разжал пальцы, — на грудь посыпалась морская галька.

Артем сразу вспомнил все. . .

Это случилось недалеко от острова Уцуре. Выполнив боевое задание, «морской охотник» возвращался в далекую базу, когда три японские канонерки показались из-за солнца. Началась артиллерийская дуэль. Канонерки пытались отрезать советскому катеру пути отхода, но он разрывал кольцо окружения, яростно огрызаясь ответным огнем. Когда же одна канлодка с шипением ушла под воду, на «охотнике» уже горела палуба, в пробоины хлестала вода и стреляло только одно орудие. Гремучий клубок боя стремительно откатывался к берегам Кореи. Артем все время стоял на мостике, обстреливая из пулемета палубы канонерок. Когда рухнула мачта, Артем привязал флаг к поручням мостика и снова припал к прицелу. Потом он очутился в воде, плавая среди дымных обломков катера. Вздываясь на гребень волны, он видел, как уходила к острову последняя канонерка, волоча за собой темнобордовый шлейф дыма, — как погибла

вторая, Артем в горячке боя даже не заметил. Тогда он поплыл в сторону, обратную курсу японской канонерки. Сколько времени он плыл?.. И когда темный корейский берег оказался совсем рядом, Артем вцепился в хрупкую гальку из всех оставшихся сил... Кто вернул ему жизнь, кто остановил кровь, пропитавшую всю циновку,— Артем еще не знал...

Он не мог знать и другое: как девочка-горянка, спящая сейчас на земляном полу фанзы, прибежала сюда ночью, чтобы сообщить Ло Со Иену новость: Красная Армия освободила соседний город. И старый кореец, взяв бамбуковый посох, пошел по ночной тайге — встретить своих освободителей. Он проделал весь путь до города, из которого пять лет назад его увели партизаны Ким Ир Сена, чтобы спрятать от японских фашистов.

На рассвете Ло Со Иен вошел в родной город, как странник, неся на своих плечах седую пыль пройденных дорог. Но шагал он легко и молодо, почти не касаясь земли своим высоким бамбуковым посохом. По улицам, в узком проходе между домами, между толпами празднично одетых корейцев, двигались советские солдаты, и вначале никто не замечал старого писателя.

Над городом сияло синее безоблачное небо; оно никогда еще не было таким чистым и ясным, как в этот день. И рядом с корейскими флагами, среди ярких осенних цветов, колыхались красные флаги — флаги мира. На крышах домов, на канатах, протянутых поперек улицы, висели лозунги, и Ло Со Иен читал на них свои слова, слова из своих книг, что он писал в глубоком подполье, в той дальней отшельнической фанзе. Но тогда его книги читались в застенках, куда свет проникал только через решетку, читались партизанами при отблесках догорающих перед боем костров, и только сейчас эти слова, написанные красками старого Фына, читались открыто всеми и за это не бросали в тюрьму. Ло Со Иен видел счастливые лица женщин, слышал смех детей, свободный корейский

язык,— все то, о чем мечтал много лет. И он улыбался сам, казалось, что к нему снова возвращается молодость. А люди, узнавая его, говорили:

— Наш Ло Со Иен вернулся в город!

— Ло Со Иен радуется вместе с нами!

Старый учитель, опираясь на посох, смотрел на проходивших мимо него советских солдат, воинов великой страны Правды и Мира, и думал:

«Да, ради этого стоило жить. И жизнь прожита не напрасно. Прожита... а может она еще только начинается?»

Вечером Ло Со Иен возвращался обратно, ведя с собой офицера и двух советских солдат. Он привел их к своей фанзе, и все вместе они вошли внутрь.

Артем Ковалев сидел на камышовой подстилке и, прислонившись к стене, играл с девочкой-горянкой в камушки. Она звонко смеялась и что-то говорила ему на своем языке. Артем не понимал и только улыбался в ответ. На его щеках появился легкий румянец, движения сделались увереннее и, увидев вошедших, матрос, чуть пошатываясь, встал на ноги. Ло Со Иен отошел в сторону и молча наблюдал, как русские обнимают матроса, дружески хлопают его по плечу, а он, еще не совсем прочно стоя на ногах,— все говорил и улыбался. Старый кореец слушал их речь — краткую, твердую, рокошующую, как прибой,— и думал: «Такой язык может быть только у мужественных, открытых людей». Ло Со Иен видел, что все смотрят на него,— смотрят как друзья,— серьезно и ласково. Матрос, поддерживаемый солдатами, подошел к старику и обнял его худые плечи. Он что-то горячо говорил, а Ло Со Иен, не понимая слов, чувствовал их большой и дорогой ему смысл.

На темном небе зеленоватым огнем дрожали первые звезды, когда русские вышли из фанзы. Каждый, прежде чем уйти, крепко пожал руку Ло Со Иену. И старый учитель, не зная как благодарить этих людей, вернувших счастье корейскому народу, кланялся

каждому низким поклоном, касаясь земли концами узловатых пальцев.

Они тронулись в путь — солдаты Правды и Мира. Старик долго смотрел им вслед. Девочка-горянка шла впереди. Матрос часто оборачивался назад и махал ему рукой.

Вот они уже давно скрылись за холмом. А Ло Со Иен все еще стоял и кланялся в ту сторону, куда ушли эти люди, что вернули ему, старику, молодость.

Звезды на небе росли, становясь крупнее, чище и ярче.

БЕГЛЕЦЫ

Рассказ

Наконец все приготовления к встрече Нового года были окончены, и в девятом часу я пришел домой — побриться, переодеться и захватить стихи. Мама открыла мне дверь и спросила, не видел ли я Володьку. Она тоже собиралась идти встречать Новый год к знакомым, а Володьку нужно было накормить и уложить спать. Я ответил, что пойду в сад, может быть он катается там на лыжах.

— Подожди еще полчаса, — сказала мать. — Не появится, — пойдешь, поищешь. Господи, сколько с вами нервов треплется; думаешь, ты лучше был?

Я только улыбнулся в ответ.

Открыв ящик стола, чтобы достать стихи, я понял, что мне надо идти не в сад — искать Володьку, а немедленно бежать в милицию. Поверх моих бумаг, конспектов и стихов лежал вырванный из тетради лист в косую линейку, и на нем четким «второклассным» почерком было написано: «Мама и Сережа, не волнуйтесь за меня, я буду жив и здоров только повоюю немного в Китае. Вова».

В столе у себя я не нашел компаса, перочинного ножа и карманного географического атласа.

Я подумал, что один Володька никуда не решился бы уехать, и единственно, с кем он мог уйти, это с Гришей, братом моего друга. Тот жил в Пушкине, и, как знать, если Володька уехал в Пушкин, то пока они собираются, я может быть еще застану их там.

Матери я записку не показал. Застегивая на ходу пальто, я крикнул ей, что бегу за Володькой, пусть она идет и не тревожится: я его накормлю и уложу.

В Пушкине, на привокзальной площади, я увидел моего друга Толю: он стоял у большого щита и читал расписание поездов. Я окликнул его.

— Понимаешь, какая глупая история... — пробормотал он в полной растерянности. — Я, конечно, рад, что ты приехал за мной, но, видимо, мне не придется сегодня встречать Новый год.

— Ты собираешься идти в милицию? — спросил я.

Он удивился:

— Да. А ты откуда знаешь?

Тогда я вытащил и показал Толе Володи́ну записку, и в ответ он протянул мне точно такую же, с той лишь разницей, что вместо «не волнуйтись» было написано «не беспокойтись».

— Просто руки опускаются, — сказал он. — Ох, поймаю, — обоих выдеру!

Мы посоветовались, подсчитали время и решили, что в «Китай» ребята бежали отсюда, из Пушкина: Володька был здесь три часа назад, час назад Толя нашел записку, а за это время поезда в Ленинград не шли, стало быть... Стало быть, мы обошли весь вокзал, заглянули в каждый уголок, а потом, снова выйдя на улицу, встали под фонарем и закурили.

Начал падать снег. Снежинки крутились вокруг фонарей, вырываясь из темноты, словно бабочки налетали на огонек и падали, уступая место другим.

— Наверное прицепились к попутной машине, — сказал я.

— Нам-то тогда машины не были нужны, — перебил Толя. — До Московского вокзала и на трамвае можно было доехать.

Пока мы так говорили, из снежной завесы вынырнуло три огонька, мутных и маленьких; они всё разрастались, и к перрону с грохотом подошел поезд; я схватил Толю за руку.

— А билеты? Билеты мы не взяли.

Касса помещалась по другую сторону вокзального тоннеля. Очень глупо было прибежать на перрон, держа в руках билеты и увидеть только красный огонек на последней площадке уходящего поезда.

— Все! Следующий поезд идет в два часа ночи, — уныло произнес Толя, поглядывая на часы. — Пропала, брат, наша новогодняя встреча.

Пропала наша новогодняя встреча: товарищи будут нас ждать и ругать, а Лариса — больше всех, и наверно побежит в булочную на угол, звонить мне по автомату; а в двенадцать часов все поднимут рюмки и скажут: «с новым счастьем!»

— Слушай, — сказал я Толе. — Теперь уже все равно терять четыре часа. Пойдем в Александровку, может оттуда есть поезда.

Толя согласился.

— Ох, и выдеру же я их! — говорил он всерьез. — Ну, скажи, не хулиганство?!

— Нет, — рассмеялся я.

Толя махнул рукой:

— Брось ты, честное слово, охота сейчас спорить.

Мы вышли на шоссе и просигналили первой же машине. Нас взяли. В кузове было холодно, снег теперь падал не мягко, а налетал колючими струями, крутился по дну кузова, срезаемый ветром с крыши кабины. Темнота наступила сразу, как только мы отъехали от последних домов: а в той стороне, куда мы ехали, растянулась цепочка огней.

Я был прав: поезд на Ленинград шел через два часа.

В зале ожидания было почти пусто. Какие-то военные тихо разговаривали в углу да буфетчица, в белом халате поверх ватника, дремала над стойкой. Мы сели на скамейку, длинную, сдвоенную, спинка к спинке, как в поезде. Сзади нас кто-то спал, сладко посапывая.

— Что ж, встретим Новый год здесь, — предложил Толя. — Надо же как-то отметить, — он кивнул на буфет.

Мы подошли к стойке, буфетчица открыла глаза, потянулась и вдруг вскрикнула:

— Ой, батюшки, проспала! Как же это я?..

— Новый год еще не наступил,— сказал я.— Дайте нам, пожалуйста...

— Да погодите вы, пассажиры мои проспали!

Она подбежала к скамейке, на которой мы только что сидели, и, перегнувшись через спинку, начала кого-то тормошить.

— Вставайте!

Володькина голова в шапке с одним задранном кверху ухом — ни дать ни взять, как у щенка — поднялась ей навстречу. Я ахнул. Володька часто-часто заморгал глазами, еще не проснувшись, как следует, а потом толкнул в бок спавшего тут же Гришку и сказал то ли удивленно, то ли растеряннo:

— Нашли все-таки.

Мы с Толей смеялись, глядя, как они встают и смущенно переминаются с ноги на ногу. Толя стащил с Гришки шапку и легонько дернул его за вихор. У Гришки дрогнули губы.

— Я вот маме скажу, что ты дерешься. Небось, когда сами в Испанию бегали, вас не били.

— Не били,— согласился Толя.— Зато мы и писали без ошибок.

— Зато вас и словили на Московском вокзале,— вступился Володька.

Что было ответить на эту мудрость?

Новый год наступил, и мы — Толя, я и оба беглеца, — стоя у стойки, чокнулись: мы — стаканами с вином, ребята — стаканами с лимонадом. Подошли военные и тоже взяли себе вина и бутерброды; мы разговорились, и военные смеялись, слушая наш рассказ о ребятах.

— А вы газеты читаете? — спросил один из военных у наших мальчишек.— В Китае-то без вас пока обошлись, а?

— Ну, так в Индонезию можно было бы,— не растерялся Володька,— или в этот, на Вэ...

— Вьетнам,— подсказал Гришка.

— Вот, во Вьетнам.

— А где Вьетнам, знаете? — спросил военный.

Володьке очень хотелось сказать «знаем», но он честно мотнул головой:

— Не очень хорошо. Ну, спросили бы...

Рот у него уже был занят пирожным и получилось смешное «Шпрашылибы».

Однако скоро должен был подойти поезд, и мы с Толей выпили еще немного, за экзамены в эту сессию, за Ларису и, вместе с ребятами, вышли на платформу.

ЧЕРТА ХАРАКТЕРА

Рассказ

В лесу у охотников знаетс как бывает: встретились где-нибудь на звериной тропе двое чужих, совсем незнакомых людей, встретились, сказали друг другу «ты» и сразу стали друзьями.

Однажды в погоне за лосем я ушел далеко от дома. И вот уж пора бы, казалось, повернуть назад. Но зверь все манил, а я шел за ним по следам все дальше на север и так очутился у Белого озера в краю сплошных неисходимых лесов.

Зверь не решился идти в открытую по льду. Он бежал в обход озера и должен был, по моим расчетам, где-то недалеко стать. Я окликнул собаку и уже собрался было скрадывать зверя, как вдруг столкнулся на лосином следу с другим охотником. Было охотнику лет двадцать, не больше.

Мы поздоровались, я назвался.

— А меня ребята Толкунком кличут,— сказал паренек и улыбнулся так, будто давно уже знал меня и ждал этой встречи,— курить будешь?

И получилось у нас с Толкунком так задушевно и просто — ну, совсем как у малых ребят, когда один говорит: «Будем дружить», и другой ему тоже: «Будем».

Мы тут же присматриваем место под елкой, разводим огонь и располагаемся как дома. Толкунук курит махорку и, то и дело сдувая с цыгарки пепел, не спеша говорит:

— Я с Выйки. Тут недалеко лесопункт. В прошлый выходной мы вдвоем с начальником охотились. Нынче он в леспромхоз уехал, я один пошел.

А и любил, как видно, этот Толкунок поговорить.

— Я не охотник,— продолжал Толкунок,— ружье это так у меня, одно баловство. Мне самому зверя добыть и думать нечего. Вот если бы Торцов, наш начальник,— тогда дело другое. У него бескурковка, собаки...

— погоди. Торцов, говоришь?

— Ну да, Торцов.

— Гм... Уж не тот ли это Торцов, что...

— Тот самый,— убежденно говорит Толкунок.

— Нет, в самом деле. Был у нас в полку офицер по фамилии Торцов. Капитан Торцов.

— Не знаю,— говорит Толкунок,— может и капитан, только вряд ли. Наш-то, я думаю, не меньше как в майорах ходил. Для нас он Иван Михайлыч.

Смешно: я говорю — капитан, он — Иван Михайлыч. И оба не знаем, о ком разговор.

— Какой хоть он из себя-то? — допытываюсь я.

— А такой вот плохонький с виду, вроде тебя. Жесткий он человек, Иван-то Михайлыч.

— Жесткий?

— У-у,— смешно трясет головой Толкунок,— в нем такое, понимаешь, сидит...

— Что же такое?

— Черта характера,— таинственно говорит Толкунок. И, подумав, добавляет:

— Он тут нам перед Новым годом такого страху нагнал!

Толкунок, повернувшись на бок, поправляет в костре сушняк; сухие сучья стреляют и брызжуются искрами. Над костром шевелится, точно живая, еловая лапа.

— Вот задумали мы на Новый год елку поставить... — рассказывает Толкунок...

А я думаю о своем: «Торцов?.. Да мало ли на свете Торцовых...»

Но мысль навязчива, как осенняя муха: чем больше от нее отмахиваешься, тем пуще она липнет. И вот уже приходят на память события.

...Как-то раз наш полк оказался оторванным от тыловых подразделений и остался без провизии. Командир первой роты капитан Торцов приказал двум солдатам наловить в ближайшем озерке рыбы. Спустя полчаса солдаты принесли рыбу. Обыкновенная озерная рыба — плотва, лещ, — но так много ее было, что капитан вдруг спросил: «Глушили толком?» «Никак нет, — говорят, — две гранаты запустили, а рыбы — полная лодка. «Полная лодка!? — закипел вдруг Торцов. — Да ведь вы загубили сколько тысяч мальков, мелочи разной. Понимаете, что вы наделали! Это же какой ущерб государству! Под арест!» И попали рыболовы на гауптвахту. Кое-кто в полку осуждал капитана Торцова за излишнюю жесткость.

Именно об этом эпизоде вспомнил я, прислушиваясь к ровному голосу Толкунка.

А Толкунок говорит, говорит...

* * *

— Недели две назад перед самым Новым годом, — рассказывал Толкунок, — было у нас на выйковском лесопункте комсомольское собрание.

Вопросы разные обсуждали. И записали, между прочим: Новоселова и меня нарядить в лес. Елку рубить. Ребята, дескать, здоровые, — порученье им как раз по плечу.

Под конец собрания Серега Волошин, наш секретарь, заострил вопрос:

— Чтобы, — говорит, — тридцать первого в ноль-ноль все было готово. Елка чтобы стояла посреди клуба и на ней игрушки. Добро пожаловать!

Вот мы с Новоселовым на другой день пошли в лес. У него за кушаком топор, у меня веревка через плечо перекинута: елку вязать.

Идем по дороге. А идти славно, легко — вроде как нас кто подмышки несет. Такое это развеселое задание — елку к новому году рубить.

Вот ладно. Идем, а навстречу нам шагает начальник лесопункта Торцов. Совсем еще новый начальник,— месяц всего как приехал на Выйку.

Начальник-то поравнялся и говорит:

— И что у меня за молодцы такие! Сегодня вроде и выходной, а они в лес с топором.

— Да нет,— Новоселов ему говорит,— это мы, товарищ начальник, по комсомольской линии.

— Это какая же такая линия?

— А елку к Новому году рубить.

— Ишь ты... Ну, оно и понятно. А далеко наладились?

— А сами еще не знаем,— это мы начальнику говорим,— оно можно бы и поблизости, да тут лоботина, мокреть...

Начальник поддакивает. Дескать, чего доброго ноги замочишь, начнется насморк. То ли, говорит, дело по-суху. Какая елочка на тебя глянула, подошел, да за всяко просто ее — тят! Мало ли у нас тут растет нарядных елочек. Не занимать. Тайга!

Новоселов мне моргает, дескать вот начальник так начальник, все понимает с полслова.

— Во, во,— Новоселов ему говорит,— вы уж нам, товарищ начальник, пожалуйста присоветуйте, где елки получше.

Торцов в карман полез, шарит там, сам говорит:

— Что ж,— говорит,— присоветовать я могу. Отчего бы не присоветовать. Сейчас на плане укажу...

В это самое время — ну надо же! — откуда ни возьмись, прямо как гром из ясного неба — главбух. Из леспромхоза приехал. Закрутил он начальника, заговорил — и начальник сразу про план забыл. Подхватился и — бежать в контору.

Новоселов говорит:

— Айда сами! Что мы, без него елку не найдем? Пойдем на Евстюниху-гору. Елочки там такие, — упадешь!

Пошли.

Вдруг начальник обернулся, кричит:

— Вы куда? Поворачивай назад! Живо! — и побежал снова.

Мы так и опешили: что это с ним приключилось? Жалко ему елку, что ли?

Новоселов говорит:

— Вот те фунт. Да мы этих елок, большенных лесин, на одном своем участке тыщи валим. А он одну какую-то елочку пожалел. На Новый-то год! Да за такое, говорит, дело... снять могут.

Но тут начальник еще раз обернулся, рукой машет, дескать задувайте домой и чтоб без оглядки.

— Срыв мероприятия, — сказал Новоселов. — Айда домой, — плюнул и пошел.

Пришли мы в поселок, Серегу Волошина разыскали и доложили ему, как дело было.

Серега сказал:

— Ну и ну!

Мы — Сереге:

— Срыв! Валяй к нему сам.

— И пойду, — говорит Серега, — и утрясу, говорит, на месте.

Правда, — пошел. А начальника-то ни в конторе, ни дома. Куда-то он там уехал, а куда — никто ничего не знает.

И вот завтра уже тридцать первое. Завтра в ноль-ноль придут пильщики, весь народ, со всего поселка в клуб. А в клубе ничегошеньки нет. Никакой елки.

Серега говорит:

— Вот что: пойду позвоню в райком.

Ну, и пошел, звонил. А райком не ответил. Час-то уж поздний был, весь райком домой ушел.

И пришлось нам с Новоселовым за всех отвечать — за райком, за Серегу и за начальника. Да как отвечать! Во всей нашей Выйке, во всем большом поселке не нашлось ни одного, ну ни единого сознательного человека. Каждый стучался в окно и про елку спрашивал.

И то надо сказать, ребятам, конечно, обидно. Игрушек понаделали, столы в клубе поставили. Декорации всякие притащили, — новогодний спектакль

разыгрывать. А самого-то, можно сказать, главного — елки — и нет.

Я в потемках из дому улизнул и ночевал у дяди. У Новоселова поясницу разломило. Он на припечке лежит и только мычит, когда у него про елку допытываются.

На другой день того хуже. С утра-то ребята нас изводили, а потом и притихли. Носы повесили, — что же это получается: Новый год и без елки!

Подождали мы, пока отобьют на обед, и пошли втроем — Новоселов, Серега и я — прямо в контору.

Новоселов-то Серегу подогревал все:

— Райком, — говорит, — это дело так не оставит. Нагоняй пришлют. Но мы все равно рубить отказываемся. Пускай теперь сам рубит.

Пришли к конторе, по лестнице поднимаемся. Мы так думали, что начальник теперь дома обедает. Мы и позвоним.

Вот мы поднимаемся, а начальник нам навстречу спускается по лестнице. И прямо в упор спрашивает:

— Звонить?

— Звонить, — насторожился Серега.

— В райком?

— В райком.

— Нельзя! — так и отрезал.

Серега даже весь подобрался.

— Это почему же, — спрашивает, — нельзя?

— Там только что начали сводку передавать, — начальник ему говорит, — мешать будете. Вот что. Вы куда идите во двор. К телефону я позову.

Ну, мы и пошли. А что, скажи, нам еще оставалось делать?

Новоселов охает, вздыхает. Ох, и будет, дескать, нам от ребят. Не успеем...

Подошли мы к двору, распахнули ворота, а войти — не входим. Стоим в воротах, и верим и не верим.

Во дворе, как раз посередке — там снег лопатой расчищен — лежит елка. И скажи ты, такая она

нарядная и вроде как живая. Подбеги к ней, тряхни за лапы,— вскочит. Вот она какая, елка!

Мы стоим, на елку глаза пялим. А сзади начальник подходит и говорит:

— Ну, чего глаза-то разинули? Тащите в клуб.

А мы все стоим.

Тогда начальник подходит к елке. Приподнял, встряхнул.

Смотрю, у Новоселова глаза что шарики, забежали, закрутились.

— Ну и елка!

— И где вы отыскиали такую красавицу? — спрашиваю начальника.

Надо же тут было выскочить Новоселову.

— Известно где. На Евстюнихе-горе. Елки там...

— В болоте срубил! — перебил начальник, — болотная елка, да разве не хороша? — и снова начальник елку тряхнул, она замахала ветвями. — Хороша! А срубить ее все же не так жалко, потому что болотная и на поделку разную первым сортом не пойдет.

— Понятное дело, — говорит Новоселов.

— Ах, понятное? — загорячился начальник, — что вам понятно? Вы на какую елку замахнуться хотели, я спрашиваю? — и так на нас поглядел, что робость меня взяла.

— Вам, говорит, — только волю дай, натворите делов. Вы к елочке подошли, — красавица! И тят ее топором. А того нет у вас, чтобы подумать: вот я эту елочку хочу срубить, а она, эта елочка, может быть такая вырастет, что ей потом и цены не будет. Одна из тысячи! А ты ее срубил. Потом еще одну, потом десять. И загубил, зря загубил. Болотная, — то другое дело... Линия! Одна у нас линия!

Сергея мне говорит тихонько:

— Слыхал?

И я — Новоселову:

— Ты слыхал? Государственный разговор, человеку в центре делами ворочать. А ты — сни-имут. Пустомеля ты, больше ничего.

Новоселов, видать, обиделся.

— А я,— говорит,— про что толковал? Снимут и... назначат в трест.

Тут уж я совсем на него рассердился. Не отдадим,— говорю,— и все. Нам самим такой начальник вот как нужен!

* * *

Едва успел Толкунок закончить свой рассказ, я встал и принялся забрасывать снегом жаркие угли.

— Веди!

— Куда? — не понял меня Толкунок.

— В поселок, на лесопункт.

— А зверь? — Толкунок указал на прогалок, где мы оставили след лося.

— Веди к Торцову,— сказал я,— лося мы с ним потом на двоих возьмем. Он это, он. Понимаешь? Тот самый. Капитан Торцов.

ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Уж больше недели жил я в тайге,— промышлял зверя. Тоска забирать начала: все один да один. Со зверями не поговоришь, даже не рассмотришь их толком на охоте: чуть заметил,—сейчас стрелять надо, а то уйдет. Плохо человеку в одиночестве, без разговоров.

Вот как-то утром выхожу из своей избушки — зимовье по-нашему. А на зорьке, как раз солнышку подниматься — пороша выпала. Да такая густая — все звериные и птичьи следы покрыла. Бывало у клестов ужасно сколько под елями насорено, а тут ничего не видать, один снег — белым-белешенек.

Иду ельником,— тишь, нигде ни шороха. Все кругом как пухлой ватой обложено.

Остановился я: не по себе стало. Будто я один живой на всем белом свете. Прислушался, даже шапку снял.

Вдруг кто-то над головой у меня шепчет тихо-тихо:

— Чш! Чшш!

Глянул вверх,—с еловой лапы холодные снежинки — прямо в рот. У меня над головой — малюсенькая синичка ползает — серенький слепушок. Пю-рю! — и сбила пичужка легкий снежок. А тишина такая, что даже слышно, как она крылышками трепыхнула.

Я обрадовался, думал — тут целая стая разных синиц, всегда они зимой стайей. Веселые они — синицы, глядеть любо.

Да нет, смотрю: один он, слепушок. Отбился видно от своих.

«И не страшно тебе одному?» — думаю.

А он с ветки: — Ци-ци-ци, чш, чш, чш!

Как, дескать, не страшно: тайга ведь, глушь.

И вот захотелось мне с ним по-синичьему поговорить.

Кончик языка к зубам прижал, губы чуть приоткрыл,—совсем как у него получилось:

— Ци-ци-ци, чш, чш!

Обрадовался слепушок, перепорхнул ко мне поближе. Повис на ветке, поглядывает на меня одним глазком. Кувырк — пониже, и опять поглядывает.

Я тихонько ему:

— Ци-ци-ци!

— Тью, тью, тью! — слепушок в ответ.

Я — опять. А сам стою, шелохнуться боюсь: спугнешь. А потом возьми да и попробуй: — Тью, тью, тью! — Я так понял, что слепушок, наверно, этой своей трелькой меня к себе приглашает. А я его позвал к себе.

Он — порх — и прямо ко мне на воротник.

Слетел, повозился в меху, да в самое ухо мне как засвистит: Тью, тью — тью-у! Оглушил прямо!

«Ах, ты, — думаю, — милый ты мой! — А у самого в ухе звенит. — Горошинка вроде у тебя в горлышке. И что ты просишь у меня так звонко?»

Осторожно руку поднял: хотел слепушка погладить.

И спугнул: он опять от меня на ветку.

Вспорхнул, а не улетает.

Я ему: — Ци-ци-ци, чш, чш!

Отвечает.

Я думаю: «Еще разок попробую трелькой, как он мне на ухо. Может это у них, и правда, самые хорошие слова».

Стараюсь побархатистей свистеть. И ведь вышло: — Тью-тью-тью-у! — с горошком.

Он и слетел. Полное, значит, доверие ко мне почувствовал. Воротник у меня большой, на грудь опускается. И, видно, крошки в нем застряли, когда хлеб я ел: слепушок клювиком там что-то собирает. Я уж только глазами на него кошусь — как бы опять не спугнуть. А разговор с ним ведем — самый душевный разговор: он мне шепчет: — Чш, чш! — а я ему: — Тью-тью-тью! — и тихонько так напеваю. И он мне, вижу, рад, а я ему — еще того больше.

Уши у меня замерзли. Стал я осторожно шапку поглубже напяливать. А слепушку сказать хотел, по-синичьему — не бойся, мол. Да забылся, и вышло у меня совсем не так, как хотел:

— Не бойся, — говорю ему по-человечьему, — я не трону!

Тут мой слепушок — на елку: слов-то моих он не понял.

— Ци-ци-ци... Тью!

И улетел.

Больше уж не пришлось мне с ним беседовать по душам. Вздумал было я идти за ним, но увидел лося под горой. Поляну зверь переходил, и можно мне было перехватить его на краю ельника. Тут я и про слепушка сразу забыл.

А так думается мне: и с птицами самые душевные разговоры вести можно. Терпенье только надо.

СТИХОТВОРЕНИЯ



ЛЮБОВЬ

Я солнце спросил, что ты любишь на свете,
Скажи мне, гордишься ты чем, золотое?
И солнечный луч мне весенний ответил:
— Люблю и горжусь я моею землею.

Я землю спросил, всю в зеленом уборе,
Что любишь и чем ты гордишься от века?
Ответило нивы широкое море:
— Люблю человека, горжусь человеком.

Скажите мне, люди, в чем гордость и слава,
Любовь и величие всех поколений?
И голос народов гремит величаво:
— Ленин!

ТОВАРИЩ СТАЛИН ПРИКАЗАЛ

Еще снаряды грохотали,
Дрожал бревенчатый настил...
В тот вечер полководец Сталин
О прочном мире говорил.
И, верно, вспомнился солдатам
Тот голос — близкий и родной,—
Когда на Эльбе в сорок пятом
Мы начали последний бой...
Ночь над окопами плацдарма...
Военсовета тесный зал...
Спокойный голос командарма:
«Товарищ
Сталин

приказал...»

... И через полночь цепью редкой
(Еще не кончился Совет)
Ушла армейская разведка
Без выстрелов и без ракет.
Всю ночь разведчиков гранаты
Тревожили немецкий стан,
А в пять утра к своим солдатам
Пришел стрелковый капитан.
И как напутствие в дорогу,
Солдату каждому сказал
Комбат, взволнованный и строгий:
«Товарищ
Сталин

приказал...»

Как будто вся страна на старте
Стоит на рубеже полка...

И медленно скользит по карте
Комбата жесткая рука...
На карте — за болотом поле,
А там, где поле перейти,
Лежит стотысячная доля
К победе трудного пути...
А в шесть над спящею равниной
Залп словно вырвался из недр,
Когда обрушились лавиной
Пятьсот стволов на километр.
Огонь!

Он снял с бойцов усталость,
Как воля Сталина упряма,
И два часа земля металась
На перекрестьях панорам.
А в восемь впереди пехоты
Шагнул артиллерийский вал,
И пред атакой крикнул кто-то:
«Товарищ

Сталин

приказал!»

...Прошли года, в архивах штаба
Хранятся карты тех боев,
И в исторических масштабах
Измерены пути фронтов.
А за морями, как о ценах,
О новых войнах говорят
Те генералы, что в Арденнах
Бежали, позабыв солдат.
Пока, войной грозя народам,
Доходы делит Уолл-стрит,
Побед великих полководец
О прочном мире говорит.
И пред Москвой в ветрах эфира
Мир, напряженный, словно зал...
И мы в пути — Солдаты Мира,
Товарищ

Сталин

приказал.

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

Московские улицы,
Каменный мост,
Там звезды Кремля
Заступают на пост.

И спит Мавзолей,
И, как слава, над ним
Летит по стране
Государственный Гимн.

И за полночь длится
Работа в Кремле...
Звонит телефон
У вождя на столе...

Опять в кабинете
Не гасится свет —
До раннего утра,
До свежих газет.

Он видит в далекой ночи
Города,
Цеха, где кипит
Трудовая страда.

Где, планы страны
Обгоняя на год,
Стахановцев смена
На вахту встает.

И песню о нем
Миллионам сердец
С трибуны поет
Негритянский певец.

И песню о нем,
Словно знамя, несет

Великий свободный
Китайский народ. .

И всюду, где слышится
Имя его,
Свободы и мира
Встает торжество!

...Московским курантам
Внимает земля,
Равняются звезды
По звездам Кремля.

У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

Москва еще в дымке туманной,
Двенадцать над Спасскими бьет,
А где-то в отрогах Хингана
Забрезжил и вспыхнул восход.

И солнечный луч, пламенея,
Спешит прилететь из-за гор
На красный гранит мавзолея,
На черный его лабрадор,

Где встали навывтяжку ели
У древней кремлевской стены.
В них — траур январской метели
И вечная зелень весны.

Как высшую в мире награду
Их влажные ветви хранят
И отзвук победных парадов,
И славных салютов раскат.

Вот так и стоять на виду им,
На площади,
В сердце страны,
Где Сталина ясные думы,
Где Ленина светлые сны.

ИЗ ЦИКЛА „ГОРОД ЮНОСТИ“

1. РОЖДЕНИЕ ГОРОДА

*Строителям
Комсомольска-на-Амуре*

Последний лед еще синел вдали,
На гребнях волн покачиваясь
 мерно.

Но первые пробились корабли,
И майским утром
 люди с «Коминтерна»

По шатким сходням на берег
 сошли.

Дремучий мир лежал перед глазами,
Поросшая косматыми лесами,
Дымилась марь.

И сопки сквозь туман
Под облачными плыли парусами,
Выстраиваясь в длинный караван. •
Чубатый гармонист из Армавира,—
Тот даже рот раскрыл, оторопев.
Но с парохода громко, нараспев
Раздалось:

— Майна!

Подхватили:

— Вира!

— Даешь аврал!

И эхо повторяло

Ту переключку первого аврала.

Здесь были парни с Дона и Оки,
Плечистые прокатчики с Урала,
Мои с заставы Нарвской земляки,
И москвичи,

 что на подъем легки,

И одессит в бушлате

 нараспашку,

И киевлянин в вышитой

 рубашке,

До ночи труд кипел
— без перекура;
Сгустилась тьма —
И вспыхнули костры.
И, раздвигая таволгу рукой,
Нанайский мальчик,
Смуглый и раскосый,
Смотрел на них с прибрежного откоса...
Скользил туман над тихой водой
К широкому простору океана...
А свет горел все ярче над тайгой:
Здесь был заложен город молодой
По мудрому, по сталинскому плану!

Нелегко нами выбранный маршрут.
Но счастлив я,
Что с самого начала
Со мной доныне в памяти живут
Короткий митинг,
Грохот аммонала,
Величие «Интернационала»
И воздух
тех торжественных минут,
В котором, как присяга, прозвучало:
— Владыкой мира будет труд!

РАССВЕТ НА АМУРЕ

Солнце брызнуло по стропилам,
Разом смыло ночную тень.
Запевают электропилы,
Начиная рабочий день.

Озарен автогенной вспышкой,
На строительные леса
Забирается вверх парнишка
Аж под самые небеса!

Ветер треплет рубахи ворот,
Над стропилами —
Птичий гай,
А внизу —

 легендарный город,
Пятилеток передний край.

Этот город ему ровесник.
Словно в сказке дома растут!
Запевает строитель песню, —
Значит, радостен парню труд!
Знать, крепка у парнишки хватка,
Молодая рука легка:
Камень к камню

 ложится кладка

Не на годы,
А на века!

Он мальчишкой читал когда-то,
Жадно слушал перед костром,
Как с путевкой ЦК

 ребята

Приезжали в тридцать втором,

Вязли в глине, от ливня скользкой,
Пни взрывали на берегу,
Чтоб кварталами Комсомольска
Отодвинуть к горам тайгу,

Чтобы в ней как лучи — проспекты,
Чтобы счастье обжилось тут...
... Сколько песен о том пропето,
Сколько завтра еще споют!

Улетает зари полоска.
Через час —

 она за Читой,

Через пять часов —

 над Свердловском,

Через семь часов —

 над Москвой.

В золотистых лучах рассвета
Поседевшим, но молодым,
Сталин выйдет из кабинета,—
Утро Родины перед ним.

Он глядит на ее просторы,
И встает перед ним вдали
Восемнадцатилетний город
На краю советской земли.

На виду у держав заморских
В славе,
В доблести трудовой
Люди города Комсомольска
Как всегда — на передовой!

ЛЕТО В ПУСТЫНЕ

(Отрывок из поэмы)

I

Петру доложили: «Техник Сычов
Пришел проситься к вам в экспедицию».
Парнишка был Петру по плечо,
По-детски хрупкий и круглолицый.
Петр оглядел его: больно мал,
Опасно с таким в жару, в непогоду...
— А почему геологом стал?
— Хочу, как и все, покорять природу.
Ого! А не тянет ли паренька
Просто к лесам да озерам синим?
Лопатин прищурил глаза слегка:
— Природа природой. А если... в пустыню?
Володя об этом читал немного:
Когда-то в пустыне раскопка велась,
Нашли какого-то древнего бога
С миндалевидным разрезом глаз.
С тех пор для Володи пустыня стала
Волшебною сказкой седых веков...
Но, видно, Лопатину дела мало
До всяких мечтательных пареньков.
Володю он выслушал без азарта.
— Что бог! Нам самим чудеса творить!
Наша пустыня — немая карта,
Которой время заговорить.
Володя вспыхнул — сболтнул, вот, сдуру,—
И крышка...

— Да я готов, хоть сейчас!

Возьмите с собою!

Лопатин хмуро
Глядел в глубину полудетских глаз.
С ответом медлил. Боялся ошибки.
И все ж под конец отказать не смог.
Ему понравился этот пылкий
В сраженья рвущийся новичок.
Быть может сильнее станет в невзгодах,—
Подвел парнишку маленький рост...

Хочешь, чтоб плавать умел матрос —
Бросай его на глубокую воду.

2

На полке в поезде спит человек —
Золотые веснушки, губы упрянца...
Володе казалось, что этот ночлег
Он когда-то уже пережил — в новобранцах.
И так же вот рядом дремал комбат,
Способный не обернуться на выстрел,
Веселый насмешник, суровый солдат,
По-дружески — строгий, отечески — близкий...
Такому расскажешь про школу, про мать,
И даже про то, что приснился орден,
С таким понемногу начнешь забывать,
Что спать в землянках сыро и твердо...
А нынче другой новичка ведет
В неведомый бой на степной равнине...
Золотые веснушки, упрямый рот,—
Такой лихой покоритель пустыни!
— Товарищ Лопатин, Аральский край
Ведь был когда-то дном океана...
А вдруг да наткнемся там невзначай
На залежи золота или урана?
Породы слагались миллионы лет...
Взглянуть на таблицу запасов можно? —
Лопатин мерно храпит в ответ,—
Не спрашивай, значит, о чем не положено...
А утром беседа еще чудней:

— Товарищ Лопатин, какая там почва?
С большим давлением? А под ней
Трубопровод не утратит прочность?
И отвечает Володе Петр:

— Возьми, пожалуйста, на заметку —
Закон геолога прост и тверд:
Событий не предрешать до разведки.
А чтобы точный найти ответ,
Облазаем всё в любую погоду,
И, если возможностей даже нет,—
Все равно, предоставим пустыне воду.
А кстати, Володя, время не ждет,
Что можно,— то нужно проделать сразу.
Будем трассировать водопровод —
Попутно наметим дорожные трассы.
Грунты поглубже прощупать не худо:
Породам здешним — миллионы лет.
И кто их знает — какого чуда
Под этим песком невылазным нет...

А поезд в районе скупых степей,
Пустыня дохнула горячим фронтом,
И, кажется, нет на земле светлей
Ее ослепительных горизонтов.

3

Володя, ну доля тебе досталась!
Еще не веря, уже любя,
Какой сбивающей с ног усталостью
Пустыня испытывает тебя!
Согласно квадратам заветной карты
И вдоль изъездил и поперек
Пустыню маленький, аккуратный,
Неутомимый грузовичок.
Восемь шоферов высокого класса
Чуть не вручную решали спор —
Кому машину вести на трассу,
Но Петр заявил: «Я сам шофер».
Какое начальство тебе досталось,

Попробуй, Володя, не удивись!
Он сел в кабину, и показалось —
Машина рванулась, не вдаль, а ввысь.
Под знойным, колючим от соли ветром
Идет исследование грунта.
Из метров слагаются километры,
Из километров — твоя мечта.
Уже ее вихревым дыханьем
Лицо молодое обожжено.
Уже научила хранить молчанье,
Когда от жажды в глазах темно.
Уже в семидесятиградусном пекле
В жилах кровь ускоряет ход,
И ты становишься великолепным
Красивым, сильным — таким, как Петр.
С пустынею у тебя особый,
Лишь вам двоим понятный язык.
Пустыня ворчит на тебя: — Попробуй!
А ты ей: — Пробовать не привык,
Пойду и точка.

И в полдень, пеший
Идешь в обугливающий зной.
Пустыня кричит тебе: — Сумасшедший!
А ты: — Повежливей будь со мной!
Пустыня грозит тебе: — Прочь с дороги,
Видишь, буран спускаю с цепи?
А ты: — Не такие мы недотроги,
Небось переждем твой буран — в степи!
Лопатин сказал: — При любой погоде
Учись, брат, временем дорожить.
Пустыня гремит: — Молодец, Володя!
А ты улыбаешься: — Рад служить.
Но этот язык нелегко дается.
Буран налетает залпом огня.
И нету неба, и нету солнца,
И есть только полночь средь бела дня.
Полночь накрыла тебя с головою,
Ударом наотмашь свалила с ног;
И вот уже штопором над тобою
Кружит, пылает, гудит песок.

Кричишь: — Лопатин! И, задыхаясь,
Глотаешь горячий хрусткий ком,
И Петр, мгновенно к тебе склоняясь,
В чувство приводит нашатырем.
Ворчит сквозь зубы: — Ну, что, попало?
Кто же в буран разевает рот!...
А степь уже, как ни в чем не бывало,
Голубит тишью, манит, зовет...
Девичий нрав у нее, бедовой,
И любит, и злится — и все напрямик...

Но о проделках ее ни слова
Не пишут друзья в путевой дневник.
В дневник заносили они аккуратно
Лишь то, чем делу помочь могли.
Дышала клеенчатая тетрадка
Ветрами моря, огнем земли.

«2-е июля. Квадрат сто двадцать.
Граниты. Придется бурить проход.
Для труб асбестовая изоляция
Нужна ввиду нагрева пород».

«6-е июля. Квадрат сто сорок.
Сделать скважину. Просмотреть.
Трубы тянуть на двести в сторону.
В нижних пластах залегает медь».

«Квадрат сто семьдесят. При постройке
Слой изоляции класть вдвойне
И обязательно кислотостойкую —
Залежи серы на глубине».

1-е августа зашифровано —
«Судя по характеру верхних пород,
В нижних включениях возможно золото».

Хочешь пьянеть от труда геолога —
Иди, трассируй водопровод!

Дорогою к счастью легла эта трасса.

Закат колыхался полотнищем красным
Над зданием вокзала с поблекшим газоном,
С единственным деревом возле перрона,
Где так с Казахстаном прощался Лопатин,
Что ныли ладони от рукопожатий.

— С проектом управимся к новому году,

А к лету встречайте, товарищи, воду!

Приедем опять, не навек расставаться!

— Счастливо доехать, друзья-ленинградцы!

И долго стоял на подножке Лопатин,
Как в огненной раме, в багровом закате.
Закат громоздил перед ним панораму —
То лес неоглядный, то сказочный замок,
То горы металла, то море пшеницы,
То пахарей смуглых веселые лица...
И гимном воды, побеждающей, синей,
От края до края звенела пустыня.
А поезд летел, обгоняя мгновенья,
Ликующий, скорый до сердцебиенья,
И плыл горизонт не миражем в безлюдье,
Но истиной светлой, что будет, что будет...

Я верю, виденье счастливое это
Таило частицу кремлевского света,
Я верю, я знаю, тем вечером Сталин
Увидел его сквозь пустынные дали,
Сквозь темных буранов густое дыханье,
Сквозь то, с чем уже недалеко прощанье.

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Такого светлого дня
не было у меня...
Думается по-другому,
дышится горячей,
хочется всем знакомым
руки пожать скорей.
Улицами,
площадями,
через мостов хребты
иду,
говорю с домами,
с друзьями —
до хрипоты.
В комнату поднимаюсь,
в какой неизвестно час.
И только здесь понимаю,
что день отшумел,
угас.
Диктор
спокойной ночи
всей пожелал стране:
колхозникам и рабочим —
ему, и тебе, и мне.
Тихо кругом.
Пытаюсь
и не могу заснуть.
Звезд золотая стая
торжественно держит путь.

Клетчатая от рамы
вытягивается тень.
А сердце стучит упрямо,
а в сердце не ночь,
а день.

Так пусть же
комната блещет
тысячами огней!..

Книги, портреты, вещи,—
все оживает в ней.
Все, что душа любила,
все, что в труде, в огне
мои собирает силы,
идти помогая мне
не по тропинке скользкой —
просторами большаков
из юности комсомольской
в молодость большевиков,—
все, без единой тени,
чистое, как родник...

Вижу:

Великий Ленин
всходит на броневик.
Меня обступают герои —
люди родной семьи:
зодчие новостроек,
труженики земли.

А над земным простором
горных превыше скал
тот Человек, который
солнцем народным стал.

Над родиною сиянье
расходится в тишине.

Голос его, дыханье
слышатся ясно мне:

— Вступая на путь отцов,
на трудный, на славный путь,
партийной семьи бойцов
заповедь не забудь:

выстраданное в трудах,
в походах из года в год,
только в чистых руках
дело наше живет.
А потому всегда
во имя простых сердец
трудом наполняй года...

— Клятву даю, отец!...

Тихо.

Но все же едва ли
сон охладит виски...
Сегодня меня принимали
в партию

большевики!

УТРО МИРА

Было теплое раннее лето;
На углах продавали цветы.
По рукам расходились газеты,
Свежей краскою пахли листы.

Развернув с нетерпением страницы,
Я прочел о героях-друзьях.
Налилась, зазвенела пшеница
В вечно солнечных южных краях.

Время страдной поры золотое —
Знай работай, труда не жалей.
Мне пахнуло в лицо широтою
Неоглядных колхозных полей.

Я читал ежедневную сводку
О великом размахе работ:

Горняки завершили проходку,
Полным ходом путина идет.
И в горячих цехах у мартена,
Где нельзя подступиться к печам,
Бой ведет комсомольская смена,
Прилипают рубахи к плечам.

И на самой последней странице —
Сообщения из-за границы.
Огневые короткие строки:
Нет, народы войны не хотят,
Забастовкой охвачены доки,
В знак протеста заводы стоят,
Против русских рабочих — французы
Воевать никогда не пойдут,
Крепнет дружба с Советским Союзом,
Силы мира повсюду растут.

И спокойно свернул я газету,
Не спеша огляделся кругом.

Было раннее теплое лето.
Угловой штукатурили дом,
Жадно к солнцу тянулись растенья,
Шумной улицей школьница шла,
Нежно веточку белой сирени,
Словно голубя мира, несла.

ИДУТ КОММУНИСТЫ!

Сияют кремлевские звезды,
Огонь путеводный горит,
Над всеми просторами мира
О Сталине песня звенит.
Летит негасимая песня,
Скликая на радостный труд...

Под знаменем Сталина гордо
Идут коммунисты, идут!

Сияют кремлевские звезды,
Страна за страной растет.
Шагают болгары и чехи
И венгры шагают вперед.
Румыны, поляки, албанцы
Народную власть берегут.
Под знаменем Сталина гордо
Идут коммунисты, идут!

Сияют кремлевские звезды,
И свет их далеко течет.
Везде, где живут коммунисты,
Там Сталина дело живет.
Они победили в Китае,
И к новым победам зовут...
Под знаменем Сталина гордо
Идут коммунисты, идут!

Сияют кремлевские звезды,
А там, на чужой стороне,
Враги всенародного счастья
Готовятся к новой войне.
За мир разгорается битва,
В ней черные силы падут!
Под знаменем Сталина гордо
Идут коммунисты, идут!

Сияют кремлевские звезды,
Огонь путеводный горит,
Над всеми просторами мира
О Сталине песня звенит.
Рабочие шара земного
Великую песню поют.
Под знаменем Сталина гордо
Идут коммунисты, идут!

УТРО

Только утро встало,
Солнечное, яркое,—
Голубой автобус
Выехал из парка.
Девушка-водитель
На белый циферблат
Искося бросает
Неспокойный взгляд.
Даже на минутку
Опоздать неловко:
Пассажиры знатные
Ждут на остановках.
Пассажиры знатные —
Это мы с тобой,
Это к нам торопится
Автобус голубой.
Выйдем мы из дому —
Облака светлеют,
Птицы нас приветствуют
По-птичьи, как умеют.
Диктор о стахановцах
Гордо говорит,
Солнце, как на празднике,
Торжественно горит,
И добрей кондуктор
В те часы, когда
Едут на работу
Мастера труда.

КОРАБЛЬ УХОДИТ В МОРЕ...

Кипит за высокой кормою
Волны голубое пламя,
Сегодня уходит в море
Корабль, построенный нами.
Пойдет отсчитывать мили,
Полярные льды разрубит...
В последний раз продымили
Ему заводские трубы.
Каждый взволнован немного:
Вздыхнул председатель завкома,—
«Вот так провожаешь в дорогу
Хороших старых знакомых...»
Юнга на палубу вышел
В замасленном комбинезоне.
На берегу мальчишки
От зависти чуть не стонут.
Три класса вечерней школы
Лежат на пути к мореходке,
А им вот сейчас с ледоколом
Уйти в Заполярье охота,
Увидеть и штормы и штили,
Увидеть медведей белых...
Сидели мальчишки, грустили
И песни матросские пели.
Бьется о берег упрямо
Волны голубое пламя,
Пойдет по всем океанам
Корабль, построенный нами.

МОЯ УЛИЦА

Улица моя невелика:
Смотрят на нее домов пятнадцать,
И она б наверное могла
Просто переулком называться.

Не увидишь зелени на ней,
И весной досадуешь немножко:
Белый снег пушистых тополей
Не летит в открытое окошко.
И асфальта серая волна
Улицу еще не захлестнула,
И не слышит вечером она
Городского праздничного гула.
Только донесется иногда
Легкий звон далекого трамвая.
Улица моя невелика —
Шире и красивее бывают,—
Но расстаться трудно с нею будет:
Ну и что ж, что нету тополей!
Ходят замечательные люди
Незаметной улицей моей.
Разверну центральную газету
И своих соседей узнаю.
Хороши! Вот именно за это
Уважаю улицу мою.

В КИТАЙСКОЙ ШКОЛЕ

Здесь жил Ван Ту, купец богатый,
И мрачным был пустынный дом,
Но отдан он теперь ребятам,
И песни зазвучали в нем.

И даже кажется, что выше,
Просторней стал он и светлей,
Старинный дом впервые слышит
Такой веселый смех детей.

За парты здесь уселись дети
Недавних рикш и батраков,
Хотя когда-то в залы эти
И не пускали бедняков.

Как терпеливо, как упорно,
Без отдыха и час, и два
Китайский мальчик тушью черной
Рисует русские слова!

Но буквы то бегут вприпрыжку,
То вдруг повалятся совсем,
Вот буква «А» легла на строчку,
Вот покосилась буква «М».

И кисточки мелькают снова,
И все ученики опять

Одно и то же наше слово
Стараются нарисовать.

И вот ребята написали
По-русски первые слова:
На самой верхней строчке — *Сталин*,
А во второй строке — *Москва*.

ДЕТИ ИНДИИ

Не для них зеленеют
В Бенаресе сады,
Не для них там аллеи,
Не для них там плоды.

Не для них над Калькуттой
Воздух ясен и тих...
В темном цехе, у джута —
Вот где место для них!

Восьмилетние дети
(Им бы в школу ходить!)
Под английскою плетью
Джут должны теревить.

Здесь не знают игрушек,
Здесь забыли про смех,
Малышей этих душит
Пыльный, сумрачный цех.

Часто кажется, будто
Здесь сидят старички:
Лица пепельней джута,
Неподвижны зрачки...

Нет на свете рабочих
Младше этих ребят,

Малыши днем и ночью
Волокно теребят.
Дети рано узнали
Свист английских плетей...
Даже детство украли
У индусских детей!

В ПУЛКОВО

Фундамент лег по котлованам дзотов,
Засыпан щебнем и золой окоп.
Уже давно на пулковских высотах
Сменил зенитку зоркий телескоп.

А мне в просторе ночи необъятном,
На шлеме выплывающей луны
Мерещаются чернеющие пятна
Пробойнами грозных лет войны.

Я их хотел бы видеть по-иному,
Но в памяти живет жестокий бой...
Вселенную для взора астронома
Открыли мы солдатскою рукой!

СЕВАН

Величаво, по-лебяжьи
С гор спускается туман;
Между скал — гранитной стражи —
Дремлет озеро Севан.

И стою в твоей прохладе
Я, дыханье затая.

Темный остров в синей глади
Будто родинка твоя.

Вот лежит простор севанский.
Весь окованный в гранит,
На груди земли армянской
Синим орденом горит!

И от самых туч к низинам
Уходя в водоворот,
Синь севанская к турбинам
Словно небо с гор течет.

По каналам шум и рокот...
В даль колхозную взгляни —
Ночь подбросила высоко
Над Арменией огни.

У Т Р О

Пробегают ветерок украдкой,
По росистой лестнице ветвей,
Обнажая белую подкладку
У зеленых листьев тополей.
Жаворонки вьются над полями
Высоко, и песня их звонка,
Будто в небе бродят с бубенцами,
Чтоб не затеряться, облака.

На каштанах загорелись свечки
В лапчатых зеленых колпаках.
День по синему ковру — по речке
В золотых ступает сапогах.
И навстречу дню, навстречу солнцу
В золоте живительных лучей
Трактора выводят комсомольцы
В океан проснувшихся полей!

В ПЕРЕУЛКЕ

Скорей проснись. Открой окно
В рассвет, наполненный гудками.
Вгляни: стучат уже давно
На крыше люди молотками.

Листы железа, словно гром,
Раскатистый, весенний, гулкий...
За новым домом — новый дом
Встает в Заречном переулке.

Тяжелый грузовик шумит
И, как рессоры, гнутся доски;
Дрожат на белом камне плит
Теней лиловые полосы.

Сверла не умолкает трель,
Сливаясь где-то с птичьей трелью;
Глядится в лужицы апрель,
В прохожих брызгая капелью.

И вся страна, как новый дом,
Известкой пахнет и смолою,
Железным крашеным листом,
Приятной свежестью лесною.

НАЧАЛО ДНЯ

Скользят лучи по граням горным,
Как по краям валов морских.
День начался гудком задорным
И суетой у проходных,
Где пропуск требуют у входа.
И только солнце на завод
Через восточные ворота
Опять без пропуска идет.

Над светлым цехом, как в теплице,
Стеклянный блещет потолок.
И с песенкою крановщицы
Сливает песнь свою станок.

Как будто тучка грозовая,
Напоминая о весне,
Кран многотонный проплывает,
Гремит железом в вышине.

Пролеты, словно переулки,
Пересекают светлый цех.
И множит эхо в сводах гулких
И шум станков, и звон, и смех.

МОНТЕР

Он взглянул на огни,
И о многом напомнил их свет.
Точно повесть они,
Словно цепь честно прожитых лет.

Словно россыпи звезд,
Многоточья кружков золотых,

Но не тысячью верст
Расстояние мерить до них.

Эти звезды он сам
Над безлюдной землею зажег,
Время, как по годам,
По огням бы отсчитывать мог.

Вот сияют сквозь мрак
Пять веселых кружков-огоньков:
Это первый барак,
Где из окон стреляли в волков.

Вправо тридцать огней —
Это сборочный цех, а в лесу
кладовая.

За ней
Видно желтой зари полосу,
Что, и ночью горя,
Озаряет дорогу и лес.
То совсем не заря,
А огни многоярусной ГЭС.

Вот четырнадцать звезд:
— Это в новом поселке кино.
Сорок звезд — это мост,
А вот это — любимой окно.

Верно тоже не спит
После трудной работы она
И, быть может, глядит,
Как и он, в темноту из окна.

КАБИНЕТ КИРОВА

Здесь Киров жил! Остановись при входе.
Сияет лампа над столом светла,
Как будто, ночь всю проведя в работе,
Он на минуту встал из-за стола.

Вглядись в его на вид простые вещи,
И на столе, там, где лежит блокнот,
Под светом лампы выделяясь резче,
Тебе порода горная сверкнет.

Кому-нибудь казаться может странным
Здесь в кабинете, вырванный из скал,
Лиловый, словно тронутый туманом,
И пахнувший землею минерал.

Ты удивишься колосу пшеницы,
Кусочку стали, образцам угля,
Ты здесь найдешь страны своей частицу,
И пред тобой откроются поля.

И вот уже не стены кабинета,—
А возведенных зданий этажи,
Не лампы свет, а город полный света —
Здесь Киров жил!

СЛОВО МАТЕРИ

Сегодня мы в мечтах своих едины,
В один и тот же предрассветный час
Впервые ты прижала к сердцу сына,
Я над своим склонилась в первый раз.

Смотри, как волос нежный золотится,
Приглядывайся к черточке любой,
Ведь будущего светлая частица
Сейчас лежит в руках у нас с тобой.

И потому для нас с тобой не странно,
Что мы поймем друг друга с первых слов,
Хоть темное пространство океана
Лежит меж наших двух материков...

А дети спят. Они не знают оба
О том, что небо разной синевы
Над крышами нью-йоркских небоскребов,
Над новыми домами у Невы.

Пусть твой малыш понять еще не в силе,
Пусть он еще не скоро отомстит
За то, что был его отец в Пинсквилле
Фашистскими бандитами убит.

...И день за днем я буду постепенно
Огромный мир для сына открывать,
Сперва он робко встанет на кровать,
Потом шагнет, потом раздвинет стены...

Наступит день, когда вбежит он в дом
Смеясь, дыша взволнованно и часто.
Он пионер! Впервые алый галстук
Веселым вспыхнет пламенем на нем.

Ты не поймешь, какое это счастье:
Мой сын уже не будет просто частью

Моих желаний, воли и ума,
В нем буду жить не только я сама,—

В его делах, заботах и удачах,
В его мечтах, в кипучей жизни всей
Я буду видеть с каждым днем все ярче
Прекрасный облик Родины моей!

Простор полей и двери вузов новых
Открыты будут сыну моему,
Его труду свободному и слову,
Его большому, светлому уму.

Весь путь его, вся жизнь кругом раскрыта
Как даль полей в рассвете золотом.

А в банковском квартале Уолл-стрита
Уже давно заботятся о том,

Чтоб мальчик твой под свист губной гармошки,
Под грохот бомб, пошел в дыму атак,
Туда, где сын мой, неумелой ножкой
Настречу солнцу делал первый шаг.

Чтоб сыну твоему за грязной стойкой бара
В крови войны мерещилась Земля,
Чтобы огонь военного пожара
Коснулся стен незыблемых Кремля.

За мир! Звучит с трибуны голос сильный
Работницы на фабрике текстильной.
За мир! За мир! Уверенно и строго
Зовет с трибуны голос педагога.

Мы знаем, что всегда принять вы рады
Рукопожатья дружественных рук
Советских женщин,— женщин-депутатов,
Стахановок и докторов наук.

Враги сегодня угрожают миру,
Звериным ревом землю огласив,

И синеву спокойную эфира
Рвет истеричный голос би-би-си.

Пусть ждут враги кровавого заката,
Но верю, не допустишь ты того,
Чтобы тупое дуло автомата
Твой сын навел на сына моего.

Мы жить хотим, чтоб строить города
И реки повернуть по руслам новым.
Призывом к счастью мирного труда
Звучит простых советских женщин слово.

СЧАСТЬЕ

Не раз я побывал в огне
И ранен был у Жлобина,
Но отличиться на войне
Мне не пришлось особенно.
Ходил в разведку по ночам
С отважными ребятами
И день победы повстречал
Далеко за Карпатами.
И где бы ни был — помнил я
Свои родимые края,
Ее глаза приветные,
Ее улыбку светлую.
Кончался год сорок седьмой.
Действительная пройдена.
Теперь езжай, солдат, домой.
На родину, на родину!
И вот уже конец пути.
В душе тревога смутная.
И все ж скорей, скорей крути,
Трехтонная попутная!

* *

Я снова дома. И как раз —
Такое совпадение! —

В тот самый день пришел Указ
В село о награждении.
И ей, Наташе Ильиной,
С почетом, словно воину,
Отныне звание Герой
Указом тем присвоено.
Стучится сторож,— мол, зовут
В правленье на собрание.
Слышал, Героя нам дают?
Ты прояви внимание!
Застегиваю свой мундир,
Медалями позваниваю,
Шагает младший командир
И старшина по званию.
К своим ребятам прохожу
Сторонкой от «малинника»
И на президиум гляжу
Счастливей именинника:
Карандаша тупым концом
Постукивает по столу,
Сидит спокойная лицом
Да и одета попросту.
Сидит, как будто бы не ей
Собрание посвящается.
Уж много сказано речей
И вновь: «Предоставляется...»
Речь держит сторож Евстигней.
Все у него продумано.
Он переходит прямо к ней,
Слегка коснувшись Трумэна.
И бороду зажав в кулак,
(Тут много стоит вид один!)
Он речь заканчивает так:
«Наталию замуж выдадим
Лишь за такого из парней,
Кто на работе — ровня ей!»

Собраньем решено меня,
Как будто шутки ради,
Причислить с завтрашнего дня

К Наташиной бригаде.
Смотрю — смеется полсела.
Глаза как дымом застило.
Ну, начинаются дела,
Вот это угораздило!
Наташу окружил народ,
Она же центр внимания;
И вижу вдруг: ко мне идет,
Давая указания:
— Смотри же, нас не подведи.
Во всем имей понятие,
В лабораторию ходи
На каждое занятие.—
Учить задумала,— решил;
И сразу же, не мешкая,
Ладонь к фуражке приложил
И говорю с усмешкою:
— Ты разреши уж самому
Мне разобраться что к чему!

* *

Но дело делом. И скажу
Себе на удивление,
Что я с девчатами дружу,
Как прежде с отделением.
Особый нужен тут подход
И всякие формальности:
Девчата не простой народ —
Сплошь индивидуальности.
В работе им не уступай.
Будь первым обязательно.
Придешь на вечер — выступай,
И чтоб позанимательней!
А коль Наташа прибежит,
Имей, как подобает, вид,
Докладывай, рассказывай,
Но сердца не показывай.
Держись, солдат, а то беда.
Держись, а то наплачешься.
И в самом деле,— ведь куда

От языка их спрячешься?
Держись — такое дело тут!
Девчата — судьи строгие.
Все на учет они берут
И даже психологию!

* *

В лаборатории огни.
Дрова уже наколоты.
Сухие, крепкие, они
Потрескивают с холода.
Мы не расселись еще.
Во всю дымят закруточки,
Пылают щеки горячо,
Летят смешки и шуточки.
Народу много собралось.
Споем, пока не началось.

— «Хорошо бы из колодца
Синий камушек достать,
Хорошо бы у подруги
Думу на сердце узнать...»

Я сердце вновь разбередил
Той песней, что затеяна.
И тихо входит бригадир
Наталя Тимофеевна.
Снимает шерстяную шаль,
Что словно кипень белая,
И говорит моя печаль:
— Давненько же не пела я!
А впрочем, некогда сейчас.
Как будто все явились,
И тема важная у нас,
Засядем-ка за Вильямса! —
Наташин голос в тишине
Течет, как речка плавная,
Течет, напоминая мне
Далекое, недавнее,

Как десять лет тому назад
По травам ли, по снегу ли,
По огородам, через сад,
Мы вместе в школу бегали.
А нынче разговор иной.
И кто же тут всему виной.
Она ли, я ли, оба ли?
... Метель гуляет во поле.

* * *

На всхожесть крупное зерно
Давно уже проверено,
Отсортировано оно,
Осмотрено, обмерено.
Оно в колхозных закромах,
Что выстроены наново,
Пока еще лежит впотьмах
И часа ждет желанного.
А по стране уже весна
Идет, всего касается.
Самой Руси подстать она —
Такая же красавица.
И с каждым днем она смелей,
Дела у ней немалые:
Вздувает реки и с полей
Снега сгоняет талые.
И через наш колхоз идет
Шумливая, с характером.
С плотиной разговор ведет,
Аукается с трактором.
И солнце влезло на бугор,
Румяное, умытое,
Куда ни поглядишь — простор,
И манит даль открытая!

Наташа говорит: — Пора!
И на участке трактора
Поблескивают плугами.
И я смотрю из-под руки,

Как бригадир мой вдоль реки
В поля идет с подругами.
Что может быть еще милей
Простора вспаханных полей,
Тебе страну вверенных?
Кто может быть еще родней
Таких девчат, таких парней,
Одной судьбой проверенных?
И все, что за день сделал я,
И все, что сделали друзья,
У нас в одно сливается.
Один порыв. И цель одна.
Большая сила. И она
Бригадой называется.
Бригада! Я сегодня твой
Обыкновенный рядовой.
И ясно сердцем ведаю,
Что каждый день и каждый час
В своем труде любой из нас
Твоей живет победою.

* *

А вечером, когда луна,
Сажусь на речке в коротни.
А что Наташа, где она?
С Наташей встречи коротки.
Мне на реке еще грустней.
Плыви, куда захочется,
А думы все о ней, о ней.
Когда ж все это кончится?
Легко ли было мне скрывать
Все, что на сердце копится.
Как будто выюшки закрывать,
Покамест печка топится.
Вот захочу ее спросить:
«Ты почему печальная?»
А выйдет: «Надо бы косить».
Вновь речь официальная.
А в поле жизни я давал:

Душа к работе жадная.
Как будто вовсе забывал
Свою любовь нескладную.
Хлеба вставали хоть куда,
Собою сердце радуя,
А если любит — что тогда?
И сразу сердце падает!

Тогда еще быстрее ношусь,
Не помня об осколочном.
И сам до полночи вожусь
С машинами к уборочной.
И до зари еще встаю —
У нас такое правило.
Наташа четко, как в бою,
Большой работой правила.
Июнь.
Июль.
И урожай
Мы на участке подняли.
Она сказала мне:

— Считай,

Не хуже прошлогоднего.
А день горяч, а день высок.
Наташа улыбается.
И золоченый колосок
Плеча ее касается.
Я перед ней стою немой,
Как не было усталости.
— Придется говорить самой,
И не ершись, пожалуйста!
Мне прежней дружбы нашей

жаль.

Приехал — все не попросту.
И невниманьем обижал,
Да и бесился попусту.
Сто раз встречаемся на дню —
Натянута обычная.
Тебя я вовсе не виню,

Ведь это дело личное.
А разве я другой была,
Иная что ль сегодня я? —

Во ржи звенят перепела,
И радость все перепела,
И дышится свободнее!

* *

Что озорной у ветра нрав,
Давным-давно считается.
Он, снега пригоршни набрав,
Опять в лицо кидается.
Опять снежинок толкотня
Над окнами, над крышами.
Бежит на речку ребятня —
Кто с санками, кто с лыжами.
Из дома в дом, из дома в дом,
Опять такие хрусткие,
Через сугробы напрямиком
Бегут тропинки узкие.
Вот так и мы из дома в дом
Сквозь снег, ветрами взвеванный,
Идем вдвоем, вдвоем идем
С Натальей Тимофеевной.
У клуба новое крыльцо,
Мерцающее в наледи.
Я заглянул в ее лицо:
— Зайдем еще раз на люди!
И только сделали мы шаг,
Нас шумно сразу встретили:
— Давно бы так! К чему бы так?
Хотим, чтобы ответили!
И я сказал для тех задир,
Что больно любят спрашивать:
— Мы приглашаем всех на пир
Во славу счастья нашего!

СТИХИ О ПАВЛЕ КОРЧАГИНЕ

В нашу юность,
В мечты об отваге,
В двери солнцем наполненных школ,
Очень запросто Павел Корчагин
Словно старший товарищ вошел.

Бьют зенитки над Зимней канавкой,
И тревогу трубят рупора.
И кончается юность.
И Павка
Говорит нам: «Ребята, пора!»
И сбывалась мечта об отваге
Там, где насмерть умели стоять.
Он таким оказался, Корчагин:
Вместе с каждым ушел воевать.

Все дороги открыты герою:
Он под пулями шел невредим.
В Сталинграде
И здесь, над Невою,
Был со взводом стрелковым моим.

Сколько раненым силы прибавил
И упавшим подняться помог.
Мы с твоею решимостью, Павел,
Проходили по сотням дорог.

И когда приходилось мне тугу,
В тот, казалось, безвыходный час,
Я с Корчагиным Павлом, как с другом,
Разговаривал с глазу на глаз,

Ничего от него не скрывая,
Как и он от меня ничего.
И меня поднимала живая
Большевистская правда его.

С Павлом снова мы вместе шагаем
В ветровую, открытую даль.
Мы теперь по себе уже знаем,
Как она закаляется,

сталь!

СЧЕТОВОД

В окна звездами глядит
Зимний вечер поздний.
За столом своим сидит
Счетовод колхозный.
Электричество горит,
Свет в лицо кидая,
Репродуктор говорит
О делах Китая.
На окне легко дрожат
Искорки мороза,
И по полочкам лежат
Трудоводни колхоза.
Не поймешь сперва, зачем
Он сюда посажен:
У него, на зависть всем,
Плеч косая сажень.
Мог бы молотом махать
Он, не уставая,
Мог бы сеять и пахать,
Доски свежие строгать,
Стружку завивая.
Мог бы горы он свернуть
Силой настоящей,
Мог бы за пояс заткнуть
Самых работающих!

Но не скажешь, что неправ
Он, в бумагах роясь:

Ведь один пустой рукав
Он заткнул за пояс.

И сидит он, занятой,
И слегка усталый,
Темнорусый, молодой,
В гимнастерке старой.

Сводку пишет не спеша,
Тихий и серьезный,
И светла его душа
Славою колхозной.

НА РЕКЕ ЛИДЬ

Среди пятен и точек,
Флажков и изогнутых линий,
По лесам и болотам
Прошла чуть заметная нить...
Эта красная речка
На карте отмечена синим,
Быстротечная речка
С коротким названием Лидь.
Воду в этой реке
Перекрасили медные сосны,
Что веками стоят
На безлюдных ее берегах.
Здесь безветренны дни,
Вечерами стеклянные росы
Да по утру
Туманы
Лениво ползут на луга.
Здесь мы ставим плотину,
Друзья по университету.
В эти дни мы стремимся
Исполнить желание одно:
Чтобы в дальних колхозах
Прибавилось солнца и света.
Котлован углубляется,
Сваи вбиваются в дно.
Землекопы-филологи
Нашей студенческой стройки!

Землекопы-юристы
В одном непреклонном ряду!
Здесь мы держим экзамен
На силу,
Выносливость,
Стойкость,
Верность,
Выдержку,
Дружбу
И твердую волю к труду.
Мы затем в это лето
В бригады рабочие встали,
Взяв кирки и лопаты,
Как брали винтовки отцы,
Чтоб в Кремле
Через месяц,
Узнав о строительстве,
Сталин
Улыбнулся
И тихо сказал бы про нас:
«Молодцы!»
Подошел бы к стене,
Чтоб на карте,
Средь точек и линий,
Новый
Красный флажок
В этот дальний район прикрепить —
Там, где красная речка
На карте отмечена синим,
Быстротечная речка
С коротким названием Лидь.

П И Л О Т

Блеснув крылом на ярком солнце,
В зените сделав разворот,
За синий бор на горизонте
Умчался быстрый самолет.
Умчался вдаль, за перелески
За белый облака отрог.
И не узнал, что ярким блеском
Глаза у мальчика зажег.
А тот от тающего следа
Горящих глаз не отведет,—
Уже не мальчик-непоседа,
А вдаль стремящийся пилот!

НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

Над рекой в ночную пору
Клонит ветер тростники.
Пограничные дозоры
Тропкой ходят вдоль реки.

От оврага до пригорка
Обходя участок свой,
Все осматривает зорко
Наш советский часовой.

Каждый кустик на примете,
Каждый малый бугорок.
Он за всю страну в ответе,
Этот русский паренек.

Вьется берегом дорожка,
Шелестят овсы во сне,
Чье-то светится окошко
Здесь, на нашей стороне.

То не поле яровое,
Не крестьянские дома,
Не тропинка над рекою,—
Это Родина сама.

На закате смолкли птицы,
Ночь осенняя темна.
Но отсюда, от границы,
Вся страна ему видна.

ПЕРЕД ЖАТВОЙ

В степи звучит мелодия рассвета
На тысячу различных голосов.
Приди сюда в разгар степного лета,
Сорви отяжелевший колосок.

Он взрос на рубеже непроходимом,
Здесь было все до тла разорено,
И ты, наверно, слышишь — горьким дымом
Пропахло золотистое зерно.

А степь необозрима и просторна,
И ветер, пролетая по стране,
Провеивает бронзовые зерна,
Лежащие в раскрытой пятерне.

Вот ради этой утренней минуты
Ты замерзал в окопах под Москвой,
Карабкался впотьмах на берег Прута,
Шагал по кенигсбергской мостовой,

Бросался в бой по танковому следу,
Глох под обстрелом, от разрывов слеп.
И вот они — плоды твоей победы —
На поле боя выращенный хлеб!

СЛОВО УВОЛЕННЫХ В ОТСТАВКУ

Конечно, верны медицинские справки,
Согласно которым

я числюсь в отставке,
В которых указаны

без отклонений
Характер контузий

и сущность ранений.

И, может быть, впрямь
по врачебным канонам
Уже не командовать мне
батальоном.

Но я коммунист.
Я прошу не перечить:
Нас можно убить,
но нельзя исказить!
Так, видимо, врут
медицинские справки:
Бойцам не бывает
при жизни отставки.
И всем рядовым коммунизма,
поверьте,
Отставка обычно дается
по смерти.

Мы вместе со всеми опять,
стоим у мартена,
И нас ослепляет
струя автогена.
Мы вместе со всеми опять,
как бывало,
На стройках Москвы
и заводах Урала.
Мы в общем строю
и не просим отставки.
Возьмите назад
медицинские справки!

НЕТ, НЕ ПОКОЕМ ВЕЕТ ОТ ПРИРОДЫ

Нет, не покоем веет от природы,
Заря метнулась в голубую гладь,
И облака, не отдохнув с похода,
Нивесть куда отправились опять.

И солнце в реку золото бросает,
И мчатся блики наперегонки,
И у рябин горят, не догорая,
Сбежавшиеся в гроздьях огоньки.

Захлестнута волною оголтелой,
В зеленых брызгах выше головы,
Береза встрепенулась, зазвенела.
И я нигде не вижу трын-травы,

Не вижу я покоя, безразличья,
И пни, которым впору догнивать,
Напоминают всем своим обличьем,
Как много надо рыть и корчевать.

Из лап сосновых рвется ветер, воя,
Неистовый и полный сил к борьбе,—
Ты не заметишь и следа покоя,
Коль о природе судишь по себе.

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Ты выходишь утром рано-рано,
Город иглами дождя прошит,
Загудеть готовая «Светлана»
С трубами навывтяжку стоит.

Пролетела молния косая,
Содрогнулся город от ветров.
Небо в город молнии вонзает
По зигзагу тучу распоров.

Ты торопишься сквозь непогоду,
Ветры еле поспевают вслед.
— С добрым утром! —

ты кричишь заводу,
— С добрым утром! —
он гудит в ответ.

Сколько молодости —
дерзкой, смелой,
По цехам «Светланы» растеклось...
Стало для тебя привычным делом
Молнии запаивать в стекло!

МЕНЯ ЗОВУТ СВЕТЛАНА

А меня зовут Светлана!

Этим я горжусь немало
Вот, ребята, отчего:
Мама так меня назвала
В честь завода своего.

Там не слышно шума-гама,
Там всегда светлым-светло,

Там запаивает мама
Электричество в стекло.

Как чудесная жар-птица,
Освещает лампа ночь,
Темнота ее боится
И летит от лампы прочь.

И от ветра не мигая,
Где ни взглянешь, — там и тут
В круглых лампочках сверкает.
Всюду мамин светлый труд.

Что за чудная работа!
Вот такую бы и мне...
Даже ночью вижу что-то
Очень светлое во сне!

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Когда в читальном зале я встречал
Болгарина за томом Ильича
И рядом с ним —

румына над конспектом,

Когда, со мной шагая по проспектам,
Албанец Маяковского читал,
А чех сказал, что счастлив жить в стране,
Где сердце мира — Кремль,

Где Сталин — самый близкий,

Тогда я думал гордый:

это мне

Сто лет назад

завидовал Белинский.

СВЯТОГОРСКАЯ ЯРМАРКА

Песни, балаганы, кабаки,
Карусели, пряничные кони,
Ситцевые пестрые платки.—
Ярмарка во всем своем разгоне,
И плясуньи на ногу легки.
Настежь монастырские ворота.
Пропасть понаехало народа.
На сто верст гудят колокола.
Взмокли целовальников рубахи.
Сладко улыбаются монахи,
И купцов одышка забрала.
Пой, народ,
на то сегодня праздник!
Пей, народ,
на то сегодня праздник!
Или не на то сегодня праздник,
Чтоб гулять, не помнить ни о чем?!
Горе, что с тобою спит в обнимку,
Барщину,
бесхлебье,
недоимку —
Все заест грошовым калачом?
Раз в году хоть погулять народу
От души,—
не то, что кое-как.—

Разодет мужик чернобородый
В лучший свой —
залатанный —
армяк.

Пляшет парень,
дергая спиною,
Где набухли, в палец толщиной,
От кнута господского рубцы.
Развязав у тряпочки концы,
Грошик за цветные леденцы —
К случаю припрятанный —
солдатка

Подает...
А ярмарка гудит...
Мальчику в диковинку, что сладко,
Мальчик долго на руку глядит, —
А над ним —
густой, самодовольный —
Звон плывет, качаясь, колокольный.
Слушает и все он видит — Пушкин.
Смуглый,

беспокойный,
молодой
Он к монастырю сидит спиной,
Он сидит на солнечной горшке,
И рубаха красная на нем
На ветру вздувается огнем.

О народе думая своим,
Слушает и все он видит — Пушкин.
Рядом — переходящие слепцы
Со слезою лазаря заводят.
Тесно обступают молодцы,
Старики степенные подходят,
Малолетки

боком в первый ряд
Сквозь толпу пробраться норовят.
И тогда слепец, что посмелее, —
Может быть, прошедший пол-Руси, —

Вдруг —
 проси его иль не проси. —
Пенье оборвет, не сожалея,
Перебором гусли тронет вдруг,
И еще теснее станет круг.
Струны сами рвутся из-под рук.
Нечего ему с народом спорить,
Все он думки знает наперед —
И поет о Разине,

 вдругорядь
О народной волюшке поет.
Не смотри, что пальцы заскорузлы,
Что немного сил у старика, —
Вольные

 поют и стонут
 гусли,
Словно Волга матушка-река;

Тихая —
 на всю Россию —
 песня,

Глубже моря,
 выше поднебесья,
Как душа народа —
 широка!

И трезвон —
 гнетущий, монастырский —
Нипочем для песни богатырской.
Слушает и все он видит — Пушкин. . .
Смуглый,

 беспокойный,
 молодой,
Он к монастырю сидит спиной,
Он сидит на солнечной горушке.
Все запоминает;

 и слепца
С самого начала до конца
Петь заставил снова,
 и рукою
Вытер пот с горячего лица.

Засмеялся:

он еще такое...

(Пусть иного оторопь берет).

...он еще такое скажет слово —
Про многострадальный свой народ,
Про царя! —

Бориса!

Годунова!

Здравствуй, вдохновенье, верный друг!
И уже —

не ярмарка вокруг, —

Вся Россия —

ни конца, ни края —

Песни не от радости играя, —

Вся Россия —

здесь, перед тобой,

Горькая,

с огромною судьбой.

Свободолюбивый и бедовый, —

У придворной черни —

не в чести, —

К подвигу великому готовый,

Ты стоишь —

и глаз не отвести.

Ты стоишь,

а про тебя в народе

Слух идет —

все шире, все сильней —

Вроде песни задушевной,

вроде

Крепких дум о родине своей.

В сердце ты у русского народа

Как мечта,

как правда,

как свобода!

В ЯНВАРСКУЮ НОЧЬ

...И после смерти — все-таки опальный!

Жандарм садится в сани тяжело:

Укрытого рогожей —

в погребальный,

В кандалный путь,

пока не рассвело.

Жандарм садится в сани

и небрежно

Запахивает шубу, как тюрьму;

Свистят кнуты,

и ненавистью снежной

Весь мир в лицо бросается ему;

И полночь;

и неровные дороги,

Полозья жалуются на судьбу:

Впервой нести

не розвальни, а дроги...

Сама свобода, кажется, в гробу.

Сугроб;

за ним другой встает сугроб;

Летя почти что сослепу в галоп,

Косятся государственные кони...

В каком-таком записано законе,

Чтобы не смел покойник отдохнуть:

Окончен путь —

и вновь пускайся в путь,

Чтобы опять метели голосили,

Чтобы опять,

как мутная слеза,

Вся темень николаевской России

В дороге набежала на глаза!

Самодержавный

и самодовольный

Властитель поправляет эполет.—

Не на него ль —
 тяжелый, длинноствольный —
Ты, Пушкин, навел свой пистолет?
Ты гневно жил,

Ты гневно жил,

Ты мстил ему,

Тебе успокоенья не дала...

от края и до края!

грянь во все колокола!

протестуй,

СЫНОВ СВОИХ

Всей пушкинскою ненавистью острой,
Всем беспокойством пушкинской любви.

От Волги,

И силой наливается в народе

О СВЕТОЙ ВОЛЬНОСТИ ТВОЕЙ.

Как по этапу,

Твой гордый,

Пусть версты полосатые конвоем

Пусть бесы

Глушили бормотанье ямщика;

Полозья пусть искрили на камнях,

Пускай жандарму снилась тишина,—
Ты вспрянула,
Россия,

ото сна!

И сбывшихся пророчеств современник —
Я — у могилы:

камня белизна

И пушкинская

надо мной

весна.

В ЯКУТИИ

Под холодным небом — крики:
Кони встали на хребте...
Мы от ржання их отвыкли
Здесь, на горной высоте!

Свист и мертвого разбудит —
Расступись, сырой туман!
Это значит, йохор * будет,
Раз подходит караван.

Встречи миг счастлив и краток,
И на легкий чистый снег
Выбегают из палаток
Все двенадцать человек!

Ухокай! Плотнее круг!
Гулко бьют ладони рук,
Узкоглазы и смуглы —
Ходят парни у скалы.

Топот ног, веселье, смех,—
Встреча радостна для всех!
Стало жарко, стало тесно,
Все быстрее звучит напев...

* Йохор — якутская пляска с песнями.

А у нас гармонии нет
Грянуть «русскую» в ответ,
И геолог, вторя песне,
В круг вступает, осмелев.

Разлились заката краски,
Рвется ввысь огонь костра
До рассвета будут пляски,
Будут песни до утра!

МОЕ ЧЕРНОМОРЬЕ

Это просто счастье для меня,
Что живу в семье неустомимых,
Что могу ходить по тем камням,
По которым проходил Нахимов,
Что могу ходить по той земле,
Где последний раз стоял Корнилов,
Где геройский подвиг наших лет
Каждая лошадка сохранила.
Это просто счастье для меня,
О котором издавна мечтали,
Что рапорт о доблести приняв,
Здесь взошел на легкий крейсер Сталин,
Что смотрел он, трубку раскурив,
Добрыми и зоркими глазами
На покрытый дымкою залив,
Где стоят эскадры под парами.
Вот они, рожденные в огне
Труженики Мира и Свободы!
И еще заметны на броне
Вмятины вчерашнего похода.
Не забуду я к тебе дорог,
Край, в боях не знающий уступки,
Где над морем голубой дымок
Как из сталинской струится трубки.
Позови меня в любой беде,
Дай мне встать на правом фланге строя.
Видно, мне и в битвах и в труде
Быть с тобою и дышать тобою.

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕТ

Я не видел друга
Восемь лет.
Встретились на Киевском вокзале.
Адреса в блокноты записали.
«Как живешь?» —
И услышал ответ:
«Ничего особенного нет!»

Поезда на север и на юг.
Голубые дрогнули вагоны.
И уехал мой старинный друг
В Кировске выращивать лимоны.

В поисках золотиносных жил
Я вдали от Ленинграда жил,
По таежным тропам пробирался.
Телеграфом посылал привет.
Друг на телеграммы отзывался:
«Ничего особенного нет!»

Привезли мне осенью на Шилку
В полотно зашитую посылку:
Словно золотые самородки
В пять рядов лимоны-первогодки.

И записка:
«С севера привет,
Ничего особенного
Нет!»

ВНИЗ ПО ИНГОДЕ

Кто любит теплую постель,
Бойтся выйти на мятель,
Кто смотрит на любую ель,
Шумящую у речки,
Как на дрова для печки,
Тому до смерти суждено
Глядеть на мир через окно.

А перед нами —
Путь другой:
Тайга с ненайденной рудой.
Мы едем торною тропой,
Шумят над нами ели...
Приятель злой,
Я тоже злой,—
Мы третий день не ели.

Плывет жара.
Горит гора.
Вперед зовет дорога.
Река —
Белее молока —
Кипит в котле порога.

А за порогом —
Дальний путь.
С коней слезаем отдохнуть
На каменную глыбу.
Линьки —
Сверкают, как клинки,
Но чем поймашь рыбу?
Мы помечтали над водой
И снова в седла сели.
Приятель злой,
Я тоже злой,—
Мы третий день не ели.
Направо лес,

Налево лес,
Крутые горы до небес
Из черного гранита.
То по камням,
То по корням
Стучат коней копыта.

Глядит бобер —
Тайги сапер,—
Как с Ингоды
К вершинам гор
Ползет по склонам вечер.

Птенец
Звенит, как бубенец...
Шуршит листвою ветер.

А за рекой,
За Ингодой,
Ревет тревожною трубой
Рогатый лось.
Угрюмый лось
Грустит о том, что не сбылось...

Бегут зеленые огни.
Кричу приятелю:
— Гони! —
Звезда во мгле,
Луна в дыму,
За нами — волки воя,
А кони —
Пулями во тьму
По берегу Чикоя.
Через ручей,
По солонцу,
Летим к горбтому гольцу,
Срывает ветер кепки.
Нам наплевать,
Что по лицу,
Как плети,
Хлещут ветки.

Нам до жилья —
Рукой подать.

В огнях —
Чикоконская падь,
Избушки да бараки.

И стая стала отставать,
Услышав лай собаки.

Хозяин!
Стол для нас накрой
Без лишней канители.
Приятель злой,
Я тоже злой,—
Мы третий день не ели!
Дымится жирная уха.

Хлеб на столе —
Курганом.
Хозяин
Режет петуха
И жарит петуха нам.

— Любопытствовать нельзя,
Откуда едете, друзья? —
Спросил старик-старатель.
И говорит приятель:

— По Ингоде
Девятый день
С золотоприиска Олень
Мы едем
К Трем Медведям,
Так называются гольцы,
Долины бурной Агуцы,
Там
Каждый каменный медведь
Таит в своей берлоге медь,
Но мы ее добудем!

Заря.
Зовет в дорогу конь.
Ладонь
Упала на ладонь.
В стальное стремя ногу.
И снова в путь-дорогу.

Направо лес,
Налево лес,
Крутые горы до небес
Из черного гранита.
То по камням,
То по корням
Стучат коней копыта.
Куда ни глянь —
Зеленый свет,
На много зим,
На много лет —
Дорога нам открыта!

С О Д Е Р Ж А Н И Е

От издательства	3
---------------------------	---

П О В Е С Т И, Р А С С К А З Ы

Александр Пунченко. Испытание	7
Даниил Гранин. Начало пути	63
Ю. Принцев. Всадник, скачущий впереди	96
Сергей Антонов. Утром	176
Дальние поезда	186
Футбол	198
Павел Петунин. Кузнецы	208
Валентин Пикуль. На берегу	227
Жень-Шень	234
Евгений Воеводин. Беглецы	243
Николай Иванченко. Черта характера	248
Душевный разговор	255

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Александр Андреев. Любовь	261
Игорь Ринк. Товарищ Сталин приказал	262
Московское время	264
Николай Новоселов. У Кремлевской стены	266
Из цикла «Город юности»	267
Наталья Грудинина. Лето в пустыне	272
Анатолий Чепуров. Самый светлый день	278
Утро мира	280
Идут коммунисты	281

<i>Нина Альтовская. Утро</i>	283
Корабль уходит в море	284
Моя улица	284
<i>Борис Раевский. В китайской школе</i>	286
Дети Индии	287
<i>Иван Демьянов. В Пулково</i>	289
Севан	289
Утро	290
<i>Николай Кутов. В переулке</i>	291
Начало дня	292
Монтер	292
<i>Вера Скворцова. Кабинет Кирова</i>	294
Слово матери	295
<i>Леонид Хаустов. Счастье</i>	298
Стихи о Павле Корчагине	306
Счетовод	307
<i>Владимир Торопыгин. На реке Лидь</i>	309
<i>Леонид Карпов. Пилот</i>	311
<i>Глеб Пагирев. На нашей стороне</i>	312
Перед жатвой	313
Слово уволенных в отставку	313
<i>Розалия Амузина. Нет, не покоем веет от природы</i>	315
С добрым утром!	316
Меня зовут Светлана	316
<i>М. Свойский. В читальном зале</i>	318
<i>Глеб Семенов. Святогорская ярмарка</i>	319
В январскую ночь	323
<i>Нина Островская. В Якутии</i>	326
<i>Виталий Шевченко. Мое Черноморье</i>	328
<i>Михаил Бернович. Ничего особенного нет</i>	329
Вниз по Ингоде	330

Гравюры на дереве
художника Ю. Мезерницкого

*

Редакторы: М. Довлатова
и Н. Ходза
Художник-редактор Г. Левин
Техн. редактор Э. Коренюк
Корректоры: А. Гроссман
и Е. Фалеева

*

Подписано к печати 13/VII 1950 г.
М-22531. Тираж 15000.
Бумага 84х109¹/₃₂ 5¹/₄ бум. л.
17,22 печ. л. Уч. изд. л. 15,15
Зн. в печ. л. 29440. Заказ 559

*

Типолитография
Ленинградского отделения
Издательства ЦК ВЛКСМ
„Молодая Гвардия“



8 р. 45 к.